# Лавка чудес

# Жоржи Амаду

Перевод А. Богдановского и В. Федорова

Бразилец, баиянец, бедняк. Известен самомнением и дерзостью.

(Из полицейского донесения о Педро Аршанжо. 1926 год)

Иаба — это дьяволица без хвоста.

Карибе (Сценарий кинофильма «Иаба»)

*На широком просторе Пелоуриньо мужчины и женщины учатся сами, учат других. Обширен этот университет: раскинулся, расползся он по Табуану, Портас-де-Кармо, Санто-Антонио-Ален-до-Кармо, по Байша-дос-Сапатейрос, по рынкам, по Масиелу и Лапинье, по Ларго-да-Се, Тороро, Баррокинье, Сете-Портас и Puo-Bepмиельо — повсюду, где мужчины и женщины обрабатывают металл и дерево, варят травы и корни, смешивают свои шаги, ритмы своих песен, свою кровь. А из смешения этого возникают новый цвет и новый звук, рождается новая, прежде невиданная, ни на что не похожая пластика.*

*Там гудят барабаны атабаке и агого, там гремят бубны, погремушки и пустотелые выдолбленные тыквы-кабасы, там эти убогие инструменты исторгают прихотливые ритмы, щедрые мелодии. Там живет народ Баии, там рождается музыка, там начинается танец.*

*Друг, дружочек, друг, дружочек,*

*Друг, дружочек дорогой.*

*Там, рядом с церковью Розарио-дос-Претос, основал когда-то Будиан свою школу ангольской капоэйры. Сюда, в этот дом, пять окон которого всегда распахнуты на Ларго-да-Ce, приходят под вечер, после работы, его ученики: они устали после трудового дня, но шутят и пересмеиваются. Под гул беримбау наносятся и отбиваются удары, проводятся приемы, их не счесть, и каждый — ужасен, каждый — неотразим: вот «мельница», вот подножка, вот подсечка, вот захват, вот зацеп, вот удар головой... Юноши ведут игру. Откуда только не вывезены эти удары, приемы и броски — голова пойдет кругом: из Сан-Бенто Большого и Сан-Бенто Малого, из Санта-Марии и Каваларии, с Амазонки, из Анголы, а сколько еще из других мест, боже ты мой! Здесь, в Баие, искусство ангольской капоэйры обогатилось и преобразилось: капоэйра — все еще борьба, но уже и танец.*

*А местре* [[1]](#footnote-1) Будиан легок, проворен и быстр, как дикая кошка, нет ему равных в силе и ловкости, никто не устоит против него, ничей удар его не настигнет — так стремителен он и прыгуч. В зале показывают свое искусство и доказывают свой талант большие мастера: Боголюб, Лодочник, Шико Лом и Антонио Везунчик, Большой Захария, Пейшото Плешь, Семь Смертей, Шелкоус и Кудряш, Висенте Привереда, Дюжина, Тибурсиньо, Шико Отдай, Заводила и Баррокинья, тот самый, о ком поют:

Мальчик, кто тебя учил?

Догадайтесь сами:

Тот, кто бороды не брил,

Полицейских всюду бил

И дружил с друзьями...

*А однажды явились хореографы и обнаружили в капоэйре балетные па. За ними пришли самые разные композиторы — и хорошие люди, и подлецы, — на всех хватило нашей забавы, хватило да еще и осталось, вот оно как. Здесь, на Пелоуриньо, в этом вольном университете творит народ свое искусство. Здесь его колыбель. Здесь всю ночь напролет распевают песни...*

Ай, ай, Айде,

Научи меня игре,

Ай, ай, Айде!

*А профессора и преподаватели — в каждом доме, в каждой лавке, в каждой мастерской. В той же самой школе местре Будиана — только во внутреннем дворике — собираются и репетируют участники афоше* [[2]](#footnote-2) «Дети Баии» и других карнавальных групп, — там царство молодого Валделойра, того самого, кто не знает себе равных в устройстве карнавалов и пасторилов[[3]](#footnote-3)*. Досконально известно ему и искусство капоэйры: когда открыл он в Тороро собственную школу, то показал придуманные им самим приемы и броски. А в большом патио по субботам и воскресеньям — круговая самба: тут уж на первом месте негр Ажайи. Должность посла в афоше еще мог бы у него оспаривать Лидио Корро, но по части самбы он единственный и неоспоримый знаток. Знаток, законодатель ее ритмов, ее главный балетмейстер.*

*Тут же рядом пишут маслом и акварелью, рисуют цветными карандашами «чудеса». Тот, кто дал обет Господу нашему, спасителю Бонфинскому, или пресвятой деве Кандейанской, или другому какому чудотворцу и получил, чего желал, — тот приходит к художнику, заказывает картину и вешает ее в церкви как безвозмездный дар. Этих художников-самоучек зовут Жоан Дуарте, местре Лидио Лопес, местре Кейроз, Агрипиниано Баррос, Раймундо Фрага. Местре Лисидио режет по дереву гравюры, рисует картинки к разным книжечкам-брошюркам.*

*Здесь толкутся певцы-трубадуры, бродячие поэты, гитаристы-импровизаторы, сочинители книжонок, что набраны, сверстаны и отпечатаны в типографии Лидио Корро или в другой какой-нибудь, не менее убогой, — книжки эти идут по пятьдесят рейсов — за бесценок, и расходится поэзия и проза по вольной земле Пелоуриньо.*

*Вот они — поэты, памфлетисты, летописцы, моралисты. Они описывают в подробностях жизнь Баии, они перелагают в звучные вирши истории действительные и выдуманные, но и от тех, и от других у вас глаза на лоб полезут. Вот, например, «Девственница из Барбальо» или, скажем, «История принцессы Марикруз и воздушного рыцаря». Они возмущаются, они издеваются, они учат и забавляют, и удивительные порою выходят у них стихи.*

*А в лавке Агналдо драгоценное дерево — черное дерево, красный сандал, пероба, массарандуба, палисандр — становятся фигурами Шанго, Иеманжи, Огуна, изображениями сказочных витязей, и в могучих руках их зажаты сверкающие мечи. Могучи руки и самого местре Агналдо: когда уже устало его сердце, измученное болезнью (в те времена у рокового недуга еще не было названия, но обещал он, как и теперь, верную и мучительную смерть), руки мастера, неутомимые его руки продолжали делать богов-ориша. Эти фигуры были исполнены тайны, и казалось, что еле живой Агналдо вдохнул в них вечную жизнь. Его творения тревожат, волнуют, потому что похожи они разом и на легендарные существа, и на всем известных людей. По какому-то случаю «отец святого», жрец из Марагожипе, заказал ему огромную фигуру Ошосси и прислал для этого ствол жакейры — шесть человек понадобилось, чтобы ствол этот поднять. Истомленный недугом, задыхающийся Агналдо улыбнулся, когда увидал его. Ему отрадно было трудиться над такой махиной, и он вдохновенно вырезал из дерева огромного Ошосси, великого охотника, только в руки ему вложил не лук со стрелами, а ружье. Необычный получился у него Ошосси: все, конечно, признали в нем лесного царя, повелителя Кету, но в то же время он был похож и на Лукаса де Фейру, на разбойника-кангасейро, на бандита из сертана, на Безойро — Золотую Струну:*

Сыну завещал Безойро

за мгновенье до конца:

«Не давай себя в обиду

и бери пример с отца».

*Таким местре Агналдо увидал Ошосси, таким он его и сотворил — в кожаной шапке со звездой, в руках — ружье, за поясом — нож. Жрец отверг статую оскверненного, на себя не похожего бога, и много месяцев простояла она в мастерской, словно на страже, пока наконец один заезжий француз не увидел ее и не купил за хорошие деньги. Теперь, говорят, стоит Ошосси в музее, в Париже... Впрочем, мало ли что говорят на вольной земле Пелоуриньо...*

*А в тонких и слабых руках светлокожего мулата Марио Проэнсы жесть, цинк, медь становятся мечами Огуна, веером Иеманжи, посохом Ошала. Огромная медная Иеманжа каждому укажет мастерскую Проэнсы — «Лавку Матери Вод».*

*Местре Ману, угрюмый и чумазый силач, человек немногословный и суровый, ворочает в горне трезубец Эшу, оружие Огуна, тугой лук Ошосси, змею Ошумар. В пламени горна, в яростных руках кузнеца рождаются боги-ориша со всеми своими атрибутами. Руки неграмотных творцов созидают искусство.*

*Пристроившись неподалеку от Портас-до-Кармо, местре Диди возится с бисером и соломинками, с кожей и конским волосом, мастерит фетиши и амулеты. А сосед его, Деодоро — тот, что так раскатисто хохочет, — специалист по барабанам всевозможных видов, разных народностей и племен: наго и жеже, ангола и конго, илус, любимый племенем ижеша.*

*А на улице Лисеу сидит словоохотливый и веселый сантейро Мигел — он лепит из глины и раскрашивает фигурки ангелов, архангелов, святых. Святые-то католические, почитаемые римской апостольской церковью — Пресвятая Дева непорочного зачатия, святой Антоний, покровитель Лиссабона, архангел Гавриил, младенец Иисус, — что же связывает их с африканскими богами-ориша местре Агналдо? Что между ними общего? А общее между ними — смешанная их кровь. Вот Ошосси, вырезанный Агналдо, — вылитый наемник из сертана. А святой Георгий, сделанный Мигелом, разве не такой же кангасейро? Его шлем больше похож на кожаную шапку, а дракон напоминает не то крокодила, не то кайпору, каким показывают его на празднике богоявления.*

*Иногда на досуге, когда кровь играет, сантейро Мигел для собственного удовольствия вырезает фигурку нагой негритянки во всей ее непобедимой прелести и дарит друзьям. Одна такая статуэтка — ни дать ни взять Доротея: те же высокие груди, тот же гордо отставленный крутой зад, те же стройные ноги и живот словно распустившийся цветок. Только Педро Аршанжо был бы под пару этой красавице. А вот Роза де Ошала у мастера не получилась, не удалась: «не сумел я разгадать ее тайну», как он сам говорил.*

*Ювелиры колдуют над благородными металлами: серебро и медь обретают надменную красоту в образе плодов, рыб, талисманов, украшений, что носят в Баие по праздникам. На Ларго-да-Се, на Байша-дос-Сапатейрос звенит золото — скоро, скоро станет оно браслетами и ожерельями. Самый славный из ювелиров — местре Лусио Рейс: отец-португалец передал ему свое искусство, но филигранным узорам он предпочел кажу, абакаши, питанги* [[4]](#footnote-4)*, шишки и фиги — амулеты всех размеров, всех видов. От матери своей, негритянки Предилеты, унаследовал он дар воображения и без устали мастерит броши, кольца, безделушки — больших денег стоят они теперь у антикваров.*

*А рядом — палатки, в которых продают волшебные травы, лечат целебными настоями. Дона Аделаида Тостес, матерщинница и пьяница, знает каждую травку, каждый листик, знает, пользу они принесут или вред. Ей ведомы целебные свойства корней, коры, кожуры: вот алума — для печени; вот лимонная мята — чтоб унять тревогу; вот жеваная тиририка — если мучает похмелье; вот золототысячник — если почки больные; вот святая трава — от живота; вот «козлиная борода» — для того, чтобы поднялось настроение и еще кое-что. Неподалеку торгует другая «знаменитость», дона Филомена: попросите, заплатите — и она заговорит вас от сглазу, вылечит от хронического катара, а если у пациента слабая грудь, она приготовит настой из кресса, меда, молока, лимона и бог знает каких еще снадобий — самый страшный кашель как рукой снимет! Один врач выучился у нее кровь очищать, а потом уехал в Сан-Пауло, стал там лечить сифилис и быстро разбогател.*

*Ректорат этого народного университета находится в «Лавке чудес», в доме № 60 по Ладейра-до-Табуан. Там сидит местре Лидио Корро, пишет «чудеса» по заказу, показывает тени волшебным фонарем, режет по дереву грубые гравюры. Может быть, там встретите вы и самого ректора, местре Педро Аршанжо? Очень может быть, что вместе с другом он склонился над старыми литерами, над капризным типографским станком. Может быть, в убогой и ветхой мастерской печатают сейчас книгу о том, как живут люди в Баие.*

*Совсем рядом, на Террейро Иисуса, возвышается медицинский факультет: там тоже учат лечить болезни и ухаживать за больными. И многим другим премудростям: от риторики до стихосложения. Там же выдвигаются весьма рискованные теории.*

## О том, как поэт и бакалавр-социолог Фаусто Пена получил одно поручение, и о том, как он с ним справился

На нижеследующих страницах читатель найдет мои исследования, касающиеся жизни и творчества Педро Аршанжо. Работа эта была мне заказана великим Джеймсом Д. Левенсоном и оплачена долларами.

Необходимо сделать несколько предварительных замечаний, потому что жизнь Педро Аршанжо от самого ее начала до конца породила огромное количество вздорных и нелепых вымыслов. Просматривая сделанные записи, я убедился, что, несмотря на все мои искренние и огромные старания — прошу читателя поверить мне! — некоторые периоды его биографии изложены противоречиво и неправдоподобно, а потому работа производит не совсем верное впечатление.

Говоря о неточностях и неопределенности, о сомнительных фактах и заведомой лжи, я имею в виду не только биографию баиянского местре, но и всю совокупность данных о нем: от событий далекого прошлого до сегодняшних, из которых главное — сенсационная пресс-конференция Джеймса Д. Левенсона; от неслыханных кутежей по случаю пятидесятилетия Аршанжо до торжественного вечера, посвященного столетней годовщине со дня его рождения. А восстановление во всех деталях его биографии не входило в мои намерения, да этого и не требовал от меня ученый из Колумбийского университета: его интересовали только методы работы, позволившие Аршанжо создать такие живые и своеобразные произведения. Он требовал от меня лишь перечня фактов, благодаря которым смог бы лучше представить себе личность Аршанжо, написать нечто вроде предисловия к американскому изданию его трудов.

Однако не только мелкие подробности, но подчас и очень важные, необходимые для исследователя факты биографии Педро Аршанжо восстановить мне не удалось, я часто оказывался перед пустотой, разрывами во времени и пространстве или обнаруживал необъяснимые события, разнообразные версии, нелепые интерпретации, противоречивые свидетельства противоречивших друг другу свидетелей. Собранный материал находился в полнейшем беспорядке. Так, например, я не выяснил, является ли негритянка Роза де Ошала мулаткой Ризолетой, происходящей от ведьмы, или Доротеей, заключившей сделку с дьяволом. Некоторые отождествляют ее с Розендой Батиста дос Рейс, уроженкой Муритибы; иные — с прекрасной Сабиной дос Анжос, «самой красивой из всех ангелов»[[5]](#footnote-5), как галантно говорил о ней Педро Аршанжо. И все же: об одной и той же баиянке идет речь или о разных? Мне это определить не удалось, и, я боюсь, не удастся никому.

Должен признаться, что в сообщениях очевидцев царит такая путаница, такая неразбериха, что у меня часто не хватало сил и терпения проверить ту или иную гипотезу, выяснить подробности, которые могли бы пролить свет на это загадочное дело. Я постоянно сталкивался с полным отсутствием достоверности и надежности, я все время натыкался на «вероятно», «возможно», «скорей всего», словно эти люди видели в покойном Педро Аршанжо не человека из плоти и крови, а — судя по тому количеству подвигов, которые ему приписываются, — целую когорту героев и кудесников. Провести грань между правдой и вымыслом, между действительностью и фантазией я не смог.

Разумеется, я прочел все книги Педро Аршанжо от корки до корки; это было нетрудно: их всего-то четыре, а в самой толстой не будет и двухсот страниц (один книготорговец из Сан-Пауло собирается издать том сочинений Аршанжо, его кулинарная книга туда не войдет, потому что, в силу своей специфики, она и так будет пользоваться большим спросом). Я не стану высказывать своего мнения о творчестве Аршанжо: сегодня ему не страшна никакая критика, и никто не возьмет на себя смелость отрицать поистине всемирный успех его книг, особенно теперь, после того, как они переведены на многие языки, а Левенсон так однозначно и решительно их одобрил. Не далее как вчера я сам прочел в газете: «Аршанжо издан в Москве. „Правда“ превозносит его».

Я только могу присоединить свой голос к этому восторженному хору. Я бы сказал, что наслаждался этим чтением: многое из того, о чем писал Аршанжо, и поныне составляет часть нашей жизни, часть ежедневного быта нашего города. Меня очень порадовала предпоследняя из его четырех книг (говорят, что перед смертью он подготовил к печати еще одну), та самая, что принесла своему автору столько огорчений и бед, и когда я встречаю людей, кичащихся своей голубой кровью, генеалогическим древом, гербами, знатными предками, и узнаю, как их зовут, то при желании всегда нахожу их имена в списке, тщательно и дотошно составленном Аршанжо, который так страстно стремился в своем творчестве к истине.

Теперь мне остается лишь объяснить, при каких обстоятельствах познакомился я с Левенсоном и почему именно на меня пал его выбор. Имя американского ученого не нуждается ни в каких комментариях, оно известно решительно всем, и то, что именно на меня возложил он столь трудную миссию, наполняет мою душу благодарной гордостью. Хотя наше сотрудничество было непродолжительным и омрачилось некоторыми событиями, я всегда буду хранить приятные воспоминания об этом простом, веселом, сердечном и элегантном человеке, который всем своим видом опровергал затрепанный карикатуристами образ замшелого и занудливого ученого-педанта.

Я хочу воспользоваться случаем и расставить точки над «i» по поводу одного из аспектов моего сотрудничества со знаменитым профессором Колумбийского университета. Злоречивые завистники и недоброжелатели, не удовлетворившись тем, что они вторглись в мою личную жизнь, что закидали грязью — той самой грязью, в которой они привыкли всю жизнь барахтаться сами! — имя Аны Мерседес, попытались поссорить меня с левыми кругами нашего общества, утверждая, что я продал американскому империализму себя самого и светлой памяти Педро Аршанжо, продал с потрохами за пригоршню долларов.

Но скажите мне, какая связь между Левенсоном и Госдепартаментом или Пентагоном?! Никакой! Наоборот. Позицию Левенсона, его выступления против войны, его связи с движениями прогрессивного толка реакционеры и консерваторы расценивают как нечто весьма далекое от позиции правительства. Когда за значительный вклад в развитие социальных и гуманитарных наук ему была присуждена Нобелевская премия, вся европейская пресса особо подчеркивала молодость лауреата — ему в то время еще не исполнилось сорока лет! — и независимость его политических взглядов, независимость, которая в определенных кругах навлекла на него подозрения. Впрочем, книги Левенсона, которые кто-то назвал «трагическим воплем протеста против неправедного и неправильного мира», есть везде, и каждый, прочитав их, сам может взглянуть на обширную панораму воссозданной им жизни первобытных и развивающихся народов.

Я ничем не способствовал распространению книг Аршанжо в Соединенных Штатах, но считаю это распространение победой прогресса, потому что баиянец, хоть и был анархистом без четко сформулированной программы, пользовался невиданной любовью народа, который видел в нем знамя борьбы против расизма, предрассудков, нищеты и уныния.

Левенсон получил меня, так сказать, из рук Аны Мерседес, талантливой представительницы нашей молодой поэзии — сейчас, впрочем, она полностью посвятила себя народной бразильской музыке — и корреспондентки одной из утренних газет. Левенсон на время краткого пребывания в нашем городе был поручен ее заботам, и она с таким усердием выполняла приказ своего редактора, что не расставалась с американцем ни днем ни ночью, сделавшись его гидом и переводчицей. Разумеется, ее рекомендация сыграла не последнюю роль в том, что Левенсон отдал предпочтение мне, но то, что говорят о подоплеке этой рекомендации разные мерзавцы, — бессовестная клевета: Левенсон, если уж на то пошло, смог проверить на деле, чего я сто́ю.

Мы втроем были в Алакету на празднестве Иансан, и там я продемонстрировал американцу мои знания, образованность и степень профессиональной культуры. На смеси испанского с португальским, вставляя то и дело английские слова и прибегая к помощи Аны Мерседес, которая английским, кстати, владела не лучше меня, я объяснял Левенсону смысл церемоний, называл ему имена главных и второстепенных божеств, растолковывал ему суть движений, положений и поз, говорил о песнях и танцах, о цвете костюмов — да о чем только я не говорил! Когда я в ударе, язык у меня работает превосходно! Чего я не знал, то тут же выдумывал, потому что мне не хотелось упустить обещанные доллары. Доллары — это же не обесцененные крузейро, доллары, которые мне были выплачены через некоторое время, в тот день, когда в холле гостиницы я распрощался — не совсем по своей воле — с Левенсоном и Аной Мерседес...

Ну вот, я все объяснил, сказать мне больше нечего. Добавлю только в заключение и не без грусти, что труд мой не был должным образом оценен великим американцем.

Как только я закончил работу, то один ее экземпляр, перепечатанный на машинке, выслал ему в соответствии с нашим договором, приложив к рукописи одну из тех двух фотографий, что мне удалось раздобыть: на выцветшем снимке можно видеть молодого, крепкого, темнокожего мулата в черном костюме — это и был Педро Аршанжо, только что назначенный педелем медицинского факультета Баии. Другую фотографию, на которой Аршанжо, постаревший и неряшливый, поднимает стакан с вином в компании каких-то сомнительных женщин, я решил не посылать. Снимок, по всей видимости, сделан во время попойки.

Через две недели я получил по почте письмо, подписанное секретаршей Левенсона. Она подтвердила получение моей рукописи и прислала мне чек на некую сумму в долларах — вторую половину гонорара и деньги на те расходы, которые я сделал или еще мог сделать во время моих изысканий. Выплачено мне было все до последнего цента, беспрекословно, — заплатили бы, разумеется, и больше, если бы я не был так скромен в своих притязаниях и так робок при составлении отчета о расходах.

Из всего присланного материала Левенсон, опубликовав в переводе на английский значительную часть произведений Аршанжо в одном из томов своей монументальной энциклопедии, посвященной жизни народов Африки, Азии, Латинской Америки («Encyclopedia of life in the tropical and underdeveloped countries»)[[6]](#footnote-6) и подготовленной к печати крупнейшими учеными нашего времени, использовал лишь фотографию. В предисловии он ограничился разбором книг баиянца, почти не упомянув о нем самом. Впрочем, и этого было достаточно, чтобы я понял: он и не заглядывал в мою рукопись. Левенсон, к примеру, произвел Аршанжо в профессора и в члены ученого совета («distinguished Professor, member of the Feacher’s Council»). Вы представляете? Я не знаю, откуда получил Левенсон эти вздорные сведения, но ведь ему достаточно было перелистать мою рукопись, чтобы не совершить такой ошибки! Из педелей — в профессора! О, бедный мой местре! Только этого тебе и недоставало!

В книге Джеймса Д. Левенсона я не обнаружил ни ссылок на мою работу, ни упоминания моего имени и, почувствовав себя свободным от всех обязательств, охотно согласился на предложение преуспевающего книготорговца, а с недавних пор издателя с улицы Ажуда — сеньора Дмевала Шавеса, который пожелал выпустить в свет мои бесхитростные заметки. Я выдвинул единственное и непременное условие: подписать договор по всей форме, потому что Шавес, хоть и богат, гонорары авторам выплачивает с большим скрипом. Впрочем, может быть, такова традиция издателей? Ведь и наш Аршанжо в далекие времена был жертвой некоего Бонфанти, книготорговца с Ларго-да-Се. Но об этом речь впереди.

## О приезде в Бразилию американского ученого Джеймса Д. Левенсона и о последствиях этого приезда

### 1

— Ax, какой душка! — С этими словами стройная, как тропическая пальма, Ана Мерседес врезалась в толпу журналистов, профессоров, студентов, светских дам, литераторов и просто любопытствующих. Толпа, сбившись в кучу в просторном холле отеля, ожидала появления Джеймса Д. Левенсона на пресс-конференции.

Микрофоны, телекамеры, юпитеры, фотографы, операторы, лианы электропроводов — а юная корреспондентка утренней газеты «Диарио да Манья» с таким видом, словно именно ей город поручил принять и приветствовать великого человека, пробиралась вперед, посмеиваясь и вертя задом.

«Вертя задом»? Да разве может передать это неточное и грубое выражение, как плыли в ритме самбы, плавно и упруго колеблясь, груди и бедра Аны Мерседес?! Она была обольстительна, она полностью соответствовала понятию «секс-бомба»: мини-юбочка открывала смуглые точеные ноги, глаза горели, на полураскрытых, чуть припухших губах играла улыбка... А жадные зубки, а пупок, выставленный всем напоказ? И вся она была точно из золота. Нет, она пританцовывала на ходу: она сама была танцем, приглашением, предложением.

И вот из лифта вышел американец и остановился, разглядывая толпу и давая разглядеть себя. Метр девяносто роста, фигура атлета, грация актера, белокурые волосы, небесно-голубые глаза, трубка в зубах — вот каков был Джеймс Д. Левенсон! Кто дал бы ему сорок пять лет? Его фотографии, напечатанные на разворот в газетах Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло, несут ответственность за то, что в холл гостиницы набилось столько женщин... Присутствующие единодушно отметили, что оригинал и сравнить нельзя с копиями. Вот это мужчина!

— Бесстыдница! — произнесла одна из них — грудь у нее была точь-в-точь как у горлицы, — это замечание относилось к Ане Мерседес.

Ученый завороженно смотрел на девушку: она решительно направлялась к нему: пупок — всем напоказ. Никто и никогда еще не видал такой танцующей походки, такого гибкого тела, такого невинного, такого лукавого лица, такую пленительную красавицу мулатку!

И она приблизилась, и стала перед Левенсоном, и сказала — не сказала, а пропела:

— Привет!

— Привет! — пророкотал американец, вынул изо рта трубку и поцеловал ей руку.

Огорченные, испуганные дамы затрепетали и разом вздохнули. Проклятая Ана Мерседес! Ничтожная потаскушка, грошовая журналистка, дерьмовая поэтесса, кто ж не знает, что стихи за нее пишет Фаусто Пена?! Быть ему рогоносцем!

«Очарование, изысканность и интеллект баиянских женщин были представлены comme il faut[[7]](#footnote-7) на пресс-конференции гениального Левенсона. Наши красавицы играют в этнографию, наши прелестницы забавляются социологией» — так писал в своей ежедневной колонке блистательный обозреватель Силвиньо. Многие из них, кроме красоты, изящества, нарядных париков, сексуальной многоопытности, могли похвастать и другими достоинствами: у многих были дипломы об окончании курсов, организованных при туристских агентствах или театральных училищах, такие как: «Фольклорные обычаи и костюмы», или «Традиции, история, памятники Баии», или «Конкретная поэзия», или «Религия, секс и психоанализ». Но в данный момент все они, дипломированные специалистки и дилетантки, своенравные девицы и непреклонные матроны в преддверии второй или третьей пластической операции, все, все поняли, что честная борьба исключается и все усилия бесплодны. Наглая и циничная Ана Мерседес вырвалась вперед и захватила мужественного представителя науки, объявив его частной собственностью. Ох, Ана Мерседес, хищная и ненасытная — «ненасытная телка, звезда секса» — так назвал ее в своих стихах лирик и страдалец Фаусто Пена, — она ни с кем не поделится добычей, плакали все надежды, кончились состязания.

Рука об руку с поэтессой и журналисткой профессор Колумбийского университета прошел в центр зала, к приготовленному креслу. Вспыхнули блицы фотографов, как цветы засияли огни. Если бы в эту минуту грянул свадебный марш, то Ана Мерседес в мини-юбке и мини-блузке и Джеймс Д. Левенсон в голубом «тропикале» совсем бы стали похожи на новобрачных у алтаря. «Жених и невеста», — шепнул Силвиньо.

Они разжали руки лишь в тот миг, когда американец опустился в кресло. Ана Мерседес осталась стоять рядом, на страже, — не такая она была дура, чтобы оставить его одного среди жадной своры обезумевших от течки сук. У, кобылищи! Одна другой доступней, одна другой смешней! Знаю я вас всех! Ана Мерседес засмеялась, чтобы тем стало еще обидней. Фотографы в раже полезли на стулья, взобрались на столы, распластались на полу, отыскивая головокружительные ракурсы для съемки. По незаметному знаку управляющего официанты разнесли напитки. Пресс-конференция началась.

И вот, отставив стакан, с места поднялся, распираемый от важности и эрудиции, гордый и надменный редактор «Жорнал да Сидаде» и литературный критик Жулио Маркос. Воцарилась почти молитвенная тишина. С того конца, где разместились дамы, долетел чей-то вздох: раз уж не достался белокурый ученый, загадочный иностранец, сгодится и светлый мулат, высокомерный Маркос. От имени «Жорнал да Сидаде» — и самых что ни на есть интеллектуалов — он задал первый, первый и сокрушительный вопрос:

— Не сообщит ли нам вкратце уважаемый профессор свое мнение о Маркузе[[8]](#footnote-8), о его трудах и их влиянии? Не кажется ли уважаемому, что после Маркузе теории Маркса выглядят безнадежно устаревшими?

Сказав это, он обвел зал победным взглядом, покуда назначенный ректоратом переводчик — произношение безупречное, можете быть уверены! — переводил сказанное на английский, а настырная Мариуша Паланга — три пластические операции: две — лица, одна — груди, а все под девочку играет — прошептала тихо, но отчетливо:

— Гениально!

Джеймс Д. Левенсон глубоко затянулся, с нежностью глянул на пупок Аны Мерседес, на этот исполненный глубочайшей тайны цветок, растущий только на лугах сновидений, и с той бесцеремонностью, которая так идет ученым и артистам, сказал по-испански:

— Вопрос идиотский. Только легкомысленный болтун или уж полный кретин может высказывать свое мнение о Маркузе или распространяться об актуальности марксизма на пресс-конференции. Если бы у меня было время для лекции или доклада по этому вопросу, тогда дело другое. Но времени у меня нет, и в Баию я приехал не затем, чтобы беседовать о Маркузе. Я приехал, чтобы своими глазами взглянуть на город, в котором жил и творил замечательный человек, глубокий и благородный мыслитель, выдающийся гуманист, ваш земляк Педро Аршанжо. Я здесь для этого и только для этого.

Он выпустил новый клуб дыма, беззаботно, с типично американской приветливостью улыбнулся всей аудитории и, даже не взглянув на сраженного наповал Маркоса, окутанного надменностью, точно саваном, повернулся к Ане Мерседес, оглядел ее сверху донизу — от черных распущенных волос до экстравагантно выкрашенных в белый цвет ноготков на ногах, — очевидно, с каждой минутой она все больше приходилась ему по вкусу. В одной из своих книг Аршанжо писал: «Красота женщин, простых женщин из народа, — это символ города, где живут люди со смешанной кровью, это плод любви разных рас, это ясное утро, не омраченное предрассудками».

Левенсон еще раз поглядел на пупок-цветок, на пупок-вселенную и произнес на том правильном испанском языке, какому учат в американских университетах:

— А знаете, с чем бы я сравнил творчество Педро Аршанжо? Вот с этой сеньоритой. Она просто со страниц книги мистера Аршанжо. Честное слово.

Так ясным апрельским днем пришла в Баию слава Педро Аршанжо.

### 2

Да, признание, известность, восхищение знатоков, слава, мировой успех, имя, склоняемое в газетах, истерические восторги обворожительных, великолепных, щедрых женщин — все это пришло к Педро Аршанжо после смерти, когда ему уже ничего не было нужно, — ничего, даже женщин, которых при жизни он так любил и которым так умел радоваться.

Один известный журналист, подводя итоги культурной жизни страны, писал: «Этот год стал годом Педро Аршанжо». И правда, в кругу интеллектуальной элиты ни о ком не говорили больше, чем об Аршанжо, ни одну книгу не расхваливали так, как четыре его томика, спешно переизданные после десятилетий забвения — не забвения, а незнания: ведь не только широкие круги читающей публики, но и специалисты не имели понятия о его творчестве, которое ныне вместе с его дурными привычками и благородными пороками стало достоянием гласности.

Все началось после того, как в Бразилию приехал знаменитый Джеймс Д. Левенсон, человек, которого Британская Энциклопедия назвала «одним из пяти гениев нашего века»: философ, математик, социолог, антрополог, этнограф и еще многое другое, профессор Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии в области науки и, словно всего вышеперечисленного мало, еще и гражданин Соединенных Штатов. Его взгляды произвели революцию в современной науке: этот отважный полемист изучал и объяснял историю развития человечества с самых неожиданных позиций, приходил к новым, дерзким выводам, переворачивая старые концепции и теории. Для консерваторов он был проклятый и опасный еретик; для своих учеников и сторонников — бог; для репортеров — благословение божье, потому что Джеймс Д. не жалел слов и не прятал мнений.

В Рио-де-Жанейро он приехал по приглашению Бразильского университета прочесть на филологическом факультете курс, состоящий из пяти лекций. Как всем известно, успех был огромный: народу собралось столько, что первую лекцию, назначенную в небольшой факультетской аудитории, пришлось перенести в актовый зал ректората, и все равно слушатели толпились на лестницах и в коридорах. Журналам и газетам, репортерам и фотографам крупно повезло: Левенсон был столь же фотогеничен, сколь гениален.

Его лекции, после которых задавались вопросы и затевались яростные споры, принимавшие порой очень острый характер, послужили поводом для студенческих манифестаций: молодежь выражала восхищение Левенсону и ненависть диктатуре. Не раз и не два студенты, вскочив со своих мест, устраивали ему долгие бешеные овации. Некоторые его фразы особенно пришлись по душе слушателям и облетели страну из конца в конец: «Десять лет беспрерывных международных конференций значат больше, а стоят меньше, чем один день войны...», «Все тюрьмы и полицейские одинаковы и одинаково отвратительны при всех режимах — всех без исключения...», «Мир можно будет назвать цивилизованным, когда мундир станет музейным экспонатом...».

Левенсон, облаченный в купальные трусики, окруженный кинозвездами, каждое утро проводил на пляже.

Он систематически отклонял приглашения академий, институтов, ассоциаций, научных обществ и профессоров — всем этим он был по горло сыт в Нью-Йорке, а когда еще доведется ему снова радоваться бразильскому солнцу?.. Он даже играл на пляже в футбол — его сфотографировали в тот миг, когда он метким ударом отправил мяч в ворота, — однако самый большой спортивный интерес великий ученый испытывал к женщинам. На пляже и в ночных клубах он уже познакомился с великолепными представительницами нашей бразильской нации.

Джеймс Д. только недавно развелся, а потому занимавшиеся светской хроникой журналисты без устали подсчитывали его победы и угадывали его будущую жену. Некий полоумный борзописец, который специализировался на скандалах, предрекал гибель одной семьи, принадлежавшей к высшему обществу, но ошибся: польщенный муж сделался ближайшим другом американского мудреца-жеребца. И хроникер Зул опроверг этот мрачный прогноз: «...вчера на пляже Копакабана Кэти Сикейра Прадо в бикини, купленном в Каннах, нежно взирала на своего мужа Беби и великого Джеймса Д., которые в последнее время стали неразлучны». Популярный журнал поместил на обложке фотоснимок, запечатлевший мускулы нобелевского лауреата рядом с соблазнительными формами Нади Силвии, актрисы большого дарования, которое ей по непонятной причине пока не удалось проявить ни на сцене, ни на экране. Сама же Надя, отвечая на вопросы репортера, хохотала и ни в чем не призналась, но ни романа, ни страсти отрицать не стала. «Левенсон — шестая мировая знаменитость, потерявшая голову из-за Нади Силвии», — объявил еженедельник совершенно серьезно и тут же привел список пяти предшественников Джеймса Д.: Джон Кеннеди, Ричард Бартон, Ага-Хан, швейцарский банкир и английский лорд — все это не считая одной мужеподобной итальянки, графини-миллионерши.

«Гениальный Левенсон, влюбленный в обворожительную Элену фон Клостер, снова посетил вчера дансинг ресторана „Ле Бато“», — писал Гиза в «Кроника да Нойте». «Великий ученый освоил самбу и отныне не признает иных ритмов», — сообщал в восемнадцати газетах и по всем каналам телевидения Роберт Сабад, информируя бразильский народ о том, что великолепная Бранкинья до Вал-Бюрнье, владелица отеля «с лучшими в мире номерами и кухней», сказала: «Если бы Джеймс не был нобелевским лауреатом, он мог бы зарабатывать на жизнь как профессиональный танцовщик». Словом, газеты и журналы не могли пожаловаться на американца — его хватило на всех.

Однако ни одна сенсация не могла сравниться с той, что, подобно бомбе, взорвалась в аэропорту Рио перед отлетом Левенсона в Баию. Впрочем, о Педро Аршанжо американец сказал несколько слов сразу же по прилете из Нью-Йорка. «Я счастлив, — заявил он, — что нахожусь на родине Педро Аршанжо». Тогда репортеры то ли не поняли этой фразы, то ли не придали ей значения. Но теперь, когда нобелевский лауреат в день отлета, смешавшего все карты репортерам, заявил, что два дня из своего краткого пребывания в Бразилии он оставляет для путешествия в Салвадор, чтобы «увидеть город и людей, послуживших объектами исследования блистательному Педро Аршанжо, в книгах которого сама наука поэтична, человеку, который так высоко поднял бразильскую культуру», начался настоящий переполох.

«Да кто такой этот Педро Аршанжо?! Мы о таком и не слыхали!» — поразевали рты журналисты. Один из них, желая поймать Левенсона в ловушку, осведомился, каким образом узнал американец об этом бразильском писателе. «Я прочел его книги, — отвечал Джеймс Д., — я прочел его бессмертные книги».

Этот провокационный вопрос задал Апио Коррейа, заведующий отделом науки, литературы и искусства одной из утренних газет, человек начитанный, напористый и нахальный. Получив ответ, он не перестал блефовать и сказал, что ему ничего не известно о переводе сочинений Аршанжо на английский.

«Я прочел эти книги не по-английски, — сообщил ему неумолимый американец, — а по-португальски», и добавил, что смог сделать это, несмотря на скудное знание нашего языка, потому что владеет испанским и латынью. «Это было нетрудно», — заявил он и добавил, что обнаружил труды Аршанжо в библиотеке Колумбийского университета, когда собирал материал о народах тропических стран. Теперь же он намеревается перевести и издать в США «книги вашего великого соотечественника».

«Надо действовать!» — сообразил Апио Коррейа, бросаясь на поиски такси, которое вскоре доставило его в Национальную библиотеку.

Журналистам пришлось попотеть, прежде чем они узнали о существовании профессора Рамоса и выяснили, где находится этот человек, удостоенный многих ученых степеней и почетных званий; особая же заслуга профессора Рамоса заключалась в том, что он знал произведения Аршанжо и превозносил их в своих статьях, только, к сожалению, статьи эти печатались в специальных журналах, выходящих ничтожными тиражами, и никем почти не читались.

«Я уже много лет, — сообщил журналистам профессор, — хожу, как на Голгофу, от издателя к издателю и предлагаю переиздать книги Аршанжо. Я написал предисловия, я подготовил подстрочные примечания, я составил комментарии, но никто не проявил интереса. Я был у профессора Вианы, декана философского факультета, чтобы через его посредство заинтересовать университет в этих публикациях. Профессор Виана ответил мне, что я „напрасно теряю время, возясь с глупостями негра-алкоголика, алкоголика и смутьяна“. Может быть, теперь, когда Левенсон отдал должное книгам Аршанжо, у нас поймут наконец огромную важность этих произведений. Замечу, впрочем, что труды самого Левенсона совершенно неизвестны в Бразилии, и все эти шарлатаны, трубящие ему славу, даже не заглядывали в них и не знакомы с самыми фундаментальными его работами, не понимают сущности его мировоззрения».

Интервью, как можно заметить, получилось довольно печальное, но признаем, что для грусти есть все основания: столько лет бороться за место под солнцем для бедного Аршанжо и ничего не добиться, выслушивать отказы издателей, сносить угрозы и нелепости Вианы... И вот приезжает иностранец, дает одно-единственное интервью — и пожалуйста: газетчики сбились с ног, а вся интеллектуальная братия, интеллигенты всех мастей, направлений, убеждений, темпераментов рыщут в поисках книг Аршанжо, вынюхивают тех, кто знал никому не известного баиянца, — как же иначе: ведь Педро Аршанжо вошел в моду, тот, кто не знаком с его творчеством, кто не упоминает его работ, не может считаться ни современным, ни передовым человеком...

Статья Апио Коррейи «Педро Аршанжо, поэт этнографии», напечатанная три недели спустя, произвела настоящую сенсацию. Самое в ней любопытное — это блистательная версия диалога, состоявшегося в аэропорту, диалога между Левенсоном и эрудитом Коррейей, причем оба собеседника выказали глубокое знание работ Аршанжо. И совершенно естественно, что знания критика были обширнее и приобрел он их много раньше Левенсона, ведь речь шла о бразильце.

### 3

А на родине Аршанжо, в Баие, ставшей предметом и стимулом его исследований, источником его наблюдений, основой его трудов, пошла такая свистопляска, какой не было нигде.

Здесь имя ученого, которого столь высоко оценил Левенсон, знали все-таки лучше, чем в Рио и в Сан-Пауло. Стоит напомнить, что в Caн-Пауло журналисты с большим трудом отыскали одно-единственное, хотя и чрезвычайно важное упоминание об Аршанжо: то была статья Сержио Милье, написанная в 1929 году для сборника «Штат Сан-Пауло». Тепло отозвавшись о книге Аршанжо («Баиянская кухня — ее истоки и рецепты»), воздав ей щедрые хвалы, великий критик-модернист увидел в ее авторе «самого крупного и истинного лидера антропофагии — революционного и дискуссионного направления в науке, недавно созданного Освалдо де Андраде и Раулом Боппом»[[9]](#footnote-9). «Прекрасная книжка» и по своему содержанию, и по языку, которым она была написана, казалась ему «превосходным образцом настоящего очерка по антропофагии». В конце статьи Милье сожалел о том, что не читал предыдущих работ такого знающего автора, который намного обогнал антропофагов Сан-Пауло, хотя о них даже не слышал.

В Баие, по сообщениям газет, отыскались люди, лично знавшие Педро Аршанжо и общавшиеся с ним. Таковых, впрочем, нашлось немного, и в их рассказы мало кто поверил. Труды же Педро Аршанжо — четыре маленьких томика, описывающих жизнь народа Баии, выпущенные в свет с огромным трудом, мизерными тиражами отпечатанные на ручном типографском станке в мастерской его друга Лидио Корро на Ладейра-до-Табуан, достоинства которых привели в такой восторг американского ученого, — были так же неизвестны в Баие, как и во всей стране.

Если бы Аршанжо не рассылал экземпляры своих книг в ассоциации, университеты, национальные и иностранные библиотеки, никто никогда не заговорил бы о них, потому что Левенсон их бы не обнаружил. В Салвадоре об этих книгах знало только несколько этнографов и антропологов, да и то понаслышке.

А теперь спохватились не только журналисты, но и власти, и университет, и интеллектуалы, и Академия наук, и медицинский факультет, и поэты, и профессора, и студенты, и ученики театральных школ, и вся многочисленная фаланга антропологов и этнографов, и свора туристских агентов, и Центр по изучению фольклора, и прочие бездельники — все вдруг поняли, что среди нас жил великий человек, замечательный писатель, о котором мы словом не обмолвились, обрекая его на полную и безнадежную безвестность. Вот тогда и началась сумятица вокруг Аршанжо и его произведений. Сколько было истрачено чернил, изведено бумаги, израсходовано газетных полос, чтобы изучить и расхвалить, прочитать и разобрать, проанализировать и прокомментировать несправедливо забытые страницы. Нужно было нагнать упущенное, исправить ошибку, заставить забыть о многолетнем молчании.

И книги Аршанжо получили наконец признание, на которое имели бесспорное право, и среди статей разнообразных негодяев, использовавших удобный момент для собственной выгоды, стали появляться серьезные работы, достойные памяти того, кто писал, не заботясь ни о славе, ни о доходах. Некоторые свидетельства современников, людей, знавших Аршанжо лично, прозвучали взволнованно и искренне; обнаружился подлинный облик этого человека. Оказывается, Аршанжо не так уж далек от нас, как предполагали первоначально: он скончался в 1943 году, всего двадцать пять лет назад, в возрасте семидесяти пяти лет, при следующих примечательных обстоятельствах: глубокой ночью его труп был обнаружен в канаве. В карманах не нашли никаких документов и вообще ничего, кроме блокнота и огрызка карандаша. Впрочем, зачем были ему нужны документы? Он жил в бедном и грязном квартале старого города, и там все его знали и уважали.

## О смерти Педро Аршанжо Ожуобы и о его похоронах на кладбище Кинтас

### 1

Вверх по улице ковыляет старик, держась за стены убогих домишек. Любой встречный решил бы, особенно узнав старика, что тот пьян. Тьма стоит непроглядная, ни один фонарь не горит, ни одна полоска света не пробивается из-за ставен: война, немецкие субмарины шныряют у берегов Бразилии, топят мирные пароходы, и грузовые, и пассажирские...

Старик чувствует, как все острее становится боль в груди, и пытается прибавить шагу. Дойти бы домой, зажечь лампочку, записать в тетрадку обрывок разговора, меткое словцо, — память уже не та; раньше, бывало, без всяких записей годами держал в голове разговоры, лица, события во всех подробностях... Вот запишет про спор, тогда и отдохнет, а боль пройдет, как пришла, так и ушла, — не в первый раз, хотя так сильно, по правде говоря, никогда еще не схватывало. Ох, пожить бы еще немного, хоть несколько месяцев, окончить бы записи, разложить все по порядку и отдать рукопись этому милому пареньку-типографщику. Хоть несколько бы месяцев...

Старик ощупывает стенку, оглядывается вокруг — совсем плохо стало с глазами, а на очки денег нет, и на рюмку кашасы тоже нет. Он сгибается вдвое от боли, прижимается к стене. До дома недалеко, еще несколько кварталов пройти — и вот она, его комнатенка в заведении Эстер. Он придет, зажжет лампочку, запишет мелким почерком... Ох, только бы отпустило!.. Вдруг вспоминается ему, как умер кум его, Лидио Корро: уронил голову на картину, изображавшую очередное «чудо», и струйка крови потекла изо рта. Сколько дел переделали они вместе, сколько побегали вверх-вниз по крутым этим улочкам, сколько мулаток перецеловали, перещупали в подворотнях. Сколько лет прошло, как Лидио умер? Пятнадцать? Больше? Восемнадцать? Двадцать? Да, память стала никуда не годная, а вот слова кузнеца засели в голове, ничего из сказанного он не забыл. Старик хочет повторить фразу, прислоняется к стенке, нельзя это забыть, записать надо, записать... Еще два квартала, несколько сот метров... С трудом проборматывает он слова кузнеца — как он двинул, договорив, кулаком по столу, словно точку поставил, а черный кулачище — что твоя кувалда...

Старик ходил послушать радио, иностранные передачи — Би-би-си, центральное радио Москвы, «Голос Америки»: приятель его, турок Малуф, завел себе такой приемник, что весь мир ловит. Сегодня новости были хорошие: «арийцам», кажется, изрядно намяли бока. Весь мир кроет немцев, клянет немецких фашистов, говорит о немецких зверствах, а он называет их только арийцами. Ох, арийцы — убийцы евреев, негров, арабов. А он знавал и замечательных немцев — вот, скажем, сеу Гильерме Кнодлер... Был женат на негритянке, прижил с нею восьмерых детей... Пришли к нему однажды, стали говорить о чистоте расы, об арийской крови, а он расстегнул штаны и отвечает, что, мол, скорей даст себя оскопить, чем бросит свою негритянку...

Когда Малуф, чтобы отметить победы, поставил всем присутствующим по стаканчику, вышел спор: вот если Гитлер выиграет войну, сможет ли он, покончив со всеми остальными, перебить тех, кто не чистокровный белый? Судили, рядили — «сможет, не сможет», а кузнец сказал, как отрезал: «Даже Господь Бог, что нас создал, не может убить всех сразу, а забирает нас по одному, и чем больше народу он убивает, тем больше рождается. Так и будет во веки веков: люди будут рождаться, и рожать детей, и смешивать кровь, и никакой сукин сын ничего с этим не поделает!» — и трахнул кулаком по стойке, опрокинув стакан. Спасибо, турок Малуф, душа-человек, перед закрытием снова пустил бутылку вкруговую.

Старик ковыляет дальше, повторяя про себя слова кузнеца: «...будут рождаться, и рожать детей, и смешивать кровь, и чем больше рас смешается, тем лучше». Старик даже пробует улыбнуться, хотя боль, как тяжкий крест, давит на него, пригибает к земле. А улыбнулся он потому, что вспомнил внучку Розы: до чего же похожа на бабушку — и совсем другая... Старик вспоминает, какие голубые у нее глаза, какая смуглая кожа, какие шелковистые волосы, какая она стройная и статная. Много рас смешали свою кровь, вот и получилась совершенная красота. Ах, Роза, Роза, Роза де Ошала, роковая его любовь! Скольких любил он в своей жизни, сколько женщин у него было, а ни с кем Розу не сравнить!.. Как он страдал по ней — и не расскажешь! Каких только глупостей не творил, каких нелепостей не делал, хотел умереть, хотел убить...

Все бы на свете отдал он, чтобы еще хоть раз увидать внучку Розы — услышать смех Розы, увидеть гордую стать Розы — и голубые глаза. В кого же это у нее голубые глаза? Хотелось бы и друзей повидать, и сходить на террейро восславить святого, спеть и сплясать, съесть куриный шин-шин и рыбную мокеку, посидеть за столом с Эстер и ее девицами. Нет, не хочется умирать! Зачем умирать?! Незачем! Как же это сказал кузнец?.. Записать, записать надо было, чтоб не забыть, а он забыл... И книга — на середине, надо ж докончить, отобрать истории, происшествия, меткие слова... Надо еще рассказать про коварную иабу, что задумала наказать одного бабника, а тот влюбил ее в себя, и стала она в его руках послушной, как воск... Кто же знает об этом удивительном случае больше, чем он? Ах, Доротея! Ах, Тадеу!

А боль разрывает его тело, раздирает грудь надвое. Значит, не дойти ему до заведения Эстер, и пропали красивые, верные слова кузнеца, прощай, внучка Розы, не увижу я тебя.

Он падает на мостовую и медленно скатывается в канаву.

Тело его, укутанное одною лишь тьмою, долго лежало там, но потом проклюнулась заря и одела старика светом.

### 2

Сантейро, едва держась на ногах, указал на распростертое тело, засмеялся и сделал такое заявление:

— Нашего поля ягода! Только накачался сильней, чем мы трое, вместе взятые! С копыт долой! А переблевался небось!.. — И он снова хихикнул и покачнулся, словно хотел сделать какой-то цирковой пируэт.

Но майор Дамиан де Соуза — то ли выпил меньше, то ли со смертью общался больше: ведь был он ходатаем по делам, адвокатом без диплома, трупы видел каждый день и к моргу привык — усомнился, подошел поближе, увидел кровь, дотронулся носком ботинка до засаленного пиджака и сказал:

— Готов! Мертвей не бывает. А ну, берись!

«А вот интересно, сколько майор должен выжрать, чтобы опьянеть?» — спрашивает себя сантейро. Этот вопрос не дает покоя всем здешним пьяницам, униженным и сбитым с толку этой непостижимой, необъяснимой загадкой. До сих пор пока что никаких запасов спиртного не хватало, а Мане Лима считает, что майор запросто может опустошить весь мировой винный погреб и все равно будет как стеклышко.

Спотыкаясь и посмеиваясь, бредут сантейро и Мане Лима на помощь майору, и втроем переворачивают они труп. Но майор уже понял, кто перед ним, понял еще до того, как заглянул покойнику в лицо: пиджак, что ли, показался ему знакомым... И Мане Лима, потеряв сначала от изумления дар речи, приходит в себя и вопит:

— Это же Педро Аршанжо!

Но майор Дамиан де Соуза на ногах стоит твердо, и разве только мрачнеет его медное лицо. Он не ошибся: это Педро Аршанжо, и майор, у которого за плечами сорок девять с толком прожитых лет, вдруг снова чувствует себя сиротой, словно остался на свете один-одинешенек, без отца, без матери. Это Педро Аршанжо — вот несчастье! Почему же его было им суждено вытащить из канавы, а не кого-нибудь другого — лучше, конечно, незнакомого... Сколько сволочи ходит по свету, сколько дерьма живет-поживает, а старик Аршанжо умер, и как умер: ночью, посреди улицы, никому ничего не сказав... Что ж это такое?!

— Ай, беда, ай, беда! — Вся выпитая кашаса бросилась сантейро в ноги, и он, обессилев и онемев, садится вдруг на мостовую. Сил у него хватает для того лишь, чтобы поднять из лужи руку покойного, стиснуть ее в ладонях.

Раз в неделю, по средам — светит ли солнце или льет дождь, — непременно появлялся Аршанжо в его лавчонке, где продаются фигуры святых. Сначала отправлялись они выпить ледяного пива в баре Осмарио, потом — на кандомбле в «Белом доме». Неспешный разговор о всякой всячине, тихий разговор, а начинался он каждый раз с одного и того же:

— Ну, милый, расскажи, что слышно!

— Ничего не слышно, местре Педро, ничего нового.

— Так я тебе и поверил! Каждую минуту в мире что-нибудь да происходит: от одного засмеешься, от другого — заплачешь. Много дивного происходит в мире. Развяжи язык, дружище, язык человеку дан для разговоров.

Откуда взялся у него этот дар отмыкать уста людские? Почему открывали ему люди душу? Даже строгие и ревнивые жрицы — тетушка Сеньора, дона Менининья, матушка Маси — уж на что высоко себя ставили, но и у них не было секретов от старика: попросит — все расскажут. Впрочем, так и богами велено: «Да не будет дверей, закрытых от Ожуобы!» А теперь Ожуоба, око Шанго, валяется мертвый на мостовой.

Вот и кончилось наше с вами пиво, местре Аршанжо, не будет больше тех трех-четырех бутылок, что пили мы по средам. Одну неделю платил сантейро, другую — старик, хотя у него в последнее время гроша ломаного не было... Но зато как бывал он горд и счастлив, если в кармане у него бренчала медь, — с силой стучал он тогда по столу, подзывая официанта:

— Неси, милый, счет...

— Поберегите денежки, местре Аршанжо, позвольте, я заплачу.

— Чем же это я тебя обидел, что лишился твоего уважения, а? Когда у меня нет денег — платишь ты, а я сижу помалкиваю, потому что от слов денег не прибудет. Но сегодня я — богач! Отчего бы мне не уплатить? Не лишай меня ни долга моего, ни права! Не сбивай цену старому Аршанжо, оставь его таким, каков он есть!

Так он говорил обычно, и, смеясь, скалил белые зубы — до старости сохранил он все зубы, — и грыз тростник, и жевал вяленое мясо:

— Я ведь их не украл, а честно заработал!

В последние годы он прислуживал в борделе, но всегда был весел и всем доволен, — никто и не догадывался, в какой жестокой нужде он оказался, как трудно ему приходится, как тяжко он бедствует... В последнюю среду был он сам не свой от радости: в заведении Эстер судьба свела его с юным студентом, совладельцем типографии, и тот пожелал напечатать его последнюю книгу: студент прочитал предыдущие и заявлял во всеуслышание, что Аршанжо — гений, разоблачивший всю банду факультетских шарлатанов.

Когда наступал вечер и на небе появлялись звезды, а с моря дул ветерок, местре Аршанжо, сидя в трамвае, идущем на Рио-Вермельо-да-Байша, где на холме стоит «Белый дом», рассказывал о своей новой книге, и глаза его блестели плутовски и лукаво. Сколько всякой всячины услышал он и записал в свою тетрадку, сколько народной мудрости собрал для последней книги.

— Ты и представить себе не можешь, чего только не наслушался я в публичном доме! Скажу тебе, что для философа нет места лучше, чем рядом с гулящими девицами!

— Вы философ и есть, местре Аршанжо, самый доподлинный философ из всех, кого я встречал. Никто другой не сумел бы так философски относиться к жизни.

Каждую среду они обязательно шли на кандомбле в честь Шанго. Тетушка Маси клала к алтарю жертвы, стучали барабаны, пели жрицы — «посвященные». А потом все усаживались за большой стол, и приходил черед каруру и абара, акараже или жаркому из черепахи. Местре Аршанжо понимал толк в еде и выпивке. И всю ночь напролет текла веселая, согретая теплом дружбы сердечная беседа, и одна привилегия была у бедняков Баии — слушать местре Аршанжо.

Вот и кончилась книга, допита кашаса и не ездить нам больше на трамвае, когда все вокруг словно заново открывалось. Старик знал каждую пядь дороги, старик тысячу лет был знаком с деревьями и домами, с их прошлым и настоящим — чьи были они раньше и чьи теперь; старик помнил сына, и отца, и отца его отца, и отца его деда и мог сказать, кто и с кем смешал свою кровь. Он знал и негра, рабом вывезенного из Африки, и португальца, по королевскому указу высланного из столицы, и крещеного иудея, «нового христианина», сбежавшего от инквизиции. Никто больше ничего не узнает от него, не услышит ни смеха Аршанжо, ни шуток. Закрылись навеки глаза, которыми смотрел на мир бог Шанго, и путь Ожуобе лежит теперь на кладбище... И навзрыд, опустошенный и осиротевший, плачет сантейро.

А майор не пьян, а раз не пьян, то плакать не может: слезы легко льются у него в суде или на поминках, когда надо растрогать слушателей, расположить их к себе. Но теперь, когда настоящая боль гложет его изнутри, по его лицу об этом не скажешь.

Мане Лима оповестил весь свет о смерти старика, став посреди Пелоуриньо — нет для глашатая места лучше, — но в глухой предрассветный час только огромные мыши и тощий щенок услыхали его.

Майор отрывает взгляд от страшной картины и спешит прочь, к заведению Эстер, и плечи его гнутся под тяжким грузом черной вести. Эстер даст ему выпить, ему так это сейчас нужно!

### 3

И внезапно ожил Табуан. Со всех сторон — с Ларго-да-Се, с Байша-дос-Сапатейрос, с Кармо — стали появляться торопливые, взволнованные мужчины и женщины. Но встревожило их не известие о смерти Педро Аршанжо, ученого и автора книг о смешении рас, хоть, может быть, цены нет этим книгам, — спешили они, прослышав о том, что скончался Ожуоба, око Шанго, отец здешнего народа. Весть о смерти его передавалась из уст в уста, из дома в дом, разносилась по улицам и переулкам, взлетала по лестницам, спускалась по тупикам и в час, когда пошли первые трамваи и автобусы, достигла Ларго-да-Се.

Плакали и вопили женщины, которых настигла она во сне или в объятиях поздних клиентов. Труженики, живущие по расписанию, и беззаботные бродяги, не замечающие времени, пьяницы и нищие, обитатели подвалов и грязных чердаков, битком забитых бедным людом, бродячие торговцы-арабы, старики и молодежь, члены секты и продавцы всякой всячины с Террейро Иисуса, ломовик со своей телегой и Эстер в кимоно на голое тело — любуйся кто хочет. Никто, однако, не использовал такую возможность, потому что она рвала на себе волосы, и била себя в грудь, и голосила:

— Aй, Аршанжо, отчего ж ты не сказал мне, что болен?! Откуда же мне было знать?! Что же нам теперь делать без тебя, без Ожуобы?! Твоими глазами мы смотрели, твоими устами говорили, твоей головой думали! Ты был нашей храбростью, нашим разумением! Ты знал про вчера и про завтра! Кто тебя заменит?! Ай, Аршанжо!

В самом деле — кто? В этот час ужаса увидали люди смерть во всей ее наготе и нищете, и нечем им было утешиться. Лежал в канаве мертвый Педро Аршанжо Ожуоба, и он еще не успел стать воспоминанием, а просто был покойником, мертвецом — и все.

Распахнулись двери и окна, пришел из церкви пономарь с зажженной свечой. Плача, обнялись они с Эстер. Вокруг собралась толпа, а рядом с телом стал солдат военной полиции; был он при исполнении служебных обязанностей и вооружен. Эстер присела на мостовую возле сантейро, положила голову Аршанжо себе на колени, отерла краешком кимоно кровь с его губ. Майор, стараясь не смотреть на ее голые груди, — неподходящее для этого было время — интересно, что бы ты, Аршанжо, сказал насчет неподходящего времени, ты, который всегда твердил, что «всякое время хорошо для утех плоти»? — сказал ей:

— Эстер, давай перенесем его к тебе.

— Ко мне? — Эстер перестала рыдать и взглянула на майора, словно впервые видела его. — Совсем спятил? Ты что, не понимаешь, что это невозможно? Как же мы Ожуобу станем выносить из борделя? Ожуобу! Ведь это не проститутка, не мышиный жеребчик какой-нибудь!

— Да не в выносе дело! Переодеть-то его надо? Нельзя хоронить человека в таких грязных штанах, в таком изгвазданном пиджачишке!

— И без галстука! — вставила Розалия, самая старая из девиц Эстер: в прежние времена Аршанжо крутил с ней любовь. — Он, бывало, никогда не приходил на праздник без галстука...

— А другой одежды у него нет.

— Это ничего! Я дам свой синий кашемировый костюм! Я его сшил себе на свадьбу, он совсем еще как новый! — закричал Жоан дос Празерес, столяр-искусник, живший поблизости, и отправился за костюмом.

— А потом куда мы его перенесем? — спросила Розалия.

— Ох, да не спрашивай ты меня ни о чем, бога ради! Не могу я сейчас ничего решать! Спроси майора! А меня оставьте! Дайте мне побыть со стариком! — рявкнула Эстер. Голова Аршанжо лежала на ее теплой груди.

Майор пребывал в растерянности. И правда, куда его потом? А-а, чего там голову ломать, прежде всего надо унести Аршанжо с середины улицы, а дальше видно будет... Тут пономарь церкви Розарио-дос-Претос, старый приятель и неизменный собутыльник Аршанжо, вспомнил, что усопший был достойным членом Братства страстей господних, и, значит, ему полагается бдение в храме, отпевание, заупокойная месса на седьмой день и вечный покой в земле кладбища Кинтас.

— Пошли, если так! — приказал майор.

Хотели было приподнять тело Аршанжо, но внезапно вмешался солдат: к трупу не прикасаться, пока не прибудет полиция и врач. Солдатик был молоденький, совсем еще мальчик; на него напялили мундир, нацепили оружие, накачали приказами, как касторкой, — вот теперь он и власть, и сила, дерьмо такое!

— Не трогать труп!

Майор оценил солдата и ситуацию. Новобранец, деревенщина, помешан на дисциплине, с таким трудно сладить. Но майор решил попробовать:

— Ты, парень, здешний? Или из сертана? Ты знаешь, кто это лежит, а? Не знаешь? Так я тебе скажу...

— Не знаю и знать не хочу. До прихода полиции труп не трогать.

Тут майор взбеленился. Не бывать тому, чтоб Педро Аршанжо валялся на мостовой, словно преступник какой, чтоб нельзя было устроить бдение над его телом!

— Тронем, и сию же минуту!

Не за красивые глаза прозвали майора Дамиана де Соузу народным адвокатом — немало было для того серьезных оснований. Всем известны его заслуги. А еще раньше присвоили ему чин майора, хоть и не было у него ни погон, ни батальона, ни мундира, ни командира, не говоря уж о подчиненных... Славный получился майор... И вот он взобрался на ступеньку и, дрогнув голосом, с негодованием начал:

— Неужели же ты, народ баиянский, допустишь, чтоб тело Педро Аршанжо, тело нашего Ожуобы, осталось лежать на мостовой, в водосточной канаве, в грязи, которую словно бы не замечает префект?! Неужели лежать ему здесь, пока не придет полицейский врач?! Доколе же? До полудня? До вечера? О ты, благородный народ Баии, ты, что вышвырнул вон голландцев и наголову разбил негодяев лузитан, неужели допустишь ты, чтоб тело отца нашего, Ожуобы, сгнило здесь, на улице, среди нечистот и отбросов?! О, славные баиянцы!

Славные баиянцы — человек, наверно, тридцать, не считая тех, что подходили с обеих сторон Ладейра-до-Табуан, — взревели. Взметнулись кулаки. Женщины, голося, двинулись на отважного солдата. Момент был напряженный и опасный: солдатик, как и предполагал майор, собирался стоять насмерть. Зашоренный и тупой, он был непоколебим, во-первых, по молодости лет, а во-вторых, оттого, что не мог допустить поругания власти. Он обнажил саблю: «Убью, кто сунется!» Соваться пошла Эстер.

Но тут раздалась мирная трель свистка — то ночной сторож Эвералдо Потаскун возвращался домой, исполнив свой долг и выпив пару рюмок: что за столпотворение в такую рань? Он увидал солдата с саблей в руке и расхристанную Эстер. «Девки, должно быть, подрались», — подумал он, но Эстер всегда пользовалась его благосклонностью.

— Смирно! — гаркнул он.

Итак, нашла коса на камень, сошлись два представителя власти: ночной сторож Эвералдо Потаскун со своим свистком, который за километр предупреждает грабителя об опасности, ночной сторож — последний человек в мире, носящий мундир, — вооруженный хитростью, изворотливостью и смекалкой, и солдат военной полиции, самый настоящий солдат: у него и сабля, и револьвер, и уставы; он жесток и груб.

Тут Эвералдо заметил тело Аршанжо:

— А он что тут делает? Надрался, что ли?

— Да нет, не надрался...

Майор стал объяснять ситуацию: они обнаружили мертвого местре, а эта дубина не разрешает перенести покойника в дом Эстер. Эвералдо по прозвищу Потаскун, как человек служивый, мигом решил проблему.

— Солдат, — сказал он, — ты отвали отсюда поскорей! Голова у тебя на плечах есть? Тебе майор приказывает, а ты не подчиняешься!

— Какой майор! Кто тут майор?

— Вот он — перед тобой! Майор Дамиан де Соуза! Неужто не слыхал про него?

Кто ж не слыхал про майора Дамиана де Соузу?! Даже юный новобранец ежедневно слышал это имя в казарме.

— Так это майор? Чего ж вы сразу не сказали?!

Солдат разом потерял свою твердокаменность — единственное и убогое оружие, стал благоразумен, первым кинулся выполнять приказы майора. Тело Аршанжо положили на телегу, и все двинулись к дому Эстер.

Местре Педро Аршанжо был доволен своей жизнью, теперь он был бы доволен и своей смертью. Вся эта похоронная процессия — покойник на открытой телеге, запряженной осликом с бубенцами на шее, толпа пьяниц, полуночников, проституток, приятелей, возглавляемая ночным сторожем Эвералдо, который пускал трели своим свистком, и замыкаемая солдатом, который шел церемониальным маршем, — все это короткое путешествие казалось собственной его выдумкой, историей, записанной в его тетрадке, рассказанной для увеселения гостей, что собрались за пиршественным столом в среду, в день Шанго.

### 4

Деньги на похороны собрали главным образом гулящие девицы — деньги на гроб, автобус, свечи и цветы.

Розалия, в качестве бывшей возлюбленной усопшего, оделась в траур, набросила черную шаль на негустую, перекисью вытравленную гривку и отправилась по Пелоуриньо собирать доброхотные даяния, и никто ей не отказал. Никто — даже известный скряга Маркес, который в жизни никого не ссудил деньгами на рюмочку кашасы, и тот внес свою лепту и сочувственно отозвался о покойном.

Но делились с Розалией не только деньгами: везде выслушивала она воспоминания, истории, случаи, присловья — всюду оставил Педро Аршанжо память о себе, след своего присутствия. Маленькая, рахитичная Кики — ей едва исполнилось пятнадцать лет — лакомый кусочек, приберегаемый для почтенных завсегдатаев борделя Деде, — тараща огромные глаза, заливаясь слезами, принесла куклу, что подарил ей когда-то Аршанжо.

А сама Деде, морщинистая сводня, знала покойного всю жизнь, и всю жизнь был он волен как птица и чуть-чуть полоумный. Еще в девицах была она любимой партнершей Аршанжо на новогодних праздниках, на всех новенах и трезенах[[10]](#footnote-10), на всех репетициях карнавальных групп, на карнавалах... Всегда оставался он сорвиголовой... Кто бы мог с ним сладить?.. Много, много девиц он перепортил, одних только пастушек на ежегодном празднике богоявления сколько наберется... Деде, вспоминая, и смеялась, и плакала... «Я тогда была молоденькая, хорошенькая, а уж какой он был шалопай!..»

— Так это он был у тебя первым?

Вопрос остался без ответа. Деде ни слова не прибавила к сказанному, и Розалия в сомнении двинулась дальше. Ей ведь тоже есть что вспомнить, но она не плачет, не рыдает — идет собирать пожертвования...

— Даю от чистого сердца. Было б больше — дал бы больше. — И Роке вытряхнул из кармана последние медяки.

В мастерской все пятеро внесли свой вклад, а Роке пояснил:

— Лет пятнадцать назад, что ли, это случилось. Не очень давно... Погоди, я вспомню... Точно, в тридцать четвертом, девять лет назад. Стачка транспортников, разве забудешь?! Сначала забастовали трамвайщики, так что этому чертову старику вовсе не из-за чего было в нее соваться...

— Я и не знала, что он работал в транспортной.

— Недолго. Он разносил счета за свет. Место получил с большим трудом, много было хлопот. Он очень бедствовал тогда...

— Он всегда бедствовал.

— Ну вот, он тоже ввязался в забастовку, еле-еле отвертелся от тюрьмы, но со службы его тут же выперли... Но с тех пор зато никогда не брали с него плату за проезд в трамвае... Золотой был старик.

В школе капоэйры, рядом с церковью, сидел на скамейке местре Будиан, худой — кожа да кости, сидел в полном одиночестве, глядел прямо перед собой, прислушиваясь к звукам. На восемьдесят третьем году жизни разбил его паралич, словно мало ему было слепоты, но еще и сейчас, когда зал наполнялся учениками, брал он беримбау. Розалия сказала, зачем пришла.

— Я все знаю. Я уже послал жену отнести немножко денег. Когда она вернется, сам схожу в церковь, посмотрю на Педро.

— Дядюшка, не надо бы вам...

— Замолчи. Как я могу не пойти! Я намного старше его, я учил его искусству капоэйры, но всем, что знаю, обязан Педро. Очень серьезный был человек.

— Серьезный? Да большего ветрогона свет не видывал!

— Я говорю о том, что он был прямодушен и честен. Он не прятал глаз.

Местре Будиан, для которого мир погружен во мрак, местре Будиан, которому отказали ноги, видит рядом с собой юного Аршанжо — всегда с книгами, он не расставался с ними, у него не было учителя, он сам себя обучил. «И не нужен ему был никакой учитель...»

Жена местре Будиана, крепкая пятидесятилетняя бабенка, поднимается по ступенькам, и голос ее наполняет комнату:

— Такой красивенький лежит, во всем новом, а цветов, цветов сколько!.. Много народу собралось. В три начнется.

— Ты отдала деньги?

— Прямо в руки сантейро Мигелу, он там распоряжается.

Так ходила Розалия из дома в дом, из бара в бар, из лавки в лавку. Она пересекла Портас-до-Кармо, спустилась по Табуану. Там, где раньше была мастерская Лидио Корро, а теперь торгуют разной галантереей, она замедлила шаг.

Это случилось лет двадцать назад, или двадцать пять, или тридцать... Какое это теперь имеет значение? Не все ли равно? И Розалия была молоденькой и хорошенькой — уже не девчонка: расцветшая, многим желанная женщина, женщина в самом соку... А Аршанжо тогда уже было под пятьдесят. Как она его любила, какая была сумасшедшая, отчаянная страсть!

Много времени проводили они в мастерской Лидио Корро. Аршанжо, Лидио и юный их помощник возились у наборной кассы, то и дело пропуская по глоточку, чтобы работа спорилась. Розалия разжигала плиту, готовила всякие вкусные вещи, а вечером приходили друзья, приносили кашасу...

Когда-то вон на том углу стоял дом — теперь его уже нет... Сверху, из окна мансарды, видели они, как над гаванью, над кораблями, над рыбачьими лодками занимается заря. В разбитые стекла залетали капли дождя, задувал морской ветер, заглядывала желтая луна, светили звезды. Приходило утро, замирали стоны любви... Как страстен, как нежен был Педро Аршанжо!..

Нет больше ни этого дома, ни мансарды, нет больше окна, что смотрело на море. Розалия идет дальше, но теперь ей почему-то не грустно, не одиноко. Двое мужчин торопливо проходят мимо.

— Я знавал его сына, был он у меня подручным в доке, а потом нанялся матросом на какой-то корабль.

— Так ведь он никогда не был женат?!

— Ну и что? Он наплодил больше двадцати детей, вот уж был жеребец, каких мало...

Оба весело смеются — да, старик был настоящий бес... Розалия, а кто же это смеется рядом, смеется еще веселее и звонче? Неужели только двадцать? Не бойся, приятель, не жмись: у Педро Аршанжо, совратителя девиц, соблазнителя замужних, патриарха проституток, хватило бы силы весь мир заселить своими детьми. Так-то, милый...

### 5

На площади, где высился когда-то позорный столб и стояли колодки, голубеет церковь — церковь рабов-негров. Солнце ли играет на ее каменных плитах или блестят пятна крови? Много крови пролилось на эти камни, много стонов поднялось к этому небу, много молений и проклятий эхом отдалось в притворах церкви Розарио-дос-Претос.

Давно уже не собиралась такая толпа на Пелоуриньо: люди заполнили церковь, и церковный двор, и паперть, и прилегающие улицы. Хватит ли двух автобусов? Достать их было не просто — бензин нормирован, — и майору пришлось побегать, пустить в ход все знакомства. Такая же, если не больше, толпа стоит на площади Кинтас, у ворот кладбища. Многие входят в церковь, смотрят на спокойное лицо местре Аршанжо, некоторые целуют его руку, потом садятся в трамвай на Байша-дос-Сапатейрос, доезжают до Кинтас и ждут траурную процессию. Черное полотнище протянуто через всю площадь, где во время карнавалов собирается афоше.

На паперти майор курит дешевую сигару, коротко здоровается со знакомыми — сегодня не до разговоров, не до праздной болтовни. А в церкви, обмытый, прибранный, приличный, лежит Педро Аршанжо и ждет погребения. Вот таким, нарядным и франтоватым, ходил он на кандомбле, праздники, именины, бдения, похороны. Только в самом конце жизни стал местре Аршанжо небрежен в одежде — оттого, что впал в крайнюю нищету, но веселости своей не утратил до последнего дня.

Когда ему было лет тридцать, каждое утро являлся он на Золотой Рынок к своей куме Теренсии, матери негритенка Дамиана, пил там кофе, ел кускус из размоченной в воде маниоки и бейжу. Ел и пил задаром — кто бы взял с него деньги? Издавна привык Педро Аршанжо не оплачивать некоторых расходов, а лучше сказать — привык расплачиваться золотом своего смеха, своей беседы, своей науки, своего веселья. Совсем не из жадности — он был щедр по натуре, — просто с него денег не брали, а чаще всего их у него и не было; не залеживались монетки в карманах Педро: «Деньги существуют, милый, чтоб их тратить!»

Стоило только услышать мальчишке Дамиану звонкий смех гостя, как забывал он все на свете — даже самую важную драку, — прибегал домой, садился на пол и начинал ждать рассказов. Аршанжо знал всю подноготную богов-ориша и других героев — Геракла и Персея, Ахилла и Улисса. Дамиан, шкода и озорник, гроза соседей, вожак всех окрестных сорванцов, отпетый хулиган и проказник, никогда бы не научился читать, если бы не Аршанжо. Ни одна школа не могла с ним справиться, никакие розги-линейки не помогали, три раза убегал он из колоний. А вот книги, что давал ему Аршанжо — «Мифы Древней Греции», «Ветхий завет», «Три мушкетера», «Путешествия Гулливера», «Дон Кихот», — книги, и добрый смех, и ласковый, братский голос его («...ну-ка, присядь на минутку, давай-ка почитаем...») приохотили лоботряса Дамиана к чтению, научили его грамоте. Аршанжо знал на память много-много стихов, а читал он прямо как настоящий артист. Он читал и Кастро Алвеса, и Гонсалвеса Диаса[[11]](#footnote-11): «Не плачь, мой мальчик: жизнь — суровая борьба; жизнь — непрестанное сраженье», и, раскрыв рты, слушали его, как зачарованные, мальчишки...

Когда случались у Теренсии нехорошие минуты, когда начинала она вспоминать о муже, что ушел к другой и сгинул где-то в мире, кум Аршанжо умел развеселить ее, умел вызвать на красивых ее губах улыбку, читал ей стихи о любви: «...твои уста — как пурпурная птичка, твои уста улыбкою щебечут...», и кума Теренсия, жившая на свете только для сына, для Дамиана, задумчиво глядела на Педро — какой дар у человека: улыбнулся — и прошла печаль... В лавке Миро быстрая Ивона забывала про свои пакеты, заслушавшись стихами: «Однажды ночью — помню я — спала ты в гамаке... Расплетена коса твоя, и грудь обнажена». Задумчивы становились глаза Ивоны.

Там же, на Золотом Рынке, однажды утром, в непогоду, когда небо почернело и разгулялся ветер, произошла встреча Педро Аршанжо со шведкой Кирси. Снова перед майором предстает чудесное видение: девушка, избитая дождем, в платьице, прилипшем к телу, стоит на пороге в изумлении, замерла от любопытства... Никогда еще не видал майор таких светлых, прямых волос, такой белой кожи и таких синих, бездонно-синих, синих, как церковь Розарио-дос-Претос, глаз.

А в церкви гудят голоса, взад-вперед снуют люди. Одни входят, другие выходят, но у гроба все время толпится народ. Конечно, похороны не по первому разряду, а лежит Педро Аршанжо в простом гробу — денег собрали не густо, — но стесняться нечего: все как полагается: и позументы, и лиловый покров, и металлические петли, и укрыт покойник алым саваном братства, к которому принадлежал при жизни.

Вокруг сидят самые почитаемые жрицы — все пришли, все без исключения. А чуть раньше, когда Аршанжо лежал в доме Эстер, в задней комнатке со скошенным потолком, матушка Пулкерия выполнила первые обряды на ашеше[[12]](#footnote-12) Ожуобы. Церковь и площадь заполнены народом из всех общин: пришли со всех террейро и почтенные оганы, и иаво[[13]](#footnote-13). Лиловые цветы, желтые цветы, синие цветы, а в смуглой руке Педро Аршанжо — алая роза. Так он хотел, так он просил. Пономарь и сантейро пошли за майором: без пяти три.

Катафалк и перегруженные автобусы уезжают на кладбище Кинтас — там, в земле своей католической общины, обретет вечный покой Ожуоба, око Шанго. За автобусами едет автомобиль, а в нем — профессор Азеведо и поэт Симоэнс; эти двое пришли сюда потому, что покойный написал четыре книги, отстаивал свои теории, спорил с виднейшими учеными, отрицал официальную псевдонауку, боролся с ней, пытался ее уничтожить. Все же остальные собрались проводить в последний путь соседа, старого дядюшку, человека мудрого, опытного и сведущего, всегда готового дать добрый совет, славного говоруна и признанного пьяницу, неутомимого бабника, отца бесчисленных детей, любимца богов-ориша, поверенного всех тайн, всеми почитаемого старца, почти чародея — Ожуобу.

Кладбище расположено на холме, но, вопреки обыкновению, катафалк, автобусы и машина не доезжают до его ворот. Это не простые похороны: гроб снимают у подножия холма, там же выходят и сопровождающие.

Толпа, собравшаяся в церкви, смешивается с толпой у кладбища. Море людей! Так хоронили еще только матушку Анинью — четыре года назад. Ни министр, ни миллионер, ни генерал, ни епископ не могут рассчитывать, что попрощаться с ними придет столько народу.

Оганы, согнутые бременем прожитых лет чуть ли не до земли, старики, утомленные долгим переездом, майор и сантейро Мигел трижды поднимают гроб над толпой и трижды опускают его наземь — так положено по ритуальному обряду.

Жрец Незиньо начинает похоронное песнопение на языке йуруба:

Ашеше, ашеше

Омороде!

Хор вторит, голоса людей звучат громче, сливаются в прощальной песне: «Ашеше, ашеше!..»

Шествие поднимается по холму: три шага вперед, два шага назад — танцующие шаги под звуки священного гимна. Гроб плывет на плечах старцев.

Ику лонан та еве ше

Ику лонан та еве ше

Ику лонан.

Где-то на полпути профессор Азеведо берется за ручку гроба и легко попадает в такт, потому что и в его жилах течет смешанная кровь. Во всех окнах — люди, народ бежит со всех сторон посмотреть на необыкновенное зрелище. Такие похороны случаются только в Баие, и то не часто.

И Педро Аршанжо, чистый, нарядный, в новом костюме, при галстуке, плывет над толпой, укрытый красным саваном, и танцует свой последний танец. Мощный хор голосов проникает в дома, разрывает небо над городом, останавливает торговлю, завораживает прохожих: улица во власти танца — три шага вперед, два шага назад, — танцуют покойник, те, кто несет его, и весь народ.

Ара ара ла инсу

Ику о ику о

А инсу берере.

И вот ворота кладбища. Оганы, повернувшись, как велит обычай, спиной к воротам, вносят гроб. У могилы среди цветов, среди рыданий замолкают барабаны-атабаке, затихает песня, замирает танец. «Кроме нас, этого никто не увидит», — говорит поэт Симоэнс профессору Азеведо, который взволнованно спрашивает его, знает ли хоть кто-нибудь о книгах Аршанжо? Не надо ли упомянуть о них в надгробной речи? Но профессор так и не решается. Все одеты в белое, в цвет траура...

Секунду гроб стоит на месте: пусть побудет Педро Аршанжо среди своих перед тем, как навеки лечь в могилу. В печальной толпе кое-где слышатся рыдания.

А когда наступает полная тишина и могильщики берутся за ручки гроба, чей-то одинокий, дрожащий, скорбный голос взлетает над толпой, надрывая душу, вонзаясь в сердце. Это местре Будиан, весь в белом — в трауре, — местре Будиан, поддерживаемый женой и Мане Лима, местре Будиан, слепой и обезножевший, нежно и горестно прощается с покойным. Он стоит над могилой... Говорит отец с сыном, говорит брат с братом... Прощай, брат, прощай навсегда, я любил тебя, ику о ику о дабо ра жо ма бойа...

«А когда я умру, дайте мне в руку красную розу...» Огненную розу, медную розу, розу танца, розу песни, Розу де Ошала, ашеше.

## О том, как наш поэт-исследователь стал любовником-рогоносцем, и о его поэзии

В связи с тем, что великому Левенсону для приведения в порядок своих записей в ту же ночь потребовалась помощь Аны Мерседес, а мое присутствие успешному завершению этой работы способствовать не могло и, следовательно, не требовалось, я простился с американцем в холле гостиницы. Он горячо пожелал мне удачи, но в словах Джеймса Д. я почувствовал некоторый цинизм.

Отозвав в сторону его новую сотрудницу, я попросил ее проявить осмотрительность и твердость в том случае, если гринго окажется заурядным соблазнителем и захочет превратить ночные научные бдения в нечто непотребное, но уязвленная сотрудница разом покончила с моими тревогами и сомнениями, задав мне вопрос, таивший в себе ужасную угрозу. Она спросила меня, верю ли я в ее порядочность и честность, а если не верю, то нам лучше... Я, дурак этакий, не дал ей договорить, поспешно заверил ее в своем беспредельном доверии, был прощен, получил мимолетный поцелуй и загадочную улыбку.

Затем я отправился искать какое-нибудь кафе или бар. Цель моя была такова: как можно скорее надраться и утопить в кашасе ревность, которую не смогли победить ни доллары Левенсона, ни доводы Аны Мерседес.

Да, я ревновал ее, ревновал ежесекундно, днем и ночью — особенно если ночью Ана Мерседес была не со мной, — я умирал и воскресал, я устраивал драки, я бил и бывал бит, я испытывал нечеловеческие муки, я погружался в пучину унижения и тайной злобы, я стал посмешищем в литературных и окололитературных кругах, я превратился в жалкое ничтожество — и все из-за нее, из-за Аны Мерседес... Впрочем, не зря, не зря! То ли еще можно было вытворить и вытерпеть ради такой женщины?!

Ана Мерседес, муза и оплот новейшей волны отечественной поэзии, принимала участие в движении «Постичь коммуникацию через изоляцию!». Сказано гениально! Отрицать своевременность данного лозунга могут только абсолютные тупицы или завистники. Должен сказать, что в рядах этой армии я занимал далеко не последнее место: имя мое гремело. «Фаусто Пена, автор „Отрыжки“, — признанный лидер нашей современной поэзии», — писал обо мне в «Жорнал да Сидаде» Зино Бател, автор поэмы «Да здравствует какашка!» — тоже признанный и тоже лидер того же поэтического направления.

Она училась на журналистском отделении факультета, где я двумя годами раньше получил диплом социолога, и за ничтожное жалованье озаряла блеском своего ума редакцию газеты «Диарио да Манья» (в качестве корреспондентки этого органа она познакомилась с Левенсоном и начала с ним работать) и бескорыстно даровала автору этих строк, бородатому и безработному поэту, право наслаждаться прелестью своего божественного тела. Боже! Где найти мне слова? Как описать мне эту из золота — из чистого золота с головы до ног! — отлитую мулатку, это совершенное творение создателя, это пахнущее розмарином тело, этот хрустальный смех, это сочетание вызова и жеманства — и эту способность к нескончаемой лжи?!

Когда она проходила — проплывала, словно кораблик, — по бурному морю «Диарио да Манья», по редакциям, по издательству, по типографии, у всех — от владельцев газеты до курьеров, — у всех этих мерзавцев возникало при виде ее только одно желание, и не было человека, который не мечтал бы взять этот кораблик на абордаж где-нибудь на мягком диване в кабинете шефа под портретом славного основателя газеты, или на шатком столе в редакции, или на древнем ротационном станке, или на кипах бумаги, или на заплеванном, залитом машинным маслом полу, — и нет сомнения, что, если бы тело Аны Мерседес простерлось на нем, мерзкий пол мгновенно обратился бы в усыпанное розами ложе и благодать снизошла бы на него!

Я не верю, что она уступила домогательствам кого-нибудь из этих каналий. А вот раньше... Ее видели вместе с доктором Брито, главным редактором, — в это самое время решалось, примут ее в штат или нет, — в подозрительной близости от роскошного дома свиданий, вверенного попечениям некой мадам Эльзы. Ана Мерседес клялась мне, что чиста как голубка: да, она встречалась с патроном, но лишь для того, чтобы доказать ему свою пригодность к работе репортера... Все было не совсем так, но мне не хочется углубляться в эту историю, да и к рассказу моему отношения она не имеет.

Я принял эти россказни за чистую монету, я поверил им, как верил впоследствии и всем прочим басням, в том числе и последней — об интересах науки, — сообщенной мне в ту ночь, когда я взял на себя обязательство отыскать следы Педро Аршанжо в глухих переулках и тупиках Баии; яростная, лютая, убийственная и способная довести до самоубийства ревность мгновенно растворялась в любовных клятвах, стоило только этой змее, сбросив с себя свою мини-одежду, выставить напоказ все, что под ней скрывалось, вытянуть руки и ноги, продемонстрировать мне весь этот медный, позолоченный, золотой, пахнущий розмарином ландшафт... О, искусная развратница! «У тебя учились проститутки и овладевали мастерством» — так писал я в одном из многочисленных стихотворений, посвященных ей, многочисленных и прекрасных, — простите за нескромность.

Литература была первым связующим звеном между нами: Ана Мерседес восхищалась моими грубыми стихами задолго до того, как отдалась мне, бородатому барду, заросшему варвару в джинсах «Leo». Еще раз простите за нескромность — бородатым варваром называли меня поэтессочки.

Я никогда не забуду ту минуту, когда боязливо и робко протянула она мне студенческую тетрадку со своими первыми опусами. Красота Аны Мерседес могла взволновать кого угодно; на губах у нее дрожала умоляющая, жалкая улыбка... В первый и последний раз видел я эту женщину у моих ног, в первый и последний раз она о чем-то меня умоляла!

Дело в том, что вышеупомянутый Зино Бател получил в свое полное распоряжение четверть полосы воскресного приложения к «Диарио да Манья» и предложил мне сотрудничество: сам он продался на восемь часов в день в рабство какому-то банку, ночами сидел в редакции, и для отбора стихов времени у него не оставалось. Труд мне предстоял нелегкий — к тому же за него не платили, — но престижность и ответственность поручения до некоторой степени компенсировали тяготы. Я обосновался в маленьком полутемном баре одной картинной галереи и вскоре был окружен плотным кольцом молодых людей обоего пола — никогда раньше я не предполагал, что у нас такое количество таких молодых и таких бездарных поэтов: один другого вдохновенней, один другого плодовитей, и все как один мечтали прорваться на нашу страницу, урвать себе хоть дюйм колонки. Вдохновения было много, а таланта мало... Претенденты угощали меня лимонным коктейлем, а их более сообразительные собратья предлагали виски. Пользуюсь случаем еще раз заявить, что ни качество, ни количество алкоголя никак не влияли на беспристрастие моих оценок, на объективность моего выбора. Даже неистовым поэтессам, ненароком раздвигавшим передо мной колени, не удалось победить мою прославленную взыскательность — ну, разве что чуть-чуть.

Ана Мерседес в два счета покончила с моим бескорыстием и твердостью. Едва скользнув глазами по строчкам, я понял: она рождена не для поэзии. Боже, до чего это было бездарно! Но какие коленки, какие бедра — само совершенство... И испуганные глаза... «Да у вас талант, вот что я вам скажу!» Она благодарно улыбнулась, а я продолжал: «Большой, большой талант!..»

— Вы опубликуете это? — спросила она жадно. Приоткрыла ротик, провела кончиком языка по губам... О господи!!

— Может быть, может быть... Зависит от вас... — многозначительно и вкрадчиво сказал я.

Призна́юсь, что в ту минуту я еще надеялся выбраться из этой переделки с честью и без урона для себя: с поэтессой переспать, бреда ее не печатать! Какое заблуждение! В следующее же воскресенье ее стихи заняли всю полосу «Поэзия молодых», в окружении таких вот, например, высказываний: «Стихи Аны Мерседес — величайшее поэтическое откровение нашего времени», а я ничего, кроме поцелуев, легкого тисканья и посулов, не добился. Это так же верно, как и то, что три стихотворения, напечатанные за ее подписью, написаны были мною. В одном из них ей принадлежало единственное слово — «субилаторий» — слово очень красивое и мне до тех пор неизвестное, означающее задний проход. Да! Творчество Аны Мерседес было делом моих рук — сначала моих, а потом, когда эта неблагодарная, устав от сцен ревности, покинула мое ложе и вступила в новую фазу своего поэтического развития, рук некоего Илдазио Тавейры. Некоторое время спустя она увлеклась народной музыкой, ушла от Тавейры и стала сотрудничать с композитором Тониньо Линсом. Сотрудничество это, я полагаю, протекало главным образом в постели, а не за роялем.

К моменту приезда Левенсона в Баию мой роман с Аной Мерседес достиг своей кульминационной точки. Роковая страсть, вечная любовь и прочая и прочая. В течение многих, многих месяцев я даже не смотрел на женщин, да и незачем было смотреть: сил у меня на них уже не оставалось... Если Ана Мерседес и нарушала свои клятвы, мне ни разу не удалось уличить ее во лжи, — может быть, оттого, что не больно-то и хотелось. Чего бы я добился? Окончательного разрыва? Нет, нет, только не это! Или того, что в горькие минуты я бы не смог утешаться благотворным сомнением, даже самой маленькой, ничтожной его частицей?..

В ту ночь, мучаясь от любовного томления, страдая от ревнивого подозрения, корчась на кресте моего отречения, получив доллары в вознаграждение, я отправился спасаться и напиваться в никому не ведомый, никем не посещаемый кабак под вывеской «Ангельское пи-пи».

Не успел я выпить первую порцию неразбавленной кашасы, как увидел неподалеку интимно беседующего с неописуемо мерзкой бабой, не то проституткой, не то старой девой, гнусного вида мегерой... кого бы вы думали? Академика Луиса Батисту, столпа морали и семьи, ярого ханжу, паладина и охранителя добропорядочности. Он задрожал, заметив меня, но деваться было некуда: пришлось подойти, любезно поздороваться со мной и пролепетать какие-то объяснения — столь же туманные и путаные, как и те, которыми угощала меня Ана Мерседес.

От профессора Батисты — от нудных его лекций, от высокопарных речей, от непрошибаемой реакционности, от дурного запаха изо рта, от тошнотворного пуризма — я настрадался еще в университете: ни тогда, ни потом, если мы встречались изредка, особой радости ни он, ни я не испытывали. Но теперь, когда я, изглоданный ревностью, измученный страданиями обманутого любовника, увидел его за столиком грязного десятиразрядного кабака в неподобающем обществе, между нами обнаружилась некоторая близость, возникло что-то вроде взаимного интереса. Причиной его был общий враг: американский ученый Левенсон и его бразильский аналог, никому не ведомый Педро Аршанжо.

Достопочтенный академик изложил мне свои сомнения и подозрения по поводу миссии Левенсона в Баие; я же о своих, в силу их глубоко интимного, личного характера, предпочел умолчать. Батисту волновали прежде всего проблемы общественного мнения и государственной безопасности.

— У нас в Баие, на родине гениев и героев, столько замечательных людей — взять хоть бессмертного Руя, гаагского нашего орла, — а этот иностранец расточает похвалы — кому? Превозносит — кого? Безнравственного негра-алкоголика!

Негодование душило его, он встал в позу оратора и, впадая в транс, словно жрец на празднестве в Алакету, обращаясь попеременно то ко мне, то к своей славной спутнице, то к официанту, ковырявшему в зубах, продолжал:

— Копните поглубже, и за фасадом изучения культуры вы обнаружите коммунистический заговор, направленный против самой основы нашего строя! — в этом месте он таинственно понизил голос. — Я где-то читал, что этого вашего Левенсона уже хотели однажды вызвать в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности! Из достоверного источника мне известно, что он на заметке в ФБР.

Палец его вознесся и указал на величественного и ко всему на свете безразличного официанта, который привык, должно быть, к самым нелепым речам пьяных посетителей.

— Что хочет представить нам этот американец в качестве вершины научной мысли?! Безграмотный бред, описывающий нравы простонародья, черни! Да кто такой этот пресловутый Аршанжо?! Выдающаяся личность? Профессор? Доктор? Светило? Видный политик? Может быть, хотя бы крупный предприниматель? Нет! И еще раз нет! Ничтожный педель медицинского факультета, чуть ли не нищий! Пролетарий!!

Прославленный ученый муж кипятился не напрасно: у него были основания для такой ярости. Всю жизнь он посвятил борьбе против порнографии, упадка морали, купальных костюмов, порчи португальского языка — и чего же, спрашивается, достиг? Ничего не достиг: порнография царит в книгах, в театре, в кино и в жизни; упадок морали стал обыденной нормой; девицы носят противозачаточные пилюли рядом с четками; купальные костюмы превратились в бикини, священнослужители сплошь одержимы дьяволом... Что же касается книг и португальского языка, то тут дело совсем плохо: сочинения высокоученого академика, написанные на безупречном языке Камоэнса, напечатанные автором за собственный счет, легли на полки книжных магазинов на вечное хранение, в то время как тысячи книг разных борзописцев, презирающих правила грамматики, превративших язык классиков в один из африканских диалектов, раскупаются нарасхват.

Тут я испугался, что академик укусит меня или официанта. Но нет: он взял свою даму, сел в свой «Фольксваген» и уехал — искать, должно быть, укромное — по-настоящему укромное! — место, где столп морали и отец нации смог бы провести все предварительные переговоры, необходимые для осуществления полового акта, который должен был произойти — впервые в жизни — не с законной супругой, и где за сладостными пристрелками академика не подглядывали бы литературные ничтожества, аморальные подонки!

И он был прав! Не будь я таковым, разве стал бы я взращивать в бульоне кашасы бациллу ревности, стал бы вдохновенно слагать сомнительные стишки?! Нет! Я ворвался бы в гостиничный номер, застукал бы прелюбодеев на месте преступления и одной рукой швырнул бы в лицо негодяю-американцу его доллары, а в другой руке я держал бы заряженный револьвер и пять пуль всадил бы в изменницу, прямо в ее развратное, предательское, сладострастное чрево, а шестую — себе в висок!.. Я же говорю, что ревность способна довести человека до убийства и самоубийства...

О, оскверненная звезда

О, иностранные постели

Совокупленья по-латыни

О, оскверненная звезда

остатки мне достанутся остатки

усталость розы ночь настороже

отец народа мировая скорбь

остатки социологии твоей достанутся

лавандой пахнет розмарином мылом

виски ванна трубочный табак

Я заслужил!

ни пули ни ножа ни бритвы плевка не стоишь

я не рыдаю не грожу не бормочу проклятий

я не кричу

одна любовь осталась

остатки мне достанутся

Король рогатых!

в саду рогов рога на лбу рога в ногах

рога в хребте спинном в субилатории рога

рогами в плоть твою проникну

О, оскверненная звезда

чистейшая

*Фаусто Пена*

*«Ангельское пи-пи», рассвет*

*1968*

## О людях известных, утонченных и, как правило, хорошо осведомленных — об интеллектуалах высшего разбора

### 1

После заявлений Левенсона перья газетчиков, микрофоны радиорепортеров, камеры телеоператоров стали служить прославлению личности и творчества никому доселе не известного и вдруг ставшего на весь свет знаменитым баиянца. Посыпались репортажи, интервью, высказывания виднейших деятелей нашей культуры, статьи в воскресных приложениях, бесконечные хроники и «круглые столы» по наиболее популярным программам радио и телевидения.

Наши интеллектуалы в своих статьях, интервью и выступлениях больше всего старались доказать миру, что они уже очень давно и очень хорошо знакомы с творчеством Педро Аршанжо. Как видите, между нашими интеллигентами и их коллегами из Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло особой разницы нет: прогресс подтягивает провинцию до уровня столицы, сокращает былые расстояния, сглаживает культурные различия. Сегодня мы такие же передовые, образованные и талантливые, как и жители крупных южных центров нашей страны, а наши даровитые молодые люди заткнут за пояс Анио Коррейю или любого другого исполина из числа завсегдатаев баров на Ипанеме или Леблоне[[14]](#footnote-14) — любого, даже самого лихого и остроумного. Единственное, но очень существенное различие состоит в том, что гонорары у нас в провинции низкие, нищенские — поистине провинциальные гонорары.

Совершенно неожиданно выяснилось, что каждый из наших гениев уже давно трубит славу бесценным книгам «профессора Педро» (его даже произвели из педелей в профессора), всеми способами доказывая своим постыдно равнодушным собратьям непреходящее значение его трудов. Оказалось, что американцу Левенсону вовсе не было нужды вытаскивать имя Аршанжо и его книги из мглы забвения и безвестности; оказалось, что творчество баиянца всегда расхваливалось на все лады в лекциях и докладах, на диспутах и конференциях могучей когортой последователей автора книги «Обычаи и обряды народа Баии» — последователей его самого и его теорий.

Какое трогательное единодушие, какое волнующее событие: у Педро Аршанжо оказался легион учеников — кто бы мог подумать?! И где? В Баие, которая так богата этнографами, социологами, антропологами, фольклористами и прочими особями того же вида, причем все они — люди высокоученые, сведущие и просвещенные до такой степени, что боже упаси...

Хотелось бы выделить из неимоверного количества заумного и смехотворного газетного материала две-три серьезные и заслуживающие упоминания публикации. Вот, к примеру, пространное интервью профессора Азеведо, напечатанное в вечерней газете «Тарде».

Профессор преподавал социологию; неутолимая жажда славы, одолевавшая всю нашу интеллектуальную братию, была ему чужда. Он и вправду хорошо знал творчество Аршанжо, он работал вместе с профессором Рамосом из Рио-де-Жанейро и давно пытался растолковать окружающим ценность наследия Аршанжо, привести его работы в соответствие с современными теориями, он прилагал все усилия, чтобы заинтересовать этими четырьмя книжечками молодых ученых, но молодые ученые были довольны собой и своими познаниями, и этого им вполне хватало. Потребовался приезд нобелевского лауреата Джеймса Д. Левенсона, чтобы они встрепенулись и с опозданием принялись за прославление Педро Аршанжо.

Главным источником информации для авторов блистательных статей в газетах и журналах послужило интервью профессора Азеведо, потому что найти давным-давно напечатанные, мизерными тиражами изданные книги Аршанжо было нелегко. Азеведо тщательно и скрупулезно разбирал и объяснял творчество автора «Африканских влияний на обычаи Баии», подчеркивая то обстоятельство, что Аршанжо был самоучкой, доказывая его удивительные для того времени научную смелость и основательность. Азеведо щедро цитировал его книги, приводил много имен, названий, дат, а вдобавок кое-что поведал и о самом этом человеке, с которым непродолжительное время был знаком и на похоронах которого присутствовал.

Это интервью породило более двадцати очерков, статей и репортажей, некоторые из них принесли своим авторам щедрые похвалы; ни в одном даже не упоминался социолог Азеведо, но зато во всех приводились высказывания Левенсона и других ученых, американских и европейских. Один журналист, отличавшийся наиболее передовыми взглядами, определил «наследие Аршанжо» как «ретроактивный продукт мышления Мао», другой, еще более прогрессивный, писал о «Сартре и Аршанжо — двух мерах постижения человека»... Вот додумались, щелкоперы!

Посреди этого моря ерунды обращал на себя внимание любопытный материал обозревателя Герры, одного из тех немногих, кто не выдавал себя за этнолога, не прикидывался учеником Аршанжо. У Герры был злой язык (к тому же без костей), а в дискуссию он вступил лишь для того, чтобы уличить плагиаторов, неоднократно обкрадывавших книгу покойного местре — ту самую, что была выставлена лет тридцать назад в витринах книжных магазинов и — единственная из всех — получила поэтому определенную известность.

Профессор Азеведо в своем интервью не утаил, на какие огромные жертвы приходилось идти нищему местре, — жалованье у него было весьма умеренное, зато склонность к кашасе — непомерная, — чтобы издавать свои книги. Его друг и кум, гравер, флейтист и гуляка Лидио Корро, оборудовал на Ладейра-до-Табуан крошечную типографию: он печатал там рекламные листовки и объявления для всех лавок в округе, для кинотеатров Байша-дос-Сапатейрос, стишки бродячих поэтов и тому подобную литературу, продаваемую на ярмарках и рынках. (О Лидио Корро очеркист Валадорес сочинил примечательную книжку под названием «Аршанжо, Корро и Табуанский университет».) Именно там, в этой убогой мастерской, были набраны, сверстаны и отпечатаны три из четырех книг никому не известного автора: все три отличаются ужасающим качеством полиграфии.

Впрочем, одно из сочинений Аршанжо было выпущено в свет настоящим издателем, и тираж составлял тысячу экземпляров — для того времени немало, а для Аршанжо — грандиозно, потому что до тех пор тираж не превышал трехсот штук, последняя же — и важнейшая! — его работа «Заметки о смешении рас в баиянских семьях» отпечатана была в количестве ста сорока двух экземпляров — не хватило бумаги... Тем не менее этих жалких ста сорока двух книжечек оказалось вполне достаточно, чтобы вызвать страх, скандал и крутые охранительные меры: когда Корро разжился бумагой и хотел продолжить печатание, в типографию нагрянула полиция.

Книге «Баиянская кухня — ее истоки и рецепты» повезло больше. Некий Бонфанти, человек с темным прошлым и сомнительной репутацией, открыл на Праса-да-Се букинистический магазин специально для школьников и студентов; одни и те же книги — хрестоматии, логарифмические таблицы, словари, учебники по медицине и праву — он покупал задешево, а перепродавал потом втридорога. Аршанжо захаживал к этому мафиозо, болтал с ним и даже задолжал ему незначительную сумму за подержанное, но полное издание «Записок врача», принадлежащих перу Дюма-отца. Последнее обстоятельство доказывает, что книготорговец, никому и никогда не веривший в долг, глубоко уважал нашего местре.

Бонфанти, для того чтобы помочь неисправимым двоечникам на экзаменах в городской гимназии и в частных лицеях, издал несколько книжечек: перевод басен Федро — обязательный искус на письменном экзамене по латыни, — решение задач по алгебре и геометрии, грамматические шпаргалки, разбор «Лузиад». Формат этих книжонок был таков, что их можно было скрытно пронести в класс и незаметно перелистать под партой. Чтобы пополнить образование юношества, о коем так заботился Бонфанти, он также печатал и продавал порнографические брошюрки, пользовавшиеся спросом и у некоторых важных господ — доверенных завсегдатаев его магазина.

Баиянского мулата и итальянского проходимца сближал, кроме книг, интерес к яствам и лакомствам: оба отличались могучим аппетитом и взыскательным вкусом, оба как кулинары не знали себе равных. Аршанжо был неподражаем в приготовлении баиянских блюд: божественная получалась у него мокека из ската... Бонфанти готовил дивную pastasciutta-ai-funghi-secchi[[15]](#footnote-15) и сокрушался, что в Баие нельзя достать совершенно необходимые для этого блюда ингредиенты. По воскресеньям они обедали и беседовали, и так вот родилась идея написать учебник баиянской кулинарии, собрав в нем рецепты, которые до тех пор передавались только из уст в уста или записывались хозяйками в тетрадки.

Обсуждение будущей книги проходило бурно: Бонфанти хотел ограничиться сводом рецептов, считая, что предисловие не должно превышать пол-страницы — и то много; Аршанжо настаивал на подробном исследовании с комментариями — словом, научное обоснование, а уж потом рецепты. В конце концов он настоял на своем — книга вышла в незаурядном виде, да только никто ее не покупал: то ли потому, что «кулинарный справочник рассчитан на кухарок и не должен иметь отношения к литературе или к науке», как объяснял Бонфанти, жалуясь на убыток и отказываясь платить гонорар, то ли потому, что «этот итальянский жулик напечатал гораздо больше тысячи экземпляров». Словом, книга у публики интереса не вызвала. После смерти Аршанжо у Бонфанти еще оставалось несколько непроданных томиков.

Но по прошествии многих лет, когда наш город вырос и обзавелся промышленностью, когда вслед за другими веяниями прогресса проникли в него туристические агентства, баиянская кулинария получила общенациональное признание и прославилась на всю Бразилию. Куда девалось былое безразличие читателей?! В Рио и Сан-Пауло опубликовали несколько сборников рецептов — некоторые были великолепно изданы, прекрасно оформлены и снабжены цветными иллюстрациями-фотографиями. Журналисты, светские дамы, хозяин французского ресторана, помещавшегося на улице Витория, — все эти новоявленные авторы и их издатели заработали неплохие деньги на «Баиянской кухне», на «Ста рецептах баиянских кушаний и сладостей», на «Пальмовом масле, кокосовом орехе и перце», на «Афро-бразильской кулинарии», на «Дарах Иайа» и так далее и тому подобное.

И вот неистовый Герра пришел к умозаключению, что все это бесстыдно и откровенно переписано из брошюрки Аршанжо и не содержит ничего нового или своеобразного. Плагиаторы («Идиоты!» — восклицал разгневанный журналист) не только ничего не добавили, но, напротив, выбросили как ненужную помеху всю теорию, выводы, положения, сохранив лишь рецепты. Впрочем, один проворный и бессовестный писака из Рио, просидев в Баие недельку, украл уже все: целиком, страница за страницей, перекатал он сочинение Аршанжо, да при этом ему еще хватило дерзости исказить концепции автора. Отважный Герра — «заметьте, что я не этнолог и не фольклорист» — уличил его в недостойном поведении.

Ну, а интервью майора Дамиана де Соузы, испытанного бойца судебных ристалищ и непосредственного участника многих громких дел, заслуживает отдельной главы. Последствия этого интервью были чрезвычайно значительны и совершенно неожиданны.

### 2

Очень, очень немногие люди посмели бы прямо пройти в кабинет доктора Зезиньо Пинто, главного редактора (и владельца) газеты «Жорнал да Сидаде», когда один из славнейших наших сограждан уединялся там, чтобы поразмышлять над делами и проектами. А больше и негде: в конторе банка — невозможно, в офисе «Петрокимика» — тоже, в «Индустриас Реунидас» — нечего и говорить. А здесь, в кабинете, куда вход посторонним был строго воспрещен, доктор Пинто, пока не пробило два часа, пока не началась редакционная сутолока, мог обрести покой: здесь никто не прервет нить его дум, не потревожит его краткий освежающий сон.

Но для майора Дамиана де Соузы вход всюду был свободный, поэтому он протянул костлявую руку к защелке замка и вошел в кабинет со следующими словами:

— Храни вас бог, о достославный доктор Зезиньо, вас и превосходительную вашу супругу! Все ли в порядке дома? Как здоровье? Хорошо?! Дела, надеюсь, не хуже?! Прекрасно! А я к вам насчет Педро Аршанжо. Что же получается? Мальчишки из вашей газеты слушают всех встречных-поперечных, печатают портреты разных проходимцев, а ваш покорный слуга, единственный человек в Баие, который знает про Аршанжо все, остается в забросе, в небрежении, в забвении! Как это могло случиться? Майор вам больше не нужен?

Майор, сам того не зная, попал в самое больное место, прикоснулся к еще кровоточащей ране: доктор Зезиньо Пинто только что пришел с ежемесячного обеда, на котором три короля баиянской прессы, три владельца салвадорских газет вырабатывали план совместных действий. Все они давно дружили, и обед, сдобренный тонкими винами и контрабандным виски, проходил обычно очень весело: помимо обмена новостями и мнениями о политике и экономике, всегда было много смеха, сплетен, подтруниванья над промахами и ляпсусами коллег. А сегодня жертвой стал доктор Зезиньо, и все из-за того, что возглавляемая им «Жорнал да Сидаде» почти никак не отозвалась на главную сенсацию сезона — Педро Аршанжо.

— Собрал у себя в редакции весь цвет интеллектуалов, всех талантливых журналистов — и что же? Так позорно отстал от «Тарде» с интервью профессора Азеведо — это вам только один пример. А «Диарио да Манья»?! Специальное приложение дали: «Аршанжо в Баие»! Я уж не говорю, какие потрясающие признания вытянула у Левенсона Ана Мерседес! Их перепечатали в Рио, в Сан-Пауло, в Порто-Алегре, в Ресифе...

— Ну, знаете, милый мой Брито, если действовать подобными методами... Покажите мне человека, который отказался бы дать интервью с глазу на глаз Ане Мерседес! Я бы и сам не прочь... Это что же, по-вашему, — законное соперничество, честная конкуренция? Да вы знаете, как ее прозвали в редакциях? «Золотая ляжка»!

— Брито, она у нее правда золотая? Говорят, вы в курсе дела... — пустил шпильку Кардим.

Все трое засмеялись, выпили доброго немецкого вина, но на сердце у доктора Зезиньо, который был патриотом своей газеты и ревниво относился к ее престижу, скребли кошки... Он платит огромные деньги своим молодцам с дипломами и учеными степенями, позволяет им печатать в газете любую ахинею — и все для того, чтобы «Жорнал да Сидаде» стала истинным глашатаем и провозвестником культуры, — а их обскакали грошовые, невежественные репортеры! Упустить такой момент!.. Ну ничего: сегодня на летучке — вот только немножко подремлет в холодке — он взгреет как следует этих беспечных лодырей... Заелись! Он не допустит, чтобы «Жорнал да Сидаде» плелась у конкурентов в хвосте!

— Аршанжо? Майор, вы знали Аршанжо?! Это правда?

— Знал ли я Аршанжо? А кто меня грамоте выучил? И кто обнаружил тело местре в канаве на Ладейра-до-Табуан? Он не стал моим отцом только потому, что ко дню его встречи с матушкой Теренсией одноглазый Соуза уже сам позаботился о продолжении рода. Когда мать открыла палатку на Золотом Рынке, Аршанжо каждое утро приходил к нам пить кофе... Он один стоил целого цирка, честное слово: так и сыпал стихами, историями, прибаутками. Я до сих пор подозреваю, что Теренсия была к нему неравнодушна: у Аршанжо просто руки до нее не дошли... Знал ли я Аршанжо! А кто был моим учителем? Кто научил меня читать и писать? Кто объяснил, что есть добро и зло...

«Кто научил меня пить кашасу и любить женщин?» — мог бы еще добавить майор, но редактор уже не слушал его: он нажимал кнопку звонка и одновременно во всю мочь призывал курьера.

— Пришел уже кто-нибудь? Кто? Ари? Послать его ко мне, живо! — и, повернувшись к собеседнику, осклабился в своей знаменитой улыбке: — Майор, вы — чудо! — И еще раз одарил его улыбкой: — Вы — чудо из чудес.

В словах доктора Зезиньо содержалась доля истины: не было в Баие человека примечательней и популярней семидесятилетнего майора. Его величали «народный адвокат», «защитник бедняков», «надежда несчастных», и за полвека выступлений в суде он побил все рекорды по числу выигранных дел, то есть оправданных обвиняемых; все они, как правило, были люди неимущие и беззащитные — о гонорарах же в большинстве случаев и речи не было. Он сотрудничал во всех газетах, и все газеты публиковали время от времени его неотразимые «Две строчки» протестов и жалоб, где он обрушивался на несправедливость и жестокость, восставал против нищеты, неграмотности, голода. Он был избран депутатом муниципального собрания, и волна его популярности забросила двух проныр, двух ненасытных крыс в кресла председателя и первого секретаря; он превратил муниципалитет в пристанище бедняков, боролся с муниципальными советниками, помогал народу захватывать пустующие земли, на которых потом выстроили жилые кварталы; и на следующий срок его уже избрать поостереглись. Прирожденный и разносторонний оратор, он произносил речи не только перед присяжными или в апелляционном суде, но и на любом празднике, на любом торжестве — где угодно: на гражданских церемониях и на обедах по случаю свадьбы, дня рождения или крестин; на освещении новой школы или больницы и на открытии лавки, магазинчика, булочной или бара; на похоронах какой-нибудь выдающейся личности и на политических митингах (в те времена еще разрешались политические митинги), причем его не интересовало, какая партия их устраивает. Он считал, что защищать интересы народа, обличать нищету, безработицу, нехватку школ можно с любой трибуны, в любой газете, а до остального ему дела не было.

Стоило послушать его выступления — вот хотя бы ежегодную речь 2 июня на Праса-да-Се у памятника героям войны за независимость, — это был образец гражданственной и высокопарной риторики. Сколько раз восторженная толпа на руках уносила его с площади!..

Майор, осипший от табака и алкоголя, гремел избитыми сравнениями и смелыми метафорами, сыпал афоризмами великих бразильцев и небразильцев — предпочтение обычно отдавалось Иисусу Христу, Рую Барбозе и Клемансо, — срывал аплодисменты. В речах майора блистали и искрились изречения и сентенции живых, мертвых и никогда не существовавших знаменитостей: в суде он ошеломлял ими своих оппонентов, и неколебимый апломб майора сбивал прокуроров с толку. Однажды, когда для обоснования неубедительной версии «допустимой самообороны» майор сослался на «славного Бернабо, гордость Италии и всех романских стран», самоуверенный и обозленный щенок прокурор решил уличить оратора во лжи, одним махом разоблачить обманщика:

— Виноват, мне никогда не приходилось слышать о криминалисте, упомянутом только что господином адвокатом. Да и существовал ли такой криминалист?

Майор с жалостью воззрился на самонадеянного юнца.

— Господин прокурор еще очень молод и не очень начитан. Естественно, что ему незнакомы классические труды Бернабо. Разумеется, никто не вправе требовать от господина прокурора такой осведомленности! Подобное невежество было бы непростительно человеку моего возраста, полуослепшему над книгами, а что ж спрашивать с господина прокурора!

Кстати, зрение у майора — исключительное: он даже очков не носит. В том возрасте, когда большинство людей уже одной ногой стоит в могиле и ждет переселения в лучший мир, майор прям и статен — «проспиртованное лучше сохраняется», за полночь ест сарапател в Сан-Жоакине, в Сете-Портас, в Рампа-до-Меркадо, спит с женщинами — «Лучшее средство от бессонницы», курит, не выпуская из испорченных зубов дешевой сигары... У него большие узловатые руки, а носит он всегда рубашки с высоким воротничком и белый костюм — «Исповедующие веру Ошала одеваются только в белое», — слегка засаленный на рукавах и лацканах.

Контора его там, где в данную минуту находится сам майор. Один он не ходит: под ногами у него обязательно путаются трое-четверо бедолаг, и когда он садится у стойки какого-нибудь бара, чтобы пропустить целебный глоток кашасы, неизменно помогающей от жары — или от холода, — они начинают излагать ему свои жалобы, претензии, просьбы. Он записывает все это на клочках бумаги, а потом засовывает их в карман пиджака. Впрочем, у него есть и постоянная контора: каждое утро он принимает клиентов и дает консультации в мансарде на улице Лисеу — там, где раньше помещалась мастерская сантейро Мигела. Сантейро давно умер, теперь там разложил свои инструменты и колодки холодный сапожник, но стол майора стоит где стоял, и новый хозяин, приветливый, светлокожий, веснушчатый мулат, не жалеет для адвоката ни кашасы, ни доброго слова.

А у дверей спозаранку собирается толпа просителей. Кого здесь только нет: жены заключенных — иной раз со всем выводком; матери детей, которым настало время идти в школу, а за школу платить нечем; безработные, проститутки, бродяги, больные — им нужна больница, врач и лекарство; выпущенные под залог жулики — их скоро будут судить; родственники умерших — их не на что похоронить; брошенные жены, девицы, забеременевшие от своих соблазнителей, а те и слышать не хотят о женитьбе; кого здесь только не увидишь — и всем грозит правосудие, полиция, сильные мира сего; а вот просто-напросто пьянчужка пришел в надежде опохмелиться... Всё народ беспокойный, томимый голодом и жаждой... Одного за другим принимает и выслушивает их майор.

А домов у майора три: на Либердаде, на Косме-де-Фариа, в Итапажипе, и в каждом доме терпеливо и кротко хоть до утра будет ждать его прихода нежная наложница.

В доме на Либердаде — Эмеренсия, толстая, тихая негритянка, лет сорока с небольшим, пышногрудая и широкобедрая. Она готовит баиянские кушанья для богатых семейств и принимает у себя нескольких постоянных и почтенных посетителей. Это самая давняя из нынешних привязанностей майора: он увез ее из дома больше двадцати пяти лет назад.

В доме на Косме-де-Фариа шьет и вышивает на продажу ласковая мастерица Далина: лицо ее побито оспой, ей тридцать лет, она белокура и изящна. Далина познакомилась с майором, когда суровый отец выставил ее, беременную, из дому. Капрал, виновник ее несчастья, уже был женат; узнав о ребенке, он моментально добился перевода на юг. Майор устроил Далину в родильный дом, оплатил счет врачу, но и потом не бросил ее с ребенком на произвол судьбы.

В зеленом домике с розовыми ставнями на Итапажипе живет хорошенькая полуиндианка Мара: ей восемнадцать лет, у нее два золотых зуба, она мастерит матерчатые цветы для магазинчика на Авениде, дом семь, — сколько сделает, столько и продаст. Хозяин, впрочем, уже не раз предлагал ей заняться иной, более выгодной работой, да и красноречивый красавец художник Флориано Коэльо тоже хотел бы взять ее под покровительство, но Мара хранит верность своим цветам и своему любовнику. Приходит майор, и она окажется в его объятиях, почувствует его дыхание, услышит его охрипший от бессонной ночи голос:

— Как поживаешь, птичка моя?

Три домашних очага, три семьи, три любовницы? «Вранье! Быть этого не может!» — заявляют многие, узнав, сколько возлюбленных у майора, и как не понять их законное удивление и недоверие! В таких случаях майор извиняется, просит принять в расчет его преклонный возраст и хлопотную профессию: конечно, раньше, когда он был моложе и свободней, то сам сбивался со счета, перечисляя свои постоянные привязанности и мимолетные увлечения.

— Аршанжо всегда был окружен людьми, а девицы просто висели на нем, — говорит майор, а главный редактор Ари записывает неразборчивым почерком его слова. Доктор Зезиньо с любопытством слушает рассказ майора. Мелькают люди, события, улицы и даты: память у майора как бездонная бочка. «Лавка чудес», Лидио Корро, Кирси, палатка матушки Теренсии, Ивона, Роза, Розалия, Эстер, женщины, женщины, женщины, афоше «Дети Баии», мытарства Прокопио, полицейский комиссар-зверюга Педрито Толстяк, забастовка тридцать четвертого года («Об этом сейчас не надо, Ари, будьте добры, пропустите это место», — советует доктор Зезиньо своему редактору: горячая голова, вполне может заострить все внимание на забастовке, и хлопот с цензурой потом не оберешься), сантейро Мигел... Информация богатая, спору нет, но владелец газеты разочарован: вся эта болтовня не имеет никакого отношения к науке.

— Он умер в нищете, да? — спрашивает Ари.

Человек был добрый, простой, но горд и упрям, как черт, никто с ним не мог справиться. Сколько раз майор (и не только майор) предлагал ему поселиться у него: старик в ту пору окончательно лишился работы. Вы бы согласились? А он — ни в какую: «Я и сам не пропаду, в милостыне не нуждаюсь!» — и все на этом. Удалой был старик...

— Ровно двадцать пять лет назад он умер. А восемнадцатого декабря, как раз за неделю до Рождества, исполнится сто лет со дня его рождения.

Послышалось восклицание: наконец-то доктор Зезиньо обрел то, чего искал и добивался.

— Что вы сказали, майор? Сто лет? Повторите!

— Так оно и есть: Аршанжо исполнилось бы сто лет. Он шумно отметил свое пятидесятилетие — целую неделю праздновали... Ох, доктор, что это была за неделя!..

Возбужденный Зезиньо вскочил на ноги:

— Неделю, говорите? Торжества, посвященные столетию со дня рождения Педро Аршанжо, будут продолжаться целый год! И начнем мы их завтра же! «Жорнал да Сидаде» в связи со столетним юбилеем бессмертного Педро Аршанжо открывает кампанию по увековечению его имени! Вы поняли? Вы уловили мою мысль? Вот когда я посмеюсь!.. Хотел бы я видеть, какие рожи скорчат Брито с Кардимом! Ари, сообщите обо всем Форрейринье и Голдману. Сегодня же всех собрать! Все на самом высшем уровне! Давно уже такого не было... Пригласим кого-нибудь из правительства, потом университет во главе с медицинским факультетом. Институт истории, Академию языка и литературы, Центр по изучению фольклора, представителей банков, торговых и промышленных кругов! Организуем юбилейный комитет, привлечем людей из Рио!.. Мы утрем нос этим щелкоперам, мы им покажем, как делается газета!..

Ари был со всем согласен:

— «Жорнал да Сидаде» давно уже испытывает необходимость начать настоящую кампанию. С тех пор как запретили критиковать правительство, газета расходится все хуже.

Доктор Зезиньо Пинто повернулся к майору.

— Майор, вы подбросили мне идею, которой нам хватит на целый год! Столетие Педро Аршанжо! Не знаю, как вас благодарить! Чем я отплачу вам?!

Он улыбнулся. Казалось бы, нет награды выше и вознаграждения щедрее, чем ласковая улыбка выдающегося человека, но майора Дамиана де Соузу улыбками не возьмешь.

— Какие пустяки, доктор! — сказал он. — Тут напротив есть бар, пойдемте! Поставите мне рюмку коньяку, а лучше две, и сами выпьете. Первую — за меня, а вторую — за Аршанжо: старик без памяти его любил. Пойдемте не откладывая, сейчас самое подходящее время.

Выдающемуся человеку вовсе не хотелось накачиваться отечественным коньяком за стойкой третьеразрядного кабака, да еще в послеполуденный зной. Поэтому он сделал широкий жест и приказал выдать майору некоторую сумму на кашасу.

В наши дни за все приходится платить: тяжелые настали времена.

### 3

Великий Левенсон понятия не имел об интервью майора Дамиана де Соузы — оно попало на страницы газеты уже после того, как американец покинул Баию, — но спустя несколько месяцев его секретарша написала доктору Зезиньо Пинто, редактору-издателю «Жорнал да Сидаде», письмо, в котором уведомила его, что Левенсон не сможет принять приглашение этого замечательного органа массовой информации и произнести речь «in memoriam»[[16]](#footnote-16) бессмертного Педро Аршанжо на заседании, завершающем юбилейные торжества. «Профессор Левенсон благодарит за сообщение о почестях, которые будут возданы баиянскому местре, и всецело поддерживает это начинание. Он счастлив убедиться в том, что бразильский народ по заслугам оценил труды этого выдающегося ученого». Но приехать Левенсону при всем желании не удалось, потому что он был связан давно намеченной поездкой на Дальний Восток, в Японию и Китай, и перенести ее не мог. В постскриптуме ученый собственноручно добавил несколько строк и поставил свой росчерк, что превратило письмо, напечатанное на машинке и подписанное секретаршей, в бесценный автограф. Там было сказано:

«Р.S. Упомянутый выше Китай — это Китайская Народная Республика, потому что другой Китай, или остров Формоза, — не что иное, как нелепая и опасная выдумка милитаристов».

«Лауреат Нобелевской премии восхищен инициативой „Жорнал да Сидаде“» — под такой шапкой была напечатана статья о том, что «великий ученый из Соединенных Штатов восторженно поддерживает начинание нашей газеты», и о том, что он не сможет присутствовать на торжествах.

Доктор Зезиньо не скрывал своей досады: он твердо рассчитывал на прибытие Левенсона, а теперь придется ограничиться национальными гениями и провинциальными знаменитостями. Слабой заменой Левенсону, который, как до того сообщалось официально и переносилось молвой, «спешит к нам с территории североамериканского исполина», должен был стать профессор Рамос из Рио-де-Жанейро.

Могущественный баиянский редактор-издатель даже не подозревал, что нобелевский лауреат едва не послал к черту свои лекции в Токийском университете вместе с приглашением Пекина, чтобы вернуться в Бразилию, чтобы снова увидеть голубовато-зеленое море, и паруса рыбачьих ботов, и раскинувшийся на горе город, и его удивительных жителей, и высокую девушку — как же ее звали? — девушку стройную, как пальма, и ее губы, груди, бедра, живот, потому что забыть все это он был не в силах и хотел еще раз увидеть эту мулатку, словно сошедшую со страниц книг Аршанжо — возмутителя спокойствия, Аршанжо, следы которого едва угадывались в таинственном городе Баие.

Левенсон пробыл там три дня вместо запланированных двух — три дня и три ночи, — и вот какая нелепая и поэтичная мысль родилась у него после этого короткого путешествия: Аршанжо — просто-напросто колдун, он сотворил эту девушку, чтобы ею доказать американцу истинность всего им написанного... Но как же ее все-таки звали? Энн, да, да, Энн, радушная и бесстрашная Энн — и этот идиот жених, что ходил за ней как пришитый...

— Послушай, кто этот мрачный тип, который следует за нами неотступно? Поклонник или шпик? — спросил ее тогда Джеймс Д., осведомленный о нравах развивающихся стран и их режимах, и показал на поэта Фаусто Пену, тенью бродившего за ними по пятам.

— Кто? Этот? — беспечно рассмеялась в ответ Ана Мерседес. — Это мой жених. Раз уж мы заговорили о нем... Помнишь, ты хотел нанять кого-нибудь для сбора материалов о Педро Аршанжо? Он тебе подойдет. Он социолог и поэт, у него есть талант и сколько угодно свободного времени.

— Если он пообещает немедленно приняться за работу и оставить нас в покое, то может считать, что контракт с ним подписан.

Дни были заполнены до отказа, неутомимый Левенсон вместе с Аной Мерседес обегал весь город, прошелся по всем его улицам и закоулкам, заглянув в пышные синевато-золотые церкви. С кем только он не познакомился: с Камафеу де Ошосси, Эдуарде де Ижеша, местре Пастиньей, Маезиньей и Менининьей, Мигелом де Сантано Оба-Аре. Американец прятался от знаменитостей и отказывался от устраиваемых в его честь обедов, ссылаясь на недомогание. Он не попробовал тонких блюд и не услышал приветственной речи знаменитого академика Луиса Батисты, но зато ел ватапу, каруру, эфо, мокеку из крабов, кокаду[[17]](#footnote-17) и абакаши на рынке Модело, в ресторанчике покойной Марии де Сан-Педро, а из окна были видны рыбачьи лодки, скользившие на всех парусах по глади залива, груды разноцветных фруктов, разложенных на берегу моря...

Он побывал в Алакету, на кандомбле Олги, дочери Локо и Иансан, воочию увидел описанных местре Аршанжо oриша и, не слушая объяснений жениха Аны Мерседес, приветствовал их радостно и сердечно. Ошала, опираясь на свой сверкающий посох, в танце приблизился к Левенсону и заключил его в объятия. А Олга показала ему алтарь — пежи. В баиянских одеждах и украшениях Олга, окруженная свитой иаво и жриц, казалась настоящей царицей. Как это писал Аршанжо? «...Они — царицы, когда стоят на улице у своих лотков с кушаньями и сладостями, а когда выходят на кандомбле, они — царицы вдвойне...»

Когда же наступала короткая баиянская ночь — всего три ночи было у него! — американец и Ана Мерседес любили друг друга... Длинные ноги, смуглые груди, аромат тропиков, ее дерзкий, ее бесстыдный смех!..

— Сейчас узнаем, гринго, годишься ты на что-нибудь или это так, одна видимость, — сказала она в их первую ночь и сбросила с себя то немногое, что на ней было.

Праздник, равного которому нет, праздник смеха, праздник стонов... Что тут еще говорить?! Да и зачем? Знайте, дорогой доктор Зезиньо, что американский ученый Левенсон был готов забыть про Японию и про Китай — имеется в виду Китайская Народная Республика — и был готов принять ваше приглашение, чтобы еще раз увидеть город Педро Аршанжо, таинственную, колдовскую Баию.

Но доктор Зезиньо ничего об этом не знает, а если бы знал, то велел бы дать примерно такую шапку на странице своей газеты: «Великий Левенсон очень, очень скучает по Баие».

### 4

Те немногие современники Педро Аршанжо, которых случайно, а не в ходе планомерных розысков нашли репортеры, оказались застенчивыми стариками, простыми, совсем простыми людьми, и рассказывали они про своего доброго соседа, чуть-чуть полоумного и беспутного: у него была страсть все на свете записывать в тетрадочку, он внимательно слушал и охотно говорил сам, он искусно играл на гитаре и кавакиньо — о беримбау или атабаке и говорить нечего: этому он научился еще в детстве, когда устраивался праздник на улице или на террейро.

Свидетели то и дело сбивались, очевидцы робели под ужасающим напором журналистов, а те ждали сенсационных подробностей, извращенной и убогой эротики, жестокости, насилия ради насилия — воспоминания стариков о старом времени ни к чему оказались репортерам нашего озверевшего мира. Вроде бы не так уж много лет разделяло их, но по укладу, по ощущениям, по стилю жизни они были настолько далеки друг от друга, что репортер Песанья сказал своим коллегам обоего пола:

— Я, ребята, в полном дерьме! Не о чем писать! Рассказывают бред какой-то про colored[[18]](#footnote-18) старикашку, который двадцать пять лет назад умер и похоронен, про его «Лавку чудес»! Прокол!

Да, репортер Песанья, ты в дерьме, ты, и друзья твои, и подруги, все — в полном дерьме, вы сидите в нем по уши, а кто этого не понимает, тот вдобавок еще и кретин.

— Прокол, ребята! Ничего путного не добились мы с вами! Старичье твердит про эту самую лавку, где зануда Аршанжо строил из себя артиста, читал стишки. Мура! Не о чем писать! Знаете, этот Аршанжо — просто шут гороховый!

## О карнавалах, уличных драках и прочих чудесах, о неграх, мулатах и шведке (оказавшейся на самом деле финкой)

### 1

Толпа в полном восторге валила по улице, аплодируя, горланя, толкаясь и приплясывая. Карнавал! Каких только костюмов тут не было: «домино», индейцы, африканцы, шуты, барабанщики, пейзане и пираты, оборванцы-нищие, звери, птицы!.. Когда процессия вышла к Политеаме, грянули рукоплескания, раздался единый приветственный вопль: ура! ура! ура-а-а!

Восторг дополняло удивление: разве доктор Франсиско Антонио де Кастро Лoурейро, временно исполняющий обязанности начальника полиции, не запретил, «стремясь уберечь мораль, добропорядочность, семью и общественный порядок, желая положить конец дебошам и преступлениям», разве не запретил он еще в 1904 году устройство афоше, под каким бы предлогом и где бы их ни проводили? Запретил. Так кто же осмелился?

Осмелились «Дети Баии»: никогда еще не выходила на улицы такая огромная процессия; никто еще не видал такого количества людей, такого великолепия красок, костюмов, такого удивительного порядка, такого неистового батуке[[19]](#footnote-19) и такого величественного Зумби.

«Дети Баии» осмелились не просто устроить афоше, но и вывезти на улицы «Республику Палмарес» и героических ее защитников. И сам Зумби, король и военачальник, разгромивший три армии, угрожавший империи и императору, изображен был в момент битвы: триумфатором стоял он на огненной горе свободы.

В руке он сжимает копье, а сам совсем голый — только леопардовая шкура на бедрах. В такт боевому кличу пляшут негры: они сбежали с плантаций, где с ними обращались как со скотом, сбежали от плетей управляющих, надсмотрщиков и хозяев: отныне они не рабы, они — люди и воины. На левом фланге полуобнаженные негры, а на правом — наемники Домингоса Жоржи Вельо, защитника рабства, не признававшего на войне ни жалости, ни сострадания, ни закона, ни обещаний. «Живыми, живыми взять их, взять и обратить в рабов», — кричит он баиянцам сейчас на карнавале. У него длинная борода, на нем куртка, перевязь и шляпа бандейранта[[20]](#footnote-20), а в руке — плеть-треххвостка.

Народ неистово приветствовал это неподчинение, этот отважный вызов властям: скажите, доктор Франсиско Антонио де Кастро Лoурейро, скажи, начальник полиции, — кожа-то у тебя белая, зато душа черная, — что за карнавал без афоше — забавы бедняков, театра бедняков, бала бедняков? Неужто мало тебе нищеты, голода, безработицы, болезней, оспы, проклятой перемежающейся лихорадки, дизентерии, уносящей грудных детей, что ты, доктор Франсиско Антонио Бей Негров, решил отнять у народа еще и это?! Освистать начальника полиции, ошикать его, осмеять!! Слава бесстрашным участникам афоше, ура! Ура! Ура-а-а!

И весь карнавал стал приветствовать «Детей Баии» и аплодировать воинам «Республики Палмарес». Такой успех не выпадал даже на долю афоше «Африканское посольство», которое в 1895 году показало волшебный двор Ошала, а через три года вывело на улицы последнего короля Дагомеи со всей свитой — Его Чернейшее Величество Аго Ли Агбо. Так не хлопали и «Африканским весельчакам» во главе с вождем Лобосси и всему его ангольскому церемониалу. Так не радовались и афоше «Дети деревни», хотя ослепительная эта новинка вызвала в 1898 году немало рукоплесканий и славословий. Короче говоря, успех «Детей Баии» в год запрещения афоше ни с чем сравнить невозможно.

Тут на процессию бросилась полиция, пешая и конная. Народ вступился за «Детей Баии»: долой негодяя Шико, долой произвол и запреты. Началась битва, всадники обнажили сабли, стали рубить по головам, топтать конями, и участники афоше растворились в толпе... Крики, стоны, «ура!» и «долой!», избитые люди, сумятица, свалка, кто-то споткнулся, кто-то упал, вот сыщики схватили кого-то из воинов, но народ, понимающий толк и в празднестве, и в драке, отбил его...

Так в первый и последний раз «Дети Баии» провезли по улицам Баии короля Зумби и непобедимых бойцов «Республики Палмарес».

— Задержите вот того мулата! Он всему голова! — крикнул шпик.

Но мулат-всему-голова — Педро Аршанжо — юркнул в переулок и помчался по спуску вниз, а за ним еще двое. Один из них, наверно, был при Зумби секретарем, потому что, кроме набедренной повязки, имел при себе перо, лист пергамента и чернильницу у пояса. Кто же этот писец, как не Лидио Корро? А во втором беглеце по белой коже и по куртке легко было узнать Домингоса Жоржи Вельо, хоть он и потерял в пылу потасовки шапку бандейранта и бороду: в миру звался он Пако Муньос, был галисийцем и содержал кабачок «Цветок Кармо».

Все трое неслись во все лопатки — прямо как чемпионы по бегу, но вдруг Педро Аршанжо, простой воин «Республики Палмарес» и главный заводила, остановился и стал хохотать — громко, добродушно и весело: нарушили-таки несправедливый приказ, состоялся наш праздник!.. Долой деспотизм, да здравствует народ! — гремел его чистый, неумолчный, радостный смех, и пошли все начальники... ура, ура, ура-а-а!!!

### 2

Афоше «Дети Баии» было его последней карнавальной потехой: в 1918 году, через пятнадцать лет после запрещения, афоше были разрешены, но у Аршанжо пропал к ним интерес, да и времени недоставало. Впрочем, по просьбе матушки Аниньи он еще принял участие в подготовке афоше «Африканские весельчаки», когда их славное знамя снова взметнулось над карнавальным шествием в руках Бибиано Кунима, старшего жреца на кандомбле Огуна.

Афоше означает «волшба», потому Педро Аршанжо и явился к главной жрице, грозной Маже Бассан, испросить у нее благословения и совета. Он рассказал ей, что Лидио Корро, Жозе Аусса, Мануэл де Прашедес, Будиан, Сабина и он сам вместе со всеми прочими неугомонными жителями Тороро затеяли вывести на карнавал группу «Африканское посольство», чтобы показать всем тот мир, откуда пришли в Бразилию негры и мулаты.

Матушка Маже Бассан бросила ракушки, чтобы узнать, кто из богов-ориша и демонов-эшу окажет им покровительство. Оказалось, Иеманжа, царица морей, и эшу Аксан. Потом она принесла оправленный в серебро бараний рог. Без него, молвила она, никакое шествие на улицу выходить не должно.

— Вот оно, афоше, — повторила она и отдала талисман Аршанжо.

«Африканское посольство», первое афоше, которое решилось бросить вызов другим группам, лишив рукоплесканий и успеха могущественный «Красный Крест», монументальный «Конгресс Вулкана», «Слуг Эвтерпы» и прочих, впервые вышло на карнавал в 1895 году.

«Послом», церемониймейстером и несравненным хореографом выступил Лидио Корро. По его знаку Валделойр, паренек из Тороро, потряс амулетом и запел:

Афоше лони

Э лони

Афоше э лони э.

Все хором подхватили, двинулись дальше, танцуя:

И лони о имале ше.

«Сегодня у нас волшба, сегодня волшба», — пели они. «Двор Ошала» — тема, выбранная для процессии, — имел такой успех, что уже на следующий год афоше «Африканские весельчаки», созданное анголезцами и помещавшееся в Санто-Антонио-Ален-до-Кармо, присоединилось к нему. Еще через год целых пять групп запели песни негров и мулатов, песни, которые до тех пор звучали только на макумбах. Самба вышла на улицы Баии.

Как же было не запретить афоше, если песни негров, и их круговая самба, и пляски, и батуке, и все магические церемонии пришлись народу по вкусу?!

Газеты выступили против них, потому что «праздник карнавала, праздник нашей цивилизации все более приобретает африканские черты». В первые годы нового века яростная и систематическая газетная кампания разгоралась всякий раз, когда «африканские группы» брали верх над античной Грецией, над Людовиком XIV, над Екатериной Медичи — словом, над всем, что приводило в умиление людей состоятельных и образованных. «Власти обязаны запретить все эти кандомбле и батуке, которые в дни карнавала заполняют улицы, производя оглушительный и безобразный шум, превращая город в Кинту-дас-Беатас или в Энженьо Вельо, где полуголая толпа отплясывает омерзительную самбу. Афоше несовместимы с тем уровнем цивилизации, которого мы достигли», — кричал «Жорнал де Нотисиас», влиятельный орган консервативных кругов.

Но афоше по-прежнему заполняли улицы и площади, будоража народ, который в бешеных ритмах самбы забывал об аллегорических колесницах Больших обществ, об их костюмах времен того же Людовика. Миновало время, когда шествия, организованные аристократическими клубами, приковывали к себе все внимание зрителей и сопровождались бурей восторга. Автор редакционной статьи требовал радикальных мер: «Во что превратится карнавал 1902 года, если полиция не воспрепятствует превращению улиц нашего города в террейро, на которых господствуют африканские фетиши, где устраиваются процессии жрецов-оганов, где гремят ганзы и пандейро?»[[21]](#footnote-21) Но афоше пользовались все большим успехом, все богаче и красочней становились костюмы участников, все громче раздавались звуки самбы и батуке перед театром «Политеама», в Кампо-Гранде, на улице Байшо, на Театральной площади. Афоше шли триумфально: их приветствовали, их награждали рукоплесканиями и даже премиями. Афоше и самба распространялись по Бате как эпидемия. Тогда были приняты крутые меры.

В 1903 году, когда тринадцать афоше негров и мулатов прошли по улицам великолепной процессией («Огласив воздух пронзительными звуками наших инструментов, мы победим соперников и докажем клеветникам, что культура Черного континента — не выдумка» — так начинался один из их манифестов) и карнавал кончился, журналисты посыпали голову пеплом и покраснели от стыда: «Если кто-нибудь станет судить о Баие по карнавалу, он, несомненно, сочтет наш город африканским. К нашему стыду надо сказать, что именно сейчас у нас гостит делегация австрийских ученых, и, разумеется, они не преминут расписать все это в газетах цивилизованной Европы, они только того и ждут». Так куда же смотрит полиция? Что она предприняла «для того, чтобы доказать: Баия — цивилизованный город»? Все эти африканские безобразия продолжают выставляться напоказ, атабаке гремят, колонны цветных всех оттенков — от величественных креолок до изящных мулаток — продолжают отплясывать неистовую бешеную самбу. Сколько еще будет продолжаться это надругательство, эта волшба, это шаманство? Что станет с нашей латинской культурой? Да, мы наследники латинской культуры, и пусть все помнят об этом, а для забывчивых есть полицейская дубинка и плеть.

И в конце концов полиция вступилась за цивилизацию, мораль и семейные устои, за порядок и добропорядочность, защитила оказавшееся под угрозой общество и богатые процессии привилегированных Больших обществ вместе с их аллегорическими колесницами. Были запрещены афоше, самбы, батуке и «выступления групп с африканскими обычаями». Лучше поздно, чем никогда!.. Приезжайте, австрийские ученые, приезжайте, немцы, бельгийцы, французы или белокурые жители Альбиона! Приезжайте, теперь можно!

А приехала Кирси, шведка, впрочем, тут же следует оговориться: не шведка она, как все думали и говорили, не шведка, а финка, пшеничноволосая, удивленная финка. В первый день великого поста, промокшая до нитки и изумленная до крайности, появилась она в воротах Золотого Рынка, и губы ее дрожали от страха. А глаза у нее были бездонной голубизны...

Педро Аршанжо поднялся из-за стола, на котором стояли кускус и бататы, улыбнулся широко, как он умел, и твердыми шагами двинулся прямо к гостье, словно ему поручено было принять ее, и протянул ей руку:

— Выпейте кофе.

Так и осталось неизвестным, поняла ли она, что ее приглашали к завтраку, или нет, но если и не поняла, то приглашение приняла и, присев к столу матушки Теренсии, жадно набросилась на кускус, бататы, сладкую маниоку и пирожки из той же маниоки, только размоченной в воде.

В лавке Миро вспыльчивая Ивона страдала от ревности, бормотала «ах ты, дешевка занюханная», матушка Теренсия потупила печальные свои глаза — кто знает, может быть, они стали в тот миг еще печальней, — а гостья, насытившись, произнесла что-то на своем языке и улыбнулась всем. Негритенок Дамиан, который стоял помалкивал, не выдержал и засмеялся в ответ.

— Ох, до чего же белая! Как будто белилами намазана!

— Она шведка, — объяснил Мануэл де Прашедес, который заглянул к матушке Теренсии выпить кофе и еще чего-нибудь. — Она со шведского парохода, который грузит сейчас дерево и сахар. Мы с ней приплыли на одном лихтере. — Мануэл де Прашедес работал в порту грузчиком. — Это часто бывает: полоумная богатая дамочка захотела мир посмотреть, вот и пустилась в плавание на сухогрузе...

Но Кирси не выглядела ни богатой, ни полоумной, по крайней мере, здесь, в палатке Теренсии: платье ее еще не успело высохнуть, мокрые волосы прилипли ко лбу. Какая там дамочка: девочка, а не дамочка, невинное, хрупкое, нежное дитя...

— Швед снимается с якоря в три, а ей надо быть на борту раньше, она знает: капитан предупредил ее перед тем, как она сошла на берег.

— Кирси, — сказала она, приставив пальчик к груди, и повторила по слогам: — Кир-си.

— Ее зовут Кирси, — сообразил Аршанжо и произнес: — Кирси.

Шведка радостно захлопала в ладоши, подтверждая, потом прикоснулась к плечу Аршанжо и что-то спросила по-своему.

— Ну-ка, мудрец, отгадай загадку, — поддразнил Аршанжо Мануэл.

— Тут, милый, и отгадывать нечего. — И он повернулся к девушке — он понял, о чем она его спрашивала, он ткнул себя в грудь и повторил: — Педро, Педро, Педро Аршанжо Ожуоба.

— Ожу... Ожу... — произнесла она.

То был первый день великого поста. Накануне, во вторник, полиция рассеяла, разогнала, растоптала афоше «Дети Баии», афоше, которое у здания театра «Политеама» хотело отстоять право народа на самбу и на свободу. Одного полицейского Дамиан ухитрился сшибить с лошади и в качестве трофея принес домой его фуражку, но, боясь наказания, не показал ее даже Теренсии. Он побежал достать припрятанное сокровище, а когда вернулся со своей добычей, ни Аршанжо, ни шведки уже не было.

Зато Мануэлу, двухметровому широкогрудому гиганту, который еще накануне был Зумби, королем «Республики Палмарес», фуражка доставила много удовольствия. Вчера вечером он стоял с копьем на афоше и дрался с полицейскими, на рассвете переносил грузы с лихтера в трюм шведского парохода, который ночью стал в бухте на якорь. Мануэл не успел поговорить и обсудить события с Аршанжо, Корро, Валделойром и Аусса: ведь это он начал свалку, он избил нескольких полицейских, а сколько именно, и не помнил, а потом ждал пароход и хохотал от души. Могучей рукой он приласкал Дамиана:

— Лихой парнишка растет!

— Я вот из него эту лихость выбью, — тихо и серьезно пригрозила Теренсия, устремив куда-то неподвижный взгляд.

— Ну, полно, матушка Теренсия! Как же вчера было не подраться?! Ведь мы были правы, а не они! Разве не так?

— Он еще несмышленыш, нечего ему соваться в эти дела.

Несмышленыш? Самый юный из воинов Зумби, лихой боец — вот полицейская фуражка в подтверждение — несмышленыш?! Мануэл захохотал с такой силой, что весь рынок затрясся.

А под дождем шли к Табуану, взявшись за руки, шведка и Аршанжо, шли, не произнося ни слова, — только смеялись.

Какая-то странная тишина воцарилась в палатке. С чего бы это? Мануэл решил продолжить беседу:

— А вы, матушка Теренсия, не были вчера на карнавале?

— Зачем я там? Не люблю я праздники и карнавалы, сеу Мануэл...

— Как зачем? Посмотрели бы на нас, на наше афоше: я был король Зумби, а сынок ваш представлял моего воина! Местре Педро обрадовался бы, если б вы пришли.

— Никому я не нужна, а уж куму моему — меньше всех... У него и так есть кому радоваться, a меня он даже не замечает... Теперь еще вот появилась эта белобрысая с парохода... Лучше уж мне, сеу Мануэл, тихо сидеть в уголку, да и забот у меня много...

Ветер принес издалека обрывки смеха: взявшись за руки, шли песчаным берегом Аршанжо и шведка.

### 3

Они понимали друг друга без слов: они объяснялись жестами и смехом, они зашли в золотую церковь Святого Франциска, и в серую церковь на Ларго-да-Се, и в синюю церковь Розарио-дос-Претос. Траурные привидения, старые святоши, согнутые под бременем языческих грехов карнавала, просили снисхождения и каялись у алтарей. Кто заслужит милосердие господа нашего? Шведка, переходя из церкви в церковь, удивлялась все больше и больше, раскрывала глаза все шире и шире — и крепко держала Аршанжо за руку.

Они ходили по улицам и переулкам; Аршанжо показал ей на закрытые двери «Лавки чудес». Накануне Лидио Корро по случаю праздника выпил не менее бочонка: стало быть, проснуться собирался не ранее вечера. Кирси жестами — много было смеха — спросила Педро, где он живет. Да вот же, совсем неподалеку: окошко его мансарды смотрит на море, а по ночам в него заглядывают луна и звезды. Пять лет назад снял он этот чердачок у испанца Сервино, и еще тридцать суждено ему было прожить там.

По темной крутой лестнице сновали мыши, и когда одна из них, совсем обнаглев, прыгнула на Кирси, шведка так испугалась или так обрадовалась предлогу, что мигом очутилась в объятиях Аршанжо, и он поцеловал ее в солоноватые, пахнущие морем губы, а потом взял, как ребенка, на руки и понес по лестнице наверх.

В мансарде пахло листьями питанги, и бочонок выдержанной кашасы стоял в углу, распространяя аромат старой древесины. А в другом углу Аршанжо устроил что-то вроде алтаря, да только не алтарь это был: вместо изображений святых стояли на нем атрибуты и орудия «посвященных» Эшу, и за Эшу выпивался первый стаканчик кашасы.

Одни говорили, что Аршанжо — сын Огуна, а другие — что сын Шанго, что при дворе Шанго занимал он высокий пост и носил громкий титул... Но когда начиналась волшба, первым, раньше всех, отзывался бродяга Эшу, повелитель всякого движения, а уж потом отвечал своему Ожуобе Шанго, а за ним — Огун, и оказывалась неподалеку царица вод Иеманжа. Первым же всегда был хохочущий Эшу, страшилище Эшу, гуляка Эшу. Конечно, Аршанжо был у демона под покровительством.

Кирси остановилась у алтаря, а потом показала в окошко на шведский корабль. Струя дыма подымалась из его трубы. «Это мой пароход», — сказала она на своем языке, но Аршанжо понял и взглянул на часы: был час полдня, и колокола подтвердили это. И под звон колоколов, без стеснения, но и без вызова, разделась она, разделась естественно и просто, улыбнулась и что-то сказала по-фински, — может быть, то была молитва, а может быть, просто присловье — кто знает?.. Под звон колоколов простерлись они на кровати; день стал клониться к закату, но они не заметили этого.

И вот смолкли колокола, но требовательно загудел пароходный гудок, извещая о скором выходе в море, призывая на борт загулявших в портовых притонах матросов. Клубы дыма повалили из трубы. Взвыла сирена — это на корабле хватились пассажирки. А на чердаке двое стали единым существом, и единый сон сковал обоих. Аршанжо, убаюканный странными, мелодичными звуками чужой речи, неведомой лаской северных стран, заснул, и заснула рядом с ним Кирси.

Они проснулись одновременно: тревожный, требовательный зов пароходной сирены разбудил их. На часах было половина четвертого. Аршанжо, бледный от вожделения, изломанный тоской — как быстро, как мало! — и все уже кончилось! — вскочил на ноги, натянул штаны. Море, корабль, капитан требовали Кирси назад. А она засмеялась.

И потом, поднявшись с кровати, белая, обнаженная, подошла к окну, помахала кораблю на прощание. Рука ее легла на грудь Аршанжо, прикоснулась к его бархатистой мулатской коже, скользнула на поясницу — зачем одеваться? как глупо... Она говорила что-то еще, говорила на своем непонятном языке, но Аршанжо понял, что слова ее были словами любви.

— Гринга, — так отвечал он ей, — если дитя, которого мы зачали сегодня, родится мальчиком, то мальчик этот станет самым умным, самым сильным человеком на свете, королем Скандинавии или президентом Бразилии. А если будет девочка... Ах, если родится девочка, то никто и никогда не сравнится с нею по красоте и стати. Иди ко мне.

Долго еще выл пароходный гудок, зовя пропавшую пассажирку... Дали знать в полицию. В конце концов капитан приказал сниматься с якоря: больше ждать нельзя... Прав оказался судовладелец, когда сказал ему, увидев на палубе путешественницу: «Вы наплачетесь с этой сумасшедшей! Капитан, когда в первом же порту она исчезнет, прошу вас не задерживаться!» В гавани Баии слова хозяина подтвердились.

Скорей, скорей, гринга, скорей, а теперь не торопись... Слились воедино, перемешались слова Аршанжо и Кирси, и слова их были словами любви.

### 4

Сумерки гасят солнечный свет: почти пустая Ладейра-до-Табуан еще не успела опомниться от вчерашнего карнавала. Местре Лидио Корро, склонившись над листом бумаги, рисует карандашом, пишет красками, создает «чудо». Он начал еще до праздника, а кончить надо сегодня, и на лице его, несмотря на усталость и лень, появляется улыбка.

Чудо было великое, достойное обета и благодарности, вот ради благодарности этой Лидио Корро, живописец и гравер, не жалел красок, не щадил себя. Он, правда, мало думал о благодати, о чуде, о небесной милости: он был доволен и улыбался, потому что ему нравилась сама работа — светлая, многоцветная, со множеством искусно расположенных фигур. На картине бежали лошади, стоял Спаситель, рос дремучий лес. Больше всех, однако, нравился ему ягуар.

Кисточка притрагивалась то к одному краю бумаги, то к другому, и зеленел лес, чернело ночное небо, и люди четче выделялись на его фоне. Сцена, изображенная Лидио, полна была пафоса, и мастер уже оканчивал свою работу. Может быть, стоит пририсовать пару молний, разрывающих ночную тьму, — молнии добавят драматизма?..

Когда Лидио Корро, сорокалетний невысокий крепыш-мулат, человек живой и озорной, сел за работу, работа у него сначала валилась из рук. Накануне он крепко перебрал: они с Будианом потеряли счет выпитому на батуке в доме Сабины. С какой-то минуты Лидио уже не помнил, как завершился праздник, как он добрался до «Лавки» и кто ему в этом помог, — он очнулся в два часа дня и увидел, что лежит, не сняв одежды, не скинув ботинок, на своем топчане, на том самом, где спал — один или с очередной подружкой — в глубине мастерской. Мастерская была ему домом: там и кухонька, и вымыться можно в свое удовольствие, а за домом, на клочке земли, Роза высаживала и выращивала цветы... Если бы Роза решилась, какой сад вырос бы от прикосновений ее рук!.. Лидио сварил себе крепкого кофе. Никто не видел на вчерашнем карнавале Розу де Ошала...

Больше всего хотелось художнику снова улечься и заснуть и проспать до вечера, а потом уж отпереть двери, принять друзей и поговорить. А поговорить есть о чем: вчерашние события наверняка обросли невиданными подробностями, слухами и толками. Вчера у Сабины кто-то рассказывал невероятную новость: начальник полиции, доктор Франсиско Антонио де Кастро Лоурейро, прослышав, что негры и мулаты осмелились нарушить его приказ и вывести свое афоше на улицы, внезапно заболел.

Доктор Франсиско Антонио, выходец из знатного и прославленного рода, был человек властный, злой и упрямый: приказы его следовало выполнять беспрекословно, точно и в срок. Он не мог и представить себе, что его ослушаются, что пренебрегут изданным при его посредстве эдиктом, что участники афоше объединятся и продефилируют по улице, да еще не просто так, а устроят оскорбительную для его достоинства свалку. Эта беспримерная дерзость, эта никем не предусмотренная выходка, разумеется, требовала тщательной подготовки, величайшей секретности, времени, денег — словом, организации. Доктор не мог поверить, что на такое неслыханное деяние решилась шайка цветного сброда, здесь следует искать ловкие козни негодяев монархистов или заговор мерзавцев оппозиционеров — видна их рука... Но если это и вправду сделано метисами и черномазыми, то доктору остается только умереть или — что хуже смерти — подать в отставку.

Перед доктором Франсиско Антонио, который был известен отвагой и жестокостью, самые матерые бандиты моментально теряли свой гонор, самые закоренелые преступники готовы были со страху намочить штаны. И вот героический начальник полиции, настоящий «гроза негров», выставлен на посмешище всему городу, опозорен публично, освистан, ошикан, оскорблен — и кем же, кем? Бродягами и уличными мальчишками. Доктор Франсиско Антонио, задыхаясь от ненависти, унижения и уязвленной гордости, ежеминутно ожидая отставки, слег в постель, звал врачей и принимал лекарства.

Рисуя заказанную картину, которая получалась на диво хороша, Лидио Корро дал волю воображению: может быть, в эту самую минуту семейство исполняющего обязанности начальника полиции дает обет спасителю Бонфинскому, чтобы он сохранил доктору жизнь и не допустил его увольнения, и, может быть, еще придется художнику, секретарю короля Зумби, церемониймейстеру афоше, распорядителю танцев, еще придется рисовать лежащего в постели, позеленевшего от бессильной ярости Франсиско Антонио, а душа полицейского будет ныть от самбы и песен на языке наго, а в душе-то у доктора, кроме тщеславия, высокомерия и презрения к простому народу, ничего и нет... Никогда еще не удавалось им лучшей проделки, никогда еще этот самый пресловутый простой народ не отвечал на законы и запреты власть имущих с таким мужеством и благородством. Когда Аршанжо прочел в газете о запрещении афоше, самбы и батуко и предложил устроить эту проказу, даже он, Корро, сказал тогда: «Это невозможно». Но разве в силах кто-нибудь переспорить златоуста Аршанжо, который в один миг приведет целую кучу не кучу, а гору доводов и доказательств? Но и Лидио обязан отвечать за все случившееся: он, Будиан, Валделойр и Аусса, не говоря уж о Педро Аршанжо, заварившем всю кашу, были в этом деле главными заводилами.

Нехотя, лениво взялся он нынче за кисти-краски: как можно участнику карнавала работать в первый день великого поста, в день отдыха?! Но откладывать было нельзя: заказ следовало сдать в четверг, не позднее девяти утра, потому что на одиннадцать часов клиент — некий Ассиз, богатый провинциал, владелец табачных и сахарных плантаций, — уже позвал падре, который отслужит мессу, прочтет проповедь. Плантатор дал настоящий обет, без обмана: он обошелся ему в кругленькую сумму — целый урожай табака уйдет на него, одних только свечей в метр длиной заказал два десятка...

А фейерверк, сеу Корро? А гостиница, в которой уже неделю проживает моя семейка, знаете, сколько у меня домочадцев? И вас приглашаю, после мессы отпразднуем, если будет на то Господне соизволение...

— Дорогой вы мой, я никак не успею к четвергу. Карнавал в самом разгаре, а уж во время карнавала на меня нечего и рассчитывать, да еще в этом году! Если вы так торопитесь, закажите «чудо» кому-нибудь другому.

Но плантатор и слышать не хотел о другом: подавай ему только Лидио Корро — и все тут: имя художника гремело от сертанов до юга: из Ильеуса и Кашоэйры, из Белмонте и Фейры-Санта-Аны, из Ленсоиса и даже из Аракажу и Масейо приезжали к нему заказчики. Ассиз уперся: «Сеу Корро, только вы! Мне говорили, что лучше вас никто не сделает, а я, друг мой, хочу, чтобы все было по первому разряду! Ведь такое чудо, сеу Корро, не безделица какая-нибудь! Это был не ягуар, а просто чудовище! А глаза! Глаза так огнем и полыхали!» Но, если верить сертанцу, спаситель в тот раз превзошел самого себя...

Под печальным, беду предвещающим небом, вынырнув из густого зеленого леса, стоит, готовясь к прыжку, голодный хищник, дикий черно-желтый зверь, он царит над небом и землей, он главенствует и в картине местре Корро: рядом с огромным его телом пигмеями кажутся люди и садовыми кустами — деревья. Сверкают, как вспышки выстрелов, его глаза, полыхают огнем — и вся картина освещена только ими, потому что художник, поразмыслив, от молний решил отказаться — ни к чему они, и без них страшно: завораживающие звериные глаза пронзали тьму и приковывали к месту путников.

Четверо взрослых и трое детей спали на лесной прогалине, когда рев исполинской кошки разбудил их. Лидио изобразил оцепеневших от ужаса людей. Заржали и умчались кони — на картине видны были только их задние ноги... Настоящее чудо, ошеломительное чудо трудно изобразить на картине — вот потому-то и поборол Лидио Корро усталость и лень, потому-то и взялся он за работу, что трудно... А когда легко, тогда неинтересно, тогда вдохновения нет... Лидио Корро — художник, у него есть и гордость и тщеславие. Разве одному только Франсиско Антонио дозволено быть самолюбивым и гордым?!

Не каждый день приходится писать такую картину, не всякий заказ выполняет он со столь великим тщанием. Старательно выводит он внизу буковки: «Великое чудо, свершенное спасителем Бонфинским января пятнадцатого дня в лето 1904, когда Рамиро Ассиз, проезжая из Амаргозы в Морро-Прето вместе с женою, незамужнею сестрою, тремя детьми и нянькой, остановился на ночлег и подвергся нападению ягуара. Они воззвали к Спасителю, и ягуар застыл на месте, не тронул их, а потом исчез».

История эта, уместившаяся в нескольких строчках, может показаться вполне заурядной. Так нарисуй же, местре Корро, волнение, отчаяние, ужас, изобрази мать, едва не потерявшую тогда рассудок, и самого Рамиро Ассиза, а в руках у него — никакого оружия, только ножичек, которым нарезают табак: карабин-то остался у седла!..

Нарисуй, как неслышными, предательскими шагами вышел из чащи ягуар, вышел и двинулся к самому младшему из сыновей сеньора Ассиза, а тот еще и ходить-то не научился и в невинности своей улыбнулся, увидав такую большую кошку... Вот тогда Жоакина, супруга Рамиро Ассиза, мать его детей, испустила отчаянный вопль:

— Господи, спаси мое дитя!

И Господь услыхал ее и подоспел на помощь в мгновение ока. В двух шагах от младенца застыло чудовище, словно удержала его длань Господня. Тогда и взрослые, и дети — все, кроме младшенького, еще некрещеного: он ничего не подозревал и смеялся, довольный, — все хором, в едином вопле воззвали к Господу нашему: «Спаси нас!»

Рамиро Ассиз сулил художнику золотые горы. «Кто этого не видал, местре Корро, тот не поверит! Ягуар повернулся, медленно пошел обратно в заросли и исчез! Мы обнялись! Все говорят, что лучше вас нет художника в Баие. Нарисуйте мне все, что я тут вам рассказал, все как есть!»

Правильно вам сказали, сеу Ассиз, чистую правду! Много художников рисуют «чудеса» в Баие: в одном только квартале между Пелоуриньо и Табуаном живут еще трое, не считая местре Корро, а вот равного ему не сыскать во всей Бразилии, народ провозгласил его лучшим из лучших, а сам Лидио хвастаться не любит и не умеет. «Покумекаю, потружусь для святого, он заслужил».

С особым тщанием отделывал местре Корро фигуру Спасителя: он распят на кресте, но одна его рука указывает на ягуара и на семейство Ассиза. В верхней части картины — там, где и творит Господь свое чудо, — свет одолевает тьму, словно приближается, угадываясь в ночи, заря.

Потом Лидио снова занялся тем, кто был ему больше всего по душе, но никак не желал подчиняться воле художника: ягуар был чудовищных размеров, пятнистый, свирепый — все как полагается, и глаза горели, но вот пасть — пасть улыбалась! Чего только не придумывал художник, чтобы уничтожить эту улыбку, убрать нежность — он сделал обыкновенного ягуара из сертана ростом с тигра и страшным, как дракон, — ничего не помогало, это было выше его сил, ягуар, невзирая на все старания художника, улыбался, улыбался, и становилось ясно, что тайный договор заключен между лесным страшилищем и младенцем, что они давно друг друга знают и дружат с незапамятных времен. В конце концов Лидио сдался и поставил в углу свою подпись. Красной краской обвел он картину, белилами вывел свое имя и адрес: «Местре Лидио Корро, „Лавка чудес“, Табуан, дом № 60».

И вот в предвечернем тускнеющем свете, в лиловатом отблеске наступающих сумерек любуется местре Корро, искренне и взволнованно любуется своим творением: хорошо получилось, красиво. Еще один шедевр создан в его мастерской, в «Лавке чудес» (если бы Роза уступила, мастерская стала бы называться «Лавка Розы и чудес»), где изо всех сил борется скромный, но в совершенстве знающий свое ремесло мастер. А ремесло его — не только рисовать «чудеса» для тех, кто дал обет: спросите любого, кто такой Лидио Корро, сколько всякой всячины придумывает он и делает. Впрочем, не в одиночку: их двое. Лидио Корро и Педро Аршанжо — они неразлучны, они почти всегда вместе, а когда они вместе, их не одолеть никому. Кумовья, братья, больше чем братья: они близнецы, они срослись воедино, они как два эшу носятся по городу. Не верите — пойдите в полицию, спросите у доктора Франсиско Антонио, он подтвердит!

Пятясь, отходит Лидио от картины, чтобы взглянуть на нее издали. Мало света, опускается вечер...

— Красиво, — слышен вдруг голос Аршанжо, — будь я богат, каждую бы неделю заказывал тебе по «чуду». Висели бы они на стене, как захотел — так и посмотрел.

Художник повернулся, улыбнулся в темноте и заметил девушку, фарфоровую, светящуюся белизну ее лица.

Совсем ребенок!

— Кирси, — представил ее Аршанжо, и видно было, что он счастлив.

— Очень приятно, — ответил Корро и протянул руку. — Входите, будьте как дома. Скажи ей, чтоб села, а сам зажги свет.

Он не удивился появлению неожиданной гостьи-иностранки. Повернул картину к свету и долго-долго смотрел на нее, словно хотел запомнить навсегда. А из-за его плеча смотрела на картину высокая и стройная гринга, смотрела, и восхищалась, и радовалась, и хлопала в ладоши, и что-то восклицала на своем непонятном языке. Теперь все в сборе — не хватает только перелетной птички Розы... Кто знает, вдруг появится она сейчас? В «Лавке чудес» все может случиться. И случается.

### 5

Днем там постоянно толчется народ, а к вечеру его становится еще больше, и, как только погаснут лампы, извещая о начале представления, люди нетерпеливо ждут обещанного. Потом остаются лишь ближайшие друзья, и разговор идет обо всем на свете.

Даже в великопостный четверг после карнавала нет отбоя от тех, кто желает посмотреть волшебный фонарь, установленный на кухне. Кто придумал этот недоразвитый кинематограф, Лидио или Аршанжо? Неизвестно, но уж наверно Лидио вырезал из толстого картона эти плоские фигурки, а Педро, должно быть, заставил их двигаться, сочинил им забористый, крупной солью сдобренный текст.

Гасится свет, только тускло поблескивает огонек лампы в черном сукне, и на беленной известью стене появляются тени озорных и наивных персонажей. Все очень просто и бедно и стоит двадцать рейсов с человека. Приходят сюда старики и молодежь, богатые и бедные, поденщики, матросы, торговцы, в темноте прокрадываются посмотреть и женщины.

И вот на белой стене два неразлучных дружка, Толстячок и Лысый, клянутся в вечной дружбе, целуются и обнимаются, но выходит на сцену шумная Лили-Соска — и к черту летит вечная дружба. Оба оспаривают прелестницу и награждают друг друга зуботычинами, пинками, оплеухами, затрещинами, и драка эта вызывает восторг у публики.

А дальше события развиваются еще хлеще: Лысый, одолев соперника, набрасывается на Лили, валит наземь и вот-вот уже добьется своего... Зрители в полном восхищении: стремительно приближается блаженный итог стараний Лысого. Но это еще не конец развлечению, главное впереди — не зря же тут берут за вход двадцать рейсов. В самый разгар любовных утех Толстячок, оправившийся от поражения, алкая мести, принимает участие в представлении, а Лысый так занят своим делом, что замечает соперника, только когда тот уже его оседлал...

Спектакль окончен, зрители весело расходятся, а через некоторое время придут новые. Волшебный фонарь работает с шести до десяти. Вход — двадцать рейсов, это недорого.

### 6

Часто бывает, что Лидио Корро, искусно и старательно выполнив заказанную работу, не хочет расставаться с ней, не желает отдавать ее клиенту, а мечтает оставить у себя и повесить на стенку. Ну не все, так хоть самые удачные... Но висит в «Лавке чудес» только одна картина.

Изображает она иссохшего, бледного, тощего человека в последней стадии чахотки. А спасся он от смерти потому, что, когда уже началось у него кровохарканье, родная его тетка, не верившая в медицину, но очень почитавшая Пречистую, обратилась за помощью к Богородице Кандейанской и ей вверила судьбу племянника, который уже захлебывался кровью.

Тетка болящего лично явилась заказывать работу. Была она толстой, упоительно говорливой — куда там Ассизу с его ягуарами! — и очень еще ничего из себя. Мануэл де Прашедес, присутствовавший при встрече художника с заказчицей, так и впился в нее взглядом — нравились ему толстые женщины. «Я люблю мясо! Кости пусть собаки грызут, хотя попробуй дать дворняге добрый кус окорока или там, скажем, ростбиф — увидишь, что будет!..»

Тетка, удостоенная небесной милости, очень гордилась чудом: она стала доказывать преимущества Пресвятой Девы перед медициной и хвастаться, в каком она фаворе у Богородицы. Мануэл де Прашедес сообщил ей, что и он очень почитает Деву Марию и ежегодно, дождь ли на дворе или вёдро, отправляется на праздник в Кандейас. Пречистая не подведет!

Заказчица пококетничала с Мануэлем, а художнику предложила задаток в виде половины условленной суммы — и тут Лидио очень повезло, потому что больше клиентка не появилась. Говорили, что новый приступ кровохарканья Пречистая не остановила, а почему — неизвестно: видно, были у нее на то серьезные причины. Просвещенное мнение Розенды Батисты дос Рейс, которой Лидио поведал всю эту историю, было таково: Пресвятая Дева оскорбилась, что толстуха и грузчик всуе упоминают ее имя, а сами тем временем завели флирт, и покарала их, оставив чахоточного племянника легкомысленной тетки на произвол судьбы. Суждения Розенды всегда были разумны, слов на ветер она не бросала, в чудесах и обетах разбиралась.

На картине в мрачно-торжественных тонах изображена была унылая комната, тесная и сплошь залитая кровью. Умирающий — обессиленный, обескровленный человек — полулежит на холостяцкой кровати: живые мощи, восковое лицо, и ясно, что он долго не протянет. Рядом стоит веселая и набожная тетка — юбка в цветочек, красная шаль, — смотрит на Пресвятую Деву и молит о сострадании к мукам больного. Кровь заливает постель, простыни, растекается по полу, захлестывает небо, а чуть поодаль от этой кровавой лужи стоит фаянсовый ночной горшок, расписанный зелеными, розовыми и красными цветочками — такими же точно, как на юбке. Должно быть, этими цветочками местре Корро хотел смягчить чересчур мрачный колорит картины, оставлявшей у каждого угрюмое ощущение безнадежности и смерти... «Ах, дорогая моя, посмотрите на полотно, взгляните в лицо страдальцу — и вы поймете, что никакие святые ему уже не помогут...»

Чуда не произошло, Пречистая не сжалилась, а картина так и осталась висеть на стене между раскрашенной гравюрой и изображением святого Георгия на белом коне, который попирает огнедышащего дракона, и плакатом «Мулен Руж» — на плакате стояла подпись Тулуз Лотрека, и француженки со вздернутыми юбками, показывая бедра, подвязки и кружева, отплясывали канкан... Каким ветром занесло к Лидио этот плакат?

Ах, до чего ж хотелось ему оставить у себя хоть некоторые работы — самые красивые, те, что труднее всего дались, что написаны так искусно и старательно! Да как оставишь, когда деньги нужны? Деньги, много денег, и срочно! Корро откладывал, относил еженедельную выручку в банк сеу Эрвала в Нижнем Городе: типография, пусть хоть самая завалящая, стоит кучу денег...

Иметь собственную типографию было его единственным желанием, и скоро желание это осуществится... Да, единственным, потому что любви Розы де Ошала не добьешься никакими деньгами, никакими трудами, — так и останется эта женщина недостижимой мечтой... Для этого нужно, чтобы, объединив свои усилия, сотворили бы величайшее чудо и Господь наш, спаситель Бонфинский, и святая Дева Кандейанская — оба разом, да еще, наверно, пришлось бы дать обет и Ошолуфану, Ошала-старцу, главному над всеми богами.

### 7

Вот оно чудо, любовь моя: пляшет Роза де Ошала — белая верхняя юбка необъятной ширины и семь нижних юбок, голые руки и плечи под кружевом, ожерелья, браслеты, бисерные бусы, — пляшет и смеется диким своим смехом. Чтоб рассказать про Розу, Розу де Ошала, Розу-негритянку, чтоб описать, как веет от нее ароматом ночи и запахом самки, как блистает ее шелковая, нежная, словно лепесток, иссиня-черная кожа, как бренчат ее серебряные браслеты, как полна она глубинной гордой силы и красоты, как томно сияют ее колдовские глаза — для всего этого надо быть великим поэтом, растрепанным рапсодом, а бродячий певец-гитарист с соседней улицы, хоть и ловко складывает семистопные частушки, тут не справится, нет, не справится!..

Шла однажды Роза, разодетая для праздника, по улице, в «Белый дом» направлялась, пятница была, потому и купила она белого козленка, чтобы принести его в жертву отцу Ошолуфану. А из окна богатого особняка глядели, как несет Роза дар божества, как идет она во всей царственности и великолепии — все на ней новехонькое, — а каблуки ее отстукивают мелодию, и тянется она за нею следом, а в волосах у нее роза, бедра качаются, как волны в час прилива, солнце блестит-отражается на полуоткрытой груди, — так вот, глядели на нее из окна двое важных сеньоров: один уже сильно в летах, а другой совсем молоденький.

И оба вздохнули, и тот, что был помоложе — изнеженный барчонок, рахитичный неженка-хвастун — такие рождаются, только когда спят кузины с кузенами, чтоб не испортить породу, — сказал, запинаясь: «Вот это женщина, полковник! Все бы на свете я отдал, чтобы согрешить с нею!» А старый фазендейро — был он когда-то могучим деревом, стремительным речным потоком, неукротимым жеребцом — отвел глаза от удалявшейся негритянки, взглянул на миловидного и малокровного, хилого и унылого вырожденца и ответил ему так: «Эх, доктор! Такая женщина требует сноровки и силы: ни твоей леечкой, ни моим подгнившим суком с нею не совладаешь! Я для нее — староват, а ты — слабоват...»

Берет Лидио Корро флейту, будит мелодией звезды, гитарным перебором ищет Педро Аршанжо, луну в небесах, подносит ей, Розе, — ничего для нее не жалко, ничего для нее не слишком, и о Розе рождается в «Лавке чудес» самба, и плачет-заливается флейта о любви...

Роза всегда приходит нежданно-негаданно и так же уходит — вдруг пропадает по неделям и месяцам, и никто не знает, где она. Точна она, только когда выполняет обряды кандомбле — не все, правда, и не всякие, — когда принимает Ошала в «Белом доме», когда причаливает туда челн Огуна. Неожиданна она всегда и во всем — и лишь в кругу жриц на больших празднествах застанешь ее непременно.

Вот появится на целую неделю — с понедельника до субботы, придет раньше всех, уйдет на заре, будет весела, будет смеяться, и напевать, и перебрасываться с Корро шутками-прибаутками, и на его руку опираться, и на его плечо склонит голову — нежная возлюбленная, заботливая хозяйка — все приберет и вычистит, — и думает Лидио, что она решилась и пришла навсегда; вот она — любовница, подруга, законная жена, вот она — его женщина. Но чуть только покажется все окончательным и надежным, как она исчезает, пропадает, не дает о себе знать месяц или два, и уходит тогда из жизни радость...

Когда больше года тому назад вдруг, внезапно, неведомо почему случилось это чудо, Лидио Корро, который давно уже собирался с духом, захотел немедля оформить их связь и заявил Розе прямо и без экивоков: «Собирай-ка свои вещички да перебирайся ко мне!»

...Они возвращались тогда с какого-то праздника, и Лидио предложил проводить ее: дорога была пустынна и опасна, а она попросила показать ей волшебный фонарь, о котором столько шло разговоров, и до слез смеялась над Лысым Зе, и, выпив стакан алуа, без принуждения, сама, с жадной страстью отдалась Лидио — видно было, что нуждалась она в его любви. Три дня и три ночи не покидала Роза мастерскую, навела в ней порядок и чистоту, распевала песни, а Лидио смеялся от счастья... Но стоило ему упомянуть о переезде — вмиг сделалась она холодной и суровой и вот какую горькую угрозу произнесла: «Никогда не говори об этом, никогда, а иначе больше меня не увидишь! Если ты любишь меня, если я тебе по сердцу — не противоречь, согласись, чтобы я приходила когда захочу, когда будет на то моя воля. Ни о чем я тебя не прошу, об одном прошу: не лезь в мою жизнь, не следи за мной, не ходи за мной. Если же не выполнишь моей просьбы, клянусь, больше ты меня не увидишь!» Сказано все это было так, что спорить не приходилось, и Лидио согласился: «Чтобы тебя любить, чтоб на тебя смотреть, я готов жабу съесть и змеей закусить...»

И он выполнил свое обещание: ни о чем не спрашивал, не слушал ни сплетен, ни намеков, а наверное никто ничего о Розе не знал. Жила она в хорошем доме на Баррис; перед домом — сад, в саду — цепной пес, на окнах занавески, ничего худого за домом этим не замечалось. Среди цветов гуляла нарядная девочка, играла с собакой; ну и девочка, ну и мулаточка — точно маленькая святая — смуглая прямоволосая дочка Розы.

Одна только Маже Бассан знала, чем и как живет Роза, но тайну эту она надежно хранила в своей необъятной груди. У жрицы, у «матери святого», и должны быть такие вот огромные груди, чтобы вместились в них все скорби и разочарования сыновей и дочерей, чужаков и чужеземцев: в них, как в ларцах, хранятся надежды и мечты, печали и обиды, в них, как в сундуках, лежат любовь и ненависть.

Одна только Маже Бассан, грозная и нежная мать, знает о Розе и о жизни ее, а прочее — вздор. «...Она живет с богачом-белым, не то бароном, не то графом, не то герцогом из знатнейшего рода, — это он отец ее ребенка...»

«...Она в церкви повенчана и в книге записана с португальским купцом, и от него родила девочку...» — все это бабьи сплетни, досужие вымыслы, болтовня кумушек — словом, клевета. Лидио ни о чем не спрашивал, да и не хотел спрашивать.

Придет веселая и лукавая Раза — вот и все, а больше ничего не надо, и кому какое дело до остального! Она поговорит с ним, она ему споет, она для него станцует... Роза поет, и низкий голос ее — это голос ночи. Роза окутана сумерками, еле-еле освещает ее скудный свет в «Лавке чудес» — там плачет-заливается флейта Лидио. Для кого она танцует? Для кого изгибается ее тело, покачиваются бедра, для кого томно сияют ее глаза? Для Лидио, для многолетнего и случайного возлюбленного? Для того — богатого или знатного, — которого нет здесь, для неизвестного никому мужа, любовника, отца ее ребенка? Для Аршанжо?

Вот истинное чудо, любовь моя, — Роза поет древнюю песнь, и слышится в ней обещание, лукавство, насмешка:

Пойдем, пойдем на Праса-да-Се,

В дом матушки Тете...

Кайумба.

Умирает от страсти местре Лидио Корро, играет на своей флейте, и надрывается от страданий его душа. Да, Роза, чтобы хоть изредка обладать тобою, съел бы он и жабу, и ящерицу, и гремучую змею... Танцует перед ним Роза, танцует и поет, отдается и отталкивает, танцует перед ним, но ведь он не один: рядом Педро Аршанжо, а о том, какой его сжигает огонь, знать не должен никто, а уж меньше всех — Лидио, ну а Роза — и подавно... Нахмурены его брови, словно из камня высечено его лицо, ничего на нем не прочтешь. Эту загадку не отгадает и Маже Бассан. Нет ключа к этому замку́.

Хлопают в такт красотки, кружится самба, звучит флейта, громче звенит гитара. У каждого — своя тайна, свое томление, своя мука. У ног Педро Аршанжо, прижавшись к нему, сидит белокожая и белокурая шведка Кирси. А рядом стоит Сабина дос Анжос, из всех ангелов — самая красивая, как говорит о ней местре Педро, живот ее вздут, скоро ей рожать, но, несмотря на беременность, без устали плясала она накануне, да и сейчас врывается в круг, где уже вертится Розенда Батиста дос Рейс из Муритибы, колдунья и ворожея. На празднестве Ошосси простерлась она у ног Ожуобы, он поднял ее и, поднимая, дотронулся кончиками пальцев до тугих ее грудей. А вот стоит рядом со стулом Педро гибкая и стройная, как тростник, Ризолета: в ее жилах кровь белых людей смешалась с кровью племени мусурумин, на губах ее расцветает улыбка: однажды на площади, на Ларго-да-Се, за церковью, повстречала и познала она Педро Аршанжо.

Но только одна из них из всех ревнует Педро к приплывшей из-за морей чужестранке — та, в чьих объятиях не был он ни разу, та, чьи губы им не целованы никогда... Только одной из всех жжет сердце ненависть, только одна из всех желает смерти белокожей гринге и всем прочим, независимо от цвета их кожи... Это Роза де Ошала — груди ее прыгают под кружевом, бедра мечутся под семью юбками, — это Роза де Ошала, что пляшет перед двоими. Вздыхает и улыбается Лидио: скоро, совсем скоро обнимет он ее. Замкнут и загадочен Педро Аршанжо.

Вот оно чудо — чудо, сотворенное спасителем Бонфинским, богородицей Кандейанской, богом Ошала, — это Роза, Роза, что танцует и поет в невеселую, загадочную ночь в «Лавке чудес».

### 8

Ужасный сон, кошмарный сон приснился Педро. В порту, в раскаленных и ледяных — как лихорадка — песках пустыни видит он себя: сердце его открыто всем напоказ, готов он для любовной схватки, да только он теперь — не он, а Лысый Зе, Лидио же превратился в Толстячка. Под звуки гитары и флейты обнимаются они, клянутся в вечной дружбе.

И приходит Лили, нет на ней ни кружевной блузы, ни верхней юбки, ни семи нижних — только ожерелья, бусы, браслеты. Нагой стоит перед ними Роза де Ошала, иссиня-черная негритянка, нежная, как роза, нежен и густ ее голос, нежен и густ аромат ее тела... А ночи не видно конца, и ночь вызывает озноб, и небо высоко над головой. Пляшет Роза перед ними, пляшет, не стыдясь ничего и ничего не тая, и вот уже стали друзья соперниками и врагами — до краев налиты они теперь ненавистью, не на жизнь, а на смерть схватываются они — в кавалерийские палаши превратились гитара с флейтой. За углом пакгауза дерутся они, — падает в волны безнадежно мертвое тело Толстячка Лидио. Когда умирает брат, солнце встает в ночи, солнце согревает белый и холодный, как известка, песок, и в последний раз простонала что-то флейта.

Вот теперь бери Розу, овладей ею, падай со своей добычей в песок... Педро Аршанжо, мокрый от пота, чувствуя лихорадочный жар и холод, от которых теснит грудь, в тоске и отчаянии поборол сон, но уже поздно, погибла дружба у ног искусительницы.

Роза! Нет мне дела ни до богатого, ни до знатного! И дворянину, и бакалейщику наставил бы я рога с большим удовольствием. Но ты пойми меня, Роза, пойми и не смотри так: если бы родился Лидио у моей матери от моего отца, и то не был бы он мне братом больше, чем есть, и то не требовалось бы от меня большей верности и преданности.

Не будет этого, не может быть! Пусть лучше я умру от любви, пусть разорвется мое сердце, пусть я буду шататься из притона в притон, мыкаться от одной женщины к другой, отыскивая в каждой твой ночной вкус, твой аромат — и всегда напрасно! — в каждой стараясь отгадать твою загадку — и всегда впустую!

Роза, ведь мы же не куклы, не тени волшебного фонаря! Есть у нас и стыд, и честь! Роза, ведь мы же не погрязнем в мерзостях свального греха! Мы не животные, мы не преступники, что хуже животных. Да, Роза, как раз такими словами описал нас один профессор, ученый доктор медицины: «Вырождающиеся метисы-полукровки, погрязшие в мерзостях свального греха». Но ведь это ложь, Роза, этот ничего не знающий всезнайка оклеветал нас!

Последним усилием разрывает Аршанжо пелену сна, открывает глаза. В море рождается утро, отчаливают рыбачьи баркасы. Шведка Кирси сотворена словно из жасмина и источает нежное, рассветное благоухание. Черный мальчик побежит по снегу. Тонет где-то вдали образ обнаженной Розы.

Я забуду тебя с этой чужестранкой, я забуду тебя с Розендой, Сабиной, Ризолетой, со всеми остальными, я освобожусь от муки и тоски. Освобожусь? Забуду или стану искать, безнадежно искать в каждой из них тебя, Розу де Ошала? И в жасминах, и в пшенице тосковать по твоей черноте? В каждой из них, Роза де Ошала, будет твоя неразгаданная тайна, твоя запретная вечная любовь.

### 9

На углу Ладейра-до-Табуан помещалась всем известная цирюльня старого Эмо Корро: там он брил клиентов, пользовал их от разных недугов, рвал зубы. Ремеслу своему обучил он и сыновей — Лукаса и Лидио, но Лидио вскоре забросил бритву и ножницы. Его крестный, печатник Кандидо Майа, устроил мальчика в Школу искусств и ремесел, и Лидио, отличавшийся живым умом, заинтересовался новым делом и вскоре превзошел всю премудрость: за короткий срок из подмастерья-ученика стал настоящим мастером.

Тут и свела его судьба с человеком странным, угрюмым и одиноким, а звали этого человека Артур Рибейро. Он только недавно вышел из тюрьмы, и устроиться на постоянную работу ему было нелегко. Кандидо и еще кое-кто из старых его приятелей давали ему подзаработать в училище: Артур, гравер по дереву и металлу, не знал себе равных по всему Северу. В 1848 году они втроем — он, один ливанец и русский — открыли подпольную мастерскую, и невозможно было отличить фальшивые ассигнации, изготовленные Артуром, от подлинных банкнотов, отпечатанных в Англии.

Дело процветало, и даже слишком: Рибейро печатал фальшивые деньги, ливанец и русский их продавали, и все шло прекрасно, товар их пользовался большим спросом. Так бы они и жили, если бы ливанец не наделал глупостей, не стал шиковать: женщины, шампанское, собственный выезд... Настали черные дни — тайной печатней заинтересовался комиссариат полиции. Артур и Махул-ливанец попали за решетку, а русский, набив чемодан ассигнациями — правительственными, подлинными, — успел вовремя удрать, никто никогда его больше не видел.

Артур, человек хмурый, неразговорчивый, так и не оправившийся от пережитого позора, привязался к смышленому пареньку, который к тому же хорошо рисовал, и научил его писать «чудеса» — они под конец жизни скрашивали Артуру существование, — резать по дереву гравюры — только по дереву, а не по металлу: в тюрьме дал он зарок не брать в руки медных пластинок. Однажды, подвыпив и разоткровенничавшись, рассказал он Лидио, что осталось у него одно-единственное желание: своими руками убить того негодяя, который заранее знал о намерениях полиции, но и не подумал предупредить товарищей, а смылся со всеми деньгами.

Смерть брата заставила Лидио снова взяться за бритву, ножницы и зубодерные щипцы. Отец сильно сдал, состарился и спился: кто-то должен был кормить старика и его третью жену, восемнадцатилетнюю девчонку Зизинью. Руки у отца дрожали, глаза почти не видели, слух ослабел, но с самым главным пока все было в порядке: «На нее меня хватит», — говорил он, знакомя сына с молодой женой.

В школе и на улицах Баии Лидио познакомился не только с тем, как печатают книги, рисуют «чудеса» и режут гравюры по дереву; он выучился танцам и азам музыки, овладел искусством игры в шашки, триктрак и домино. Больше всего любил он флейту. В облаках Лидио не витал, был сообразителен и ловок, предусмотрителен и практичен.

Какое-то время он стриг и брил, рвал зубы, торговал разными снадобьями: змеиным ядом, тертыми трещотками гремучей змеи, домашней микстурой из агриана (нет лучше средства от чахотки), чудодейственной корой, настоем капуавы (чтобы вернулась мужская сила), толчеными ящерками (против астмы). Потом он повстречал своего однокашника Педро Аршанжо, который был на восемь лет его моложе и так же предприимчив и любопытен. Аршанжо, как и Лидио, был мастер на все руки: засиживался в типографии, силен был по части чтения и письма, изучал грамматику, арифметику, историю и географию, замечательно писал прошения: хвалили его и за почерк, и за выдумку.

Однажды он исчез, и несколько лет не было о нем ни слуху ни духу. Единственный родной ему человек — мать — умерла, отца ему узнать не довелось: отца угнали на войну с Парагваем, когда Нока еще носила Педро под сердцем, и сгинул он в болотах Чако, так и не узнав о рождении первенца.

А не было о нем ни слуху ни духу оттого, что отправился Аршанжо бродить по свету: где только он не побывал, чему только не научился. Все перепробовал: был юнгой, официантом в баре, подручным каменщика, помогал тупоумным португальцам писать на родину тоскливые письма. Немало повидал он, и всюду с ним были книги и женщины. За что так любили они его? За то, должно быть, что от рождения был он наделен нежностью и удивительным красноречием: последнее действовало не только на женщин, — стоило только ему заговорить, как все вокруг замолкали и слушали его, мальчишку еще, со вниманием.

Когда он вернулся из Рио, ему шел двадцать второй год, был он щеголем, играл на гитаре и кавакиньо. Он нанялся в типографию Дос Фрадес, а через несколько месяцев, в канун праздника богоявления, познакомился с Лидио Корро: оба увлеченно репетировали танец пастухов — дело непростое. С того самого времени стали они неразлучны, и вскоре цирюльня Корро преобразилась до неузнаваемости.

Прошло три года после их встречи; освободился нижний этаж дома № 60 по Ладейра-до-Табуан, и Лидио снял его и, тщательно вырисовывая каждую букву, — а все буквы были разного цвета, — сделал вывеску: «Лавка чудес»; «чудеса» к тому времени стали для него основной статьей дохода.

Название выбрал Аршанжо. Из типографии он уже уволился и теперь обучал грамоте и счету нерадивых школьников. Аршанжо и Лидио Корро отныне работали бок о бок и делили поровну и труд, и забаву. Большую часть скудного своего заработка Лидио откладывал, потому что задался целью купить у сеу Эстевана дас Дореса типографию, где тот набирал и печатал разные истории, песенки, куплеты, частушки и прочую рыночную литературу, а обложки этих тощих книжонок украшали гравюры Лидио. Сеу Эстеван, старый ревматик, одряхлел, еле таскал ноги, и договорились они, что как решится он уйти на покой, так и продаст Лидио в рассрочку свое дело.

А покуда не было еще ни типографии, ни заказов, стала «Лавка чудес» душою всех тех кварталов, где мощно и напряженно бурлила жизнь народа, — тех кварталов Баии, что простерлись от Ларго-да-Се и Террейро Иисуса до Портас-до-Кармо и Санто-Антонио, охватив Пелоуриньо, Табуан, Масиэл Верхний и Масиэл Нижний, Caн-Мигел и Байша-дос-Сапатейрос вместе с рынком Иансан (или, как еще называли его люди образованные, рынком Святой Варвары).

Нелегким трудом достаются местре Лидио Корро денежки: он режет по дереву гравюры, пишет «чудеса», продает целебные снадобья, рвет зубы у охающих от боли страдальцев, показывает тени волшебным фонарем.

Но там же, в той же комнате, обсуждается и решается множество всяких дел. Вот рождается мысль, становится планом, воплощается в жизнь на улице, на празднике, на террейро. Там же обсуждают выдающиеся события, иерархию жрецов, «отцов» и «матерей» святых, главные песнопения, волшебные свойства растений, заклинания, обеты и волшбу. Там составляются терно волхвов, карнавальные афоше, там основывают новые школы капоэйры, там договариваются о празднествах и приглашают на годовщины, там принимают надлежащие меры, чтобы вымыты были полы в церкви, чтобы не осталась без подношений Иеманжа — Мать Вод. В «Лавке чудес», словно в сенате, собирается многочисленное избранное общество — нищая знать. В «Лавке чудес» сходятся и беседуют жрецы разных божеств, грамотеи и сантейро, певцы, плясуны, мастера капоэйры, мастера-ремесленники — каждый славен в своем деле.

Вот в это-то самое время и начал Аршанжо — было ему тогда лет двадцать с небольшим — записывать всякие истории, происшествия, случаи, имена, даты, никому вроде бы не интересные мелочи — словом, все, что имело отношение к жизни баиянского простонародья. Зачем он делал это? Кто его знает? Педро Аршанжо был человек, сведущий во всем, — недаром еще в юном возрасте занял он высокий пост на террейро бога Шанго, был посвящен, вознесен и предпочтен многим и многим, опередил старых, мудрых и уважаемых людей, стал Ожуобой. Тридцати еще не исполнилось ему, когда удостоился он почетнейшего этого титула, принял на себя все сопряженные с ним права и обязанности. Раз Шанго выбрал Аршанжо, значит, так и надо: Шанго виднее.

И бежит по улицам Баии, по всем тeppeйpo такой слух: должно быть, сам ориша Шанго велел Педро все видеть, все знать, все записывать. Для того и сделал он его Ожуобой, всевидящим своим оком.

В 1910 году — стукнуло Педро тридцать два — он был назначен педелем медицинского факультета и быстро прославился в среде студентов, обучая их на скорую руку азам науки. Устроила его на это место всемогущая Маже Бассан, грозная жрица, которую побаивались даже высокопоставленные чиновники. Знакомства и связи у ней были огромные; частенько, услыхав громкое имя кого-нибудь из сильных мира сего — политического деятеля, предпринимателя или даже католического священника, — произносила она как бы про себя: «Это мой человек...» А Педро Аршанжо отдавалось предпочтение перед всеми — молодыми и старыми, богатыми и бедными; он был первым и главным.

### 10

Появилась новая «утренняя звезда», истинная и настоящая: Кирси репетирует танец для карнавала. Предшественница ее, Ирена, вышла замуж за часовщика и уехала с ним в Реконкаво, и хорошо сделала, потому что в противном случае остался бы городок Санто-Амаро-да-Пурификасон со всеми сахарными заводами без часов и без минут: часовщик, будучи проездом в Баие, чуть с ума не сошел, когда увидел на карнавале Ирену...

Под звуки лундуна[[22]](#footnote-22), старательно выполняя приказы церемониймейстера Лидио Корро, движутся по залу пастушки. Впереди всех — Кирси, и взгляд ее ищет взгляда Аршанжо, одобрительной его улыбки. Смотрит Педро и на трепещущую грудь юной Деде, которая идет в танце следом за Кирси. Она совсем еще молоденькая, и как ей хочется в первый раз показать свое искусство!..

Сбереги ослицу

От ночной росы!

Из бархата седельце,

Попонка из тафты!

Сияющая Кирси, Кирси — «утренняя звезда», только на репетициях и танцевала, а на карнавале ее не было, не увидит ее народ Баии на празднике. Пришел пароход и увез ее на родину. Пробыла она в Баие полгода. Считали ее шведкой, и только немногие знали, что она финка. Все полюбили Кирси, приняли как свою.

Когда судно отшвартовалось, она сказала Аршанжо на ломаном португальском языке с моряцким своим выговором: «Мне пора. Под сердцем у меня — наше дитя. И хорошему приходит конец: счастье не может длиться вечно; если хочешь сохранить его навсегда, надо уметь вовремя с ним расстаться. Я увожу с собой твое солнце, твою музыку, твою кровь. Где я буду, там и ты со мною будешь, ежеминутно со мной. Спасибо тебе, Ожу».

Мануэл де Прашедес переправил ее на судно, и в полночь «купец» снялся с якоря. В звездной тени стоит Педро Аршанжо — как из камня высечено его лицо. У выхода из гавани, перед воротами в океан, пароход загудел. «Я не прощаюсь. Бронзовокожий мальчик, мулат из Бати, будет бегать по снегу...»

У самой кромки прибоя задорно напевает Деде:

Жажда мучит, глотку сушит,

Дай глотнуть, красавица,

Я бы выпил и отравы,

Чтоб тебе понравиться.

Там, за островами, держит курс на холодный Север, в страну туманов и бледных звезд, серый сухогруз, увозит он «утреннюю звезду». Деде старается развеселить Педро, хочет, чтобы рассмеялись молчаливые уста, ожило окаменевшее лицо. Новой звездой станет Деде: нет у нее ни золотистой гривы летящей кометы, ни сияющего кольца-ореола, но зато есть жар тропиков, бледно-смуглая кожа, и веет от нее ароматом лаванды.

«Нет на свете людей лучше вас, нет народа милее и приятней, чем народ Баии — народ со смешанной кровью» — так сказала в «Лавке чудес» шведка Кирси в час прощания с Лидио, Будианом и Ауссой. Она приехала издалека, она жила среди них, она узнала этих людей по-настоящему: если уж говорит, значит, знает, значит, нет у нее сомнений. Так почему же доктор Нило Арголо, профессор судебной медицины, председатель научного общества, наставник юношества, ученый, книжный червь, написал тогда о метисах Баии вот эти ужасные слова, строчки, раскаленные злобой добела?

Само название доклада, прочитанного на научном съезде и перепечатанного потом в медицинском журнале, уже позволяло судить о его содержании. А название это было такое: «Баия как пример психосоматической дегенерации народов со смешанной кровью». Господи, откуда только взял профессор такие вот, например, категорические утверждения: «Главным тормозом нашего развития, основной причиной нашей неполноценности являются лица со смешанной кровью — метисы, ни на что не пригодная субраса». Ну, а негры, по мнению Нило Арголо, вообще не достигли уровня людей: «Где, в какой части света смогли они создать государство, хотя бы отдаленно напоминающее цивилизованное?» — спрашивал он у своих коллег — участников конгресса.

Как-то раз — сияло солнце и дул легкий бриз — шел Педро Аршанжо, как всегда вразвалку, по площади. Декан факультета послал его с поручением к настоятелю францисканского монастыря. Приор, бородатый и лысоватый голландец, был любезен и мил; не скрывая наслаждения, смаковал он кофе, чашечку налил и веселому педелю.

— А ведь я вас знаю, — сказал он с легким акцентом.

— Я целыми днями здесь, на площади.

— Нет, я вас видел не здесь, — лукаво и от души засмеялся монах. — Знаете где? На кандомбле! Конечно, я был в мирской одежде. Я стоял в темном углу, а вы сидели в особом таком кресле рядом с «матерью святого»...

— Возможно ли, чтобы падре посещал кандомбле?

— Хожу, хожу иногда, только никому не говорите! Дона Маже — моя приятельница. Она мне сказала, что вы в совершенстве разбираетесь во всех тонкостях макумбы. Доставьте мне удовольствие, разрешите как-нибудь на днях потолковать с вами.

В этом монастырском дворе, выложенном синими плитами, обсаженном густыми деревьями и цветами, Аршанжо почувствовал, что мир устроен разумно и правильно, и непохожий на монаха францисканец это подтверждал.

— Как только захотите, падре, я к вашим услугам.

Он возвращался на факультет через Террейро Иисуса. Кто бы мог подумать, что католический священник, приор монастыря, ходит на кандомбле! Это стоит записать! Удивительно!

Тут его окружили студенты. С будущими медиками Педро Аршанжо был в прекраснейших отношениях. Любезный, внимательный и веселый, он неизменно покрывал их прогулы, хранил их учебники, тетради и конспекты. Так они и жили: незначительные услуги, долгие приятельские беседы. Первокурсники и выпускники захаживали в «Лавку чудес» или в школу капоэйры местре Будиана, а двое или трое даже побывали на макумбе.

И со студентами, и с высоким факультетским начальством, и с профессорами был Аршанжо одинаково вежлив, но никогда не унижался, не пресмыкался, не льстил — таков народ Баии: самый последний бедняк сознает, что он ничем не хуже самого могущественного богача, а может быть, и лучше.

Симпатия, которую испытывали студенты к скромному педелю, после одного происшествия укрепилась окончательно. Педро Аршанжо спас шестикурсника, которому грозило исключение из университета: была там какая-то темная и путаная история, пятнавшая семейную честь некоего приват-доцента. В ходе расследования свидетельские показания Педро, дежурившего в тот день на факультете, сыграли решающую роль и спасли юношу от гнева разъяренного преподавателя. Студенты вступились за своего товарища, но в успех этой затеи мало кто верил. Аршанжо, хоть и совсем недавно стал педелем, не дал ни сбить себя с толку, ни запугать... После этого случая студенты прониклись к нему уважением, а приват-доцент, которому пришлось прервать лекции в этой группе посреди года, возненавидел.

В центре площади, у фонтана, его окружили студенты, и один из них, лоботряс четверокурсник, любивший праздники и шутки, отдававший должное таланту Педро в игре на гитаре и кавакиньо — он и сам с удовольствием бренчал на виоле, — показал ему брошюрку. «Что скажете, местре Педро?» Остальные смеялись, предвкушая удовольствие, которое они доставят этому франтоватому и ладному мулату.

— Разделал нас профессор под орех, живого места не оставил, — сказал четверокурсник. — Хуже воров и убийц! На грани с неразумными существами! А мулаты еще хуже негров, видите? «Зверь» покончит и с вами, местре Педро, и со всей вашей расой.

Аршанжо пробежал глазами строчки; глаза его сузились и налились кровью. Доктор Нило Арголо считает, что все беды Бразилии — от черномазых, от гнусного смешения рас.

Педро пришел в себя, словно вернулся откуда-то издалека.

— Со мной покончит, вы сказали? — И его цепкий взгляд скользнул по волосам, губам, носу юноши. — Не только со мной. Со всеми нами: мы все здесь метисы. И со мной покончит, и с вами, — тут он оглядел остальных, — среди тех, кто здесь присутствует, не спасется ни один.

Послышались неуверенные смешки, два-три студента расхохотались. Четверокурсник добродушно заметил:

— Ничем вас не возьмешь, местре Педро, раз-два — и срубили под корень наше генеалогическое древо.

Молодой человек с дерзким и надменным лицом шагнул вперед:

— Мое — нет. — Дурачок кичился тем, что его четыре имени доказывают благородное происхождение. — Кровь нашей семьи чиста и, слава богу, неграми не осквернена.

Аршанжо уже совладал со своим гневом и теперь посмеивался про себя: он знал, что его доказательства неопровержимы, что тезисы доктора Нило — пустые бредни, дерьмо, клевета, ошибка, проистекающая от самомнения и невежества. Он взглянул на парня.

— А вы уверены? Ведь когда вы родились, прабабки вашей уже не было на свете. Знаете, как ее звали? Мария Иабаси — так называлось ее племя. Ваш прадед был человек порядочный и женился на ней.

— Как ты смеешь, наглец? Я разобью твою черную рожу!

— Ну что ж, попробуй...

— Осторожно, Армандо, он мастер капоэйры! — предупредил один из студентов.

Но остальные принялись подзадоривать кичливого юнца:

— Покажи-ка, Армандо, чего стоит твоя голубая кровь! Не робей!

— Рук не хочу марать, — пробурчал высокородный студент и покинул поле боя. На том и завершилась дискуссия.

— Наш блондинчик оттого так разъярился, что дед его во времена Империи был министром. Дурак... — добавил четверокурсник.

— Моя бабушка была мулаткой, и человека лучше, чем она, я не видел, — сказал студент в очках и в соломенной шляпе.

Аршанжо распрощался со студентами.

— Одолжите мне эту книжечку, если можно.

— Пожалуйста.

С тех пор никто — даже когда тень Гобино[[23]](#footnote-23) простерлась над Террейро Иисуса и теория арийского происхождения, войдя в моду, сделалась официальной доктриной медицинского факультета — не пытался задеть Педро Аршанжо. Через двадцать лет, когда разразился скандал, новые поколения студентов выступили против своих профессоров в поддержку педеля.

А на карнавале в группе «Утренняя звезда» танцуют рядом белые, негры, мулаты, и им нет дела до теорий ученых мужей. Народ будет восторженно приветствовать и Кирси, и Деде — любая может стать звездой праздника: нет тут ни первой, ни второй, ни высших рас, ни низших.

А корабль уже растаял в ночи, исчез в океане... Деде замолкает, ладное тело ее, ловкое и проворное, горделиво растягивается на песке. Педро Аршанжо слышит шум волн, ветра и бескрайних просторов. «Нет на свете людей лучше, чем вы». В холодной стране Суоми будет играть бронзовокожий мальчуган, сотворенный из снега и солнца, и в правой руке у короля Скандинавии — жезл Ошала.

## О том, как неуемный карьерист Фаусто Пена получил чек (на небольшую сумму), урок и предложение

С прискорбием должен заявить, что даже в кругах лучших представителей нашей интеллигенции свили себе гнездо зависть и подозрительность. Эту печальную истину я не могу утаить от читателя — поскольку и то и другое испытал на собственной шкуре. Вы видите перед собой человека, которого ловкие интриганы и подозрительные дураки избрали своей любимой жертвой. Горькую чашу испил я после того, как удостоился выбора великого Левенсона и заключил с ним контракт (устный) на жизнеописание Педро Аршанжо: собратья мои распускают про меня и Aнy Мерседес омерзительные слухи, обливают меня помоями, и я захлебываюсь в омуте этой гнусной клеветы.

Я уже рассказывал о политических интригах: о том, как меня желали представить выкормышем американского империализма, внедренным в сферу бразильской культуры; как меня хотели поссорить с левыми кругами нашей общественности (впрочем, это намерение, учитывая переживаемый момент, сулит мне некоторую выгоду); как меня пытались вытеснить с того поприща, которое столь заманчиво для всякого, кто мечтает сделать себе имя и карьеру — а я мечтаю! — и на котором нам так необходимы похвалы и покровители. Я вовремя раскрыл этот подлый план и не повторяю здесь публично имеющиеся у меня доказательства только потому, что я — исследователь, а не душевнобольной и не авантюрист, который ищет разоблачений, а найдет тюрьму. Я предпочитаю действовать могучим оружием моей поэзии — герметической, но оттого не менее действенной.

Негодяи не ограничились тем, что опорочили мое имя среди левых, они пошли еще дальше — они закрыли передо мной двери редакций. Я многолетний, ни гроша не получающий сотрудник «Жорнал да Сидаде» (интересно знать, кто осмелился бы просить у доктора Зезиньо гонорар за опубликованные в его газете стихи? Хорошо еще, что он пока не догадался взимать с нас — с меня и других поэтов — деньги за предоставленное в газете место для стихов и взаимных славословий). Я каждое воскресенье печатался на страницах любимого органа, который поддерживал и привечал искусство; кто, как не «Жорнал да Сидаде», открыл торжества по случаю столетия Педро Аршанжо? Вместе с Зино Бателом я вел раздел «Поэзия молодых» в литературном приложении к нашей славной газете: работал-то я один, а благосклонность поэтессочек и прочие блага мы делили на двоих.

И вот, прибавив к прежним моим «титулам» — сотрудник «Жорнал да Сидаде», поэт и критик — мой нынешний — «социолога, занятого исследованием, которое имеет международное значение и получит отклик во всем мире» — находка принадлежит Силвиньо, — я, как только узнал о достопамятной затее нашего воинственного утреннего листка, отправился в редакцию.

Ответьте мне, пожалуйста, рассудите здраво: у кого, как не у меня, имеются все основания принять участие в этой кампании, если не возглавить ее? Я — непосредственный помощник, доверенное лицо гения из Колумбийского университета: для изучения жизни и творчества бессмертного баиянца он выбрал не кого-нибудь, а меня, меня! Меня пригласили, со мной заключили договор, мне заплатили! ЗАПЛАТИЛИ — да будет позволено написать это священное, это святое слово прописными буквами, да будет позволено заткнуть алчные пасти завистливых и самонадеянных подлецов! Мне или им так щедро и своевременно заплатил наш трансконтинентальный мудрец за серьезный научный труд, и в долларах? Они привыкли жить на подачки правительства и университета, а шуму, а похвальбы... Но когда доходит до дела, становятся кроткими, как ягнята. Скажите, кто, невзирая на скудную плату, смог бы лучше, чем я, организовать начинание, достойное такой достойной газеты, как «Жорнал да Сидаде»? У кого на это больше прав, чем у меня? В конце концов, Педро Аршанжо — это моя нива, моя делянка: я на ней зарабатываю себе на пропитание.

Так вот, вы не поверите: в редакции меня встретили, как говорится, в штыки, и, чтобы прорваться к доктору Зезиньо, мне пришлось преодолеть множество самых разнообразных препятствий. Столько было сделано напрасных попыток и получено циничных отказов, что я уже был близок к отчаянию. Троица ответственных за проведение торжеств негодяев, а вернее, кто-нибудь один из них торопливо выслушивал меня вполуха и отделывался пустыми посулами: «Сейчас, милейший, нам ничего не надо, но, может быть, в ходе кампании появится необходимость... Интервью там или репортажик...», так что у меня хватило ума даже не заикаться о своей руководящей роли, а попросту предложить сотрудничество.

Но я пришел еще раз: меня так просто не одолеть, я пришел еще раз и принес кое-какой материал. На этот раз вся шайка была в сборе. Они предложили мне за него смехотворную сумму, не оставив ни малейшего шанса на то, что мое имя будет хоть как-то связано с шумными торжествами.

Я решил сопротивляться, призвав на помощь конкурентов «Жорнал да Сидаде»; я отправился в редакции других газет, а Ана Мерседес пыталась замолвить за меня словечко в своей «Диарио да Манья»... Напрасно! У королей прессы монополия на общественное мнение, и между собой они не ссорятся.

Выхода не было, и я побрел обратно в «Жорнал да Сидаде»: я был готов принять их гнусное, но, к сожалению, единственное предложение и за грош продать свой лучший материал. С отвагой обреченного постучался я в двери доктора Зезиньо, и столп отечества сжалился и согласился выслушать меня. Но стоило мне показать ему свои заметки, с ним чуть было не случилась истерика. «Вот именно этого-то и не надо! Я не допущу неуважения к памяти великого соотечественника, который был наделен высшей духовностью! Я не позволю осмеивать образ этого человека, принижать фигуру Педро Аршанжо! Если мы и купим у вас этот набор злых сплетен, то лишь для того, чтобы немедленно уничтожить: ими никто не сможет воспользоваться, и никто не осквернит память о Педро Аршанжо. Фаусто, дорогой мой, подумайте о детях за партами!»

Я подумал о детях за партами и продал за ничтожную сумму мое молчание. Доктор Зезиньо еще долго бесновался, а потом сказал, подводя итог разговору: «Многоженец! Какой позор! Да он и вообще не был женат! Это вам послужит уроком, дорогой мой поэт: великий человек обязан быть непогрешимым в моральном отношении, а если он и оступился, то наш долг — вернуть его образу безупречность. Великий человек является достоянием государства, примером для грядущих поколений, мы должны хранить его на алтаре гениальности и добродетели».

Получив чек и урок, я поблагодарил и отправился искать утешения в обществе Аны Мерседес и бутылки виски.

Итак, от газетной славы Педро Аршанжо мне не перепало ничего, кроме нескольких строчек в юбилейных статьях великодушных обозревателей Силвиньо и Рено, Жули и Мати. Еще меня отыскали ученики театральной школы, члены чрезвычайно авангардистской группы «Долой текст и рампу», — название говорит за себя. Они предложили мне написать пьесу о Педро Аршанжо, точнее, не пьесу — им не нравилось это слово, — а текст спектакля. Что ж, подумаю и, если они позволят мне принять участие в постановке, пущусь, пожалуй, в эту авантюру.

## О том, как общество потребления, придав смысл и значение славе Педро Аршанжо, сумело погреть на нем руки

### 1

На пост председателя оргкомитета, ответственного за устройство торжеств по случаю столетия со дня рождения Педро Аршанжо, был назначен профессор Калазанс. Этот выбор следует признать удачным.

Слава историка Калазанса уже давно перешагнула границы штата и распространилась чуть ли не по всей стране. Его действительно серьезные и оригинальные работы, посвященные Канудосу и Антонио Консельейро[[24]](#footnote-24), снискали ему похвалы старцев из Национального института истории и, кажется, получили премию Бразильской академии (а если не получили, то у господ «бессмертных», допустивших такую вопиющую несправедливость, есть еще время исправить свою ошибку и увенчать профессора лаврами). Калазанс читает лекции на нескольких курсах двух факультетов, он образован, благодушен, неизменно весел, он день-деньской носился из аудитории в аудиторию, обрушивая на студентов ворох исторических анекдотов: свой хлеб он зарабатывает в поте лица. Кроме того, на Калазансе, как на вешалке, висит целая груда почетных (иногда), хлопотных (всегда) и никем не оплачиваемых (никогда) должностей и обязанностей, кои он выполняет своевременно и с удовольствием. Он и секретарь Баиянской академии, и казначей Историко-географического института, и президент Центра фольклорных исследований, не говоря уж о том, что профессор ab aeterno[[25]](#footnote-25) состоит в должности синдика дома, в котором живет.

Как он справляется со всем этим, как поспевает, как ухитряется выкраивать время для исследований, занятий и статей и остается бодрым, свежим и веселым? Но суета и спешка, в которых проходит жизнь профессора, покажутся чудовищными, сверхъестественными только тому, кто не знает одного обстоятельства: Калазанс — родом из легендарного Сержипе. Ему, рожденному в феодальном поместье-латифундии, выросшему в невероятной нищете — при полном отсутствии в семье средств к существованию, — ему, чудом не попавшему в роковой процент детской смертности, пережившему все болезни от лихорадки до оспы, ему, претерпевшему нужду и лишения, теперь уже ничего не страшно, он стал героем, он научился раздвигать время... Если профессор Калазанс взял руководство торжествами на себя, успех праздника обеспечен.

Впрочем, Большой юбилейный комитет (сокращенно БЮК) одним своим составом обеспечил столетию со дня рождения Педро Аршанжо должную величественность и размах. Его председателем стал сам губернатор штата Баия, а членами — кардинал-примас, высшие военные чины, ректор университета, префект, управляющие баиянскими банками и президенты разнообразных учреждений, связанных с культурой и искусством; председатель правления «Банко до Бразил», генеральный директор Индустриального центра Арату, президент Торговой ассоциации, главные редакторы ежедневных газет; начальник Управления образования и культуры; майор Дамиан де Соуза.

Если не считать этих лиц, участие которых было настоятельно необходимо, потому что без их одобрения или благосклонного согласия любая инициатива была обречена на провал или на запрет, все остальные члены БЮК действовали по заранее определенному плану, и задача у каждого была своя. И вот доктор Зезиньо Пинто, сопровождаемый секретарем и управляющим «Жорнал да Сидаде», собрал в своем кабинете немногочисленный оргкомитет: «он потому и невелик, что призван действовать энергично и оперативно».

Оргкомитет был не так уж мал. Возглавил его, естественно, доктор Зезиньо, a в его состав, кроме председателя — профессора Калазанса, вошли: директор Историко-географического института, президент Академии литературы и языка, декан философского факультета, декан медицинского факультета, секретарь Центра фольклорных исследований, начальник Управления туризма и представитель баиянского филиала акционерного общества «Допинг».

На первое заседание явились все; обстановка была торжественно-праздничная; официант — в этой роли выступил ночной курьер — принес стаканы с уже налитым виски, лед, содовую воду, просто воду и лимонад-гуарана — на выбор.

— Отечественное... — буркнул, отведав виски, угрюмый Феррейринья, секретарь редакции.

Обратившись с приветствием к «выдающимся деятелям, почтившим своим присутствием редакцию „Жорнал да Сидаде“», доктор Зезиньо в короткой блестящей речи определил главные направления кампании и горячими похвалами наделил всех членов БЮК — от губернатора до майора. Одновременно он намекнул, о чем именно будут просить каждого из них: энергичному префекту надлежало назвать именем Педро Аршанжо одну из новых улиц Баии, а начальнику Управления образования и культуры — одну из школ, «где память о великом соотечественнике будет благоговейно храниться теми, кто завтра вступает в жизнь, кто олицетворяет собой великое будущее Бразилии». От ректора университета требовалась интеллектуальная и материальная поддержка всей кампании и в особенности — заранее подготовленного симпозиума. От начальника Управления туризма — гостеприимная встреча приглашенных с Юга и Севера страны. От редакторов газет — «не конкурентов, но коллег» — ожидалось щедрое освещение событий, бескорыстная помощь не только печатным словом, но и через посредство контролируемых ими радио- и телепередач. Все остальные — банкиры, промышленники и коммерсанты — должны будут содействовать усилиям шустрых и проворных сотрудников фирмы «Допинг». Не забыли ли мы кого-нибудь? Ах да, майор Дамиан де Соуза! Борец за права народа, почти символ нашего города! Ну как же, он был близким другом Педро Аршанжо, он является подлинно народным представителем в БЮК, — «нельзя забывать, что Педро Аршанжо — выходец из народа, представитель трудящихся и угнетаемых масс, сумевших подняться до высот науки и литературы» (аплодисменты).

Между виски и кофе («Виски в рот взять нельзя, вот дешевка, Аршанжо заслуживал чего-нибудь получше: хотя бы приличной кашасы», — размышлял Магальяэнс Нето, видный ученый, директор Института, отставив в сторону стакан пойла и протягивая руку за чашечкой кофе) комиссия наметила программу торжеств, сосредоточив все внимание — без ущерба для любых других предложений, буде таковые появятся, — на трех пунктах:

а) Опубликовать четыре специальных выпуска «Жорнал да Сидаде» — по выпуску в воскресенье — за месяц до 18 декабря. Посвятить их исключительно Педро Аршанжо и его творчеству; привлечь к сотрудничеству всех знаменитостей Бразилии. Даже реклама, напомнил представитель «Допинга», должна будет служить к вящей славе Педро Аршанжо. Составили список предполагаемых авторов-сотрудников. Ответственность за исполнение возложить на директора Института, президента Академии, секретаря Центра фольклорных исследований и, разумеется, на профессора Калазанса, без профессора Калазанса — ни шагу...

б) Провести на философском факультете научный симпозиум на тему «Расовое равенство в Бразилии как утверждение гуманизма; апартеид — как его отрицание». Эта идея принадлежала профессору Рамосу из Рио, который в письме к доктору Зезиньо писал: «Педро Аршанжо — это великолепный пример того, как Бразилия решает расовую проблему, смешивая, сплавляя воедино разные расы. Нет лучшего способа почтить память выдающегося ученого, столько лет пребывавшего в забвении, чем созвать форум, на котором будет еще раз утвержден плодотворный путь нашей страны и осуждены преступления апартеида и расизма, ненависть человека к человеку». Ответственность за проведение симпозиума возложить на деканов философского и медицинского факультетов, начальника Управления туризма и, естественно, на могучего профессора Калазанса — даром, что ли, родился он в штате Сержипе?!

в) Организовать торжественное закрытие юбилейных празднеств вечером 18 декабря в актовом зале Историко-географического института: помещение торжественное, величественное, хотя и не очень вместительное, но, как сказал мудрый и многоопытный доктор Зезиньо, «лучше небольшая комната, битком набитая слушателями, чем огромный, но пустой зал». Начальник Управления туризма — большой оптимист — предложил было колоссальный актовый зал медицинского факультета или, может быть, лучше — ректората, ведь он еще больше? Но наберется ли в Баие столько самоотверженных людей, способных выслушать речь профессора Рамоса из Рио, речь представителя медицинского факультета, речь представителя Академии, речь представителя Центра фольклорных исследований, речь представителя философского факультета — пять высокоученых, изысканно-выспренних речей, пять шедевров риторики, пять длиннейших и скучнейших выступлений? Доктор Зезиньо знал жизнь и не разделял оптимизма легкомысленного начальника Управления. Ответственность за организацию торжественного вечера целиком и полностью возложить на профессора Калазанса — если уж он не сможет заполнить двести удобных кресел в актовом зале института, то и никто не сможет...

Протокола решили не составлять, но зато доктор Зезиньо попросил отпечатать на машинке три основных пункта программы и со всеми подробностями: имена, темы выступлений и прочее, потому что ему хотелось еще раз изучить их, «перед тем как обнародовать». Улыбаясь своей ослепительной улыбкой — он словно поздравлял собеседника или вручал ему деньги, — доктор добавил: «Будем публиковать все это постепенно, малыми порциями: каждый день что-нибудь новое. Подогреем интерес и создадим „suspense“»[[26]](#footnote-26).

— Сейчас попросит nihil obstat![[27]](#footnote-27) — шепнул мрачный Феррейринья веселому Голдману, известному в редакции под именем «король отказов»: «Нету денег в кассе, нету...»

— Цензуру или начальника полиции?

— Обоих, я думаю.

Сердечная и плодотворная встреча была запечатлена фотографами — пригодится и для первой страницы завтрашнего номера, и для потомства. Телевизионщики засняли ее для вечернего выпуска новостей: доктор Брито (прав, прав был Зезиньо Пинто!) оказался «не конкурентом, но доброжелательным коллегой».

Был назначен день очередного собрания; прощаясь, каждый был удостоен рукопожатия доктора Пинто, не знающего себе равных по предприимчивости. «Неужели он и гостям подает эту мерзость вместо виски? — продолжал размышлять потрясенный Магальяэнс. — Да нет, конечно! Дома у него наверняка целый погреб шотландского... Ох уж эти миллионеры!»

### 2

Гастон Симас, управляющий баиянским филиалом акционерного общества «Допинг», не по годам тучный и лысый, взмокший от пота господин, придав своему толстощекому, пышноусому лицу выражение бодрой решимости, улыбаясь и весело чертыхаясь, сообщает группе ближайших помощников — группа эта состоит из пяти мудрецов, пяти асов, пяти непревзойденных пройдох — об итогах заседания оргкомитета по поводу предстоящего столетия Педро Аршанжо. Теперь им, пяти сотрудникам фирмы — жалованье они получают поистине королевское, — предстоит поставить юбилейную кампанию на деловые рельсы, то есть приняться за составление рекламных объявлений: вот тогда и потекут денежки, и появятся счета-фактуры... Гастон Симас перекатывает это замечательное слово во рту, и кажется, что он вкушает амброзию, пробует икру или смакует драгоценное вино.

— В каждом воскресном приложении нам предоставляют по пять полос. В четвертом и последнем выпуске будет двенадцать полос, и мы можем рассчитывать на семь, семь с половиной, даже, если потребуется, на восемь. Но, друзья мои, мы не должны ограничиваться только приложениями! Путь свободен. Пришпорьте фантазию, творите, дерзайте! За дело, дети мои! Нельзя терять времени! В кратчайший срок жду от вас конкретных предложений! Наш девиз — действенность и основательность! Помните об этом!

Окончив свою речь, он возвращается в кабинет, падает в кресло. Гастон Симас — воплощение действенности и основательности: умен, трудолюбив, наделен даром воображения, но в те минуты, когда им овладевает бес самокритики, ему со всей очевидностью становится ясно, что на свет он родился не для рекламных операций; Симас не в восторге от своей профессии. Он избрал ее по необходимости и из тщеславия: она дает хорошее жалованье и заметное положение в обществе. Будь его воля — он бы так и остался журналистом, получал бы гроши, но зато не надо было бы изображать из себя важную персону, — это так не вяжется с его веселым лицом гуляки и бабника, для которого главная радость жизни — сыграть в домино у ворот рынка Модело, пропустить стаканчик-другой, поболтать о том о сем с приятелями...

«Для этой профессии во мне слишком много баиянского, — признался он однажды юному Арно, симпатичному уроженцу Рио, восходящей звезде рекламного бизнеса. — А что делать?» — «Как что делать? Смириться, милый Гастон, смириться: должность управляющего баиянским филиалом дает большие деньги и завидное положение в обществе — социальный статус, так сказать...» И вот, словно бесправный раб, Гастон Симас сидит в своем кабинете и смотрит на залив, на крепость у моря, на зеленый остров, на плавно скользящие по воде баркасы... А в кабинете все кричит о богатстве и могуществе его обитателя: там мебель черного дерева, там ковер из Женаро, там рыжая секретарша... Что ни говори, а в наше время нет искусства выше, чем искусство рекламы.

Никто не возьмет на себя смелость отрицать, что искусство рекламы — важнейшее и высочайшее искусство: ни поэзия, ни живопись, ни проза, ни музыка, ни театр, даже кино не могут сравниться с ним. Ну, а телевидение и радио, можно сказать, вообще автономно не существуют, они изначально включены в орбиту рекламы.

Создание рекламы требует художественного дара, и в рекламных агентствах полным-полно разнообразных пикассо. Среди писателей нет равных тем, кто пишет рекламные объявления: десятки хемингуэев творят новую литературу, сочиняют с неистощимой изобретательностью прозу и стихи в традициях реализма или сюрреализма, ищут и находят путь к сердцу потребителя. Так зачем же скрывать правду? Взойдет солнце, и мир увидит ее во всем блеске и могуществе!

Но пикассо и хемингуэи, в свою очередь, тоже целиком зависят от рекламы: их, пикассо и хемингуэев, создают рекламные агентства, и благодаря рекламным агентствам в мгновение ока обретают они славу и успех. В течение нескольких месяцев поклоняются им толпы почитателей-ротозеев. Потом они исчезают, уходят в небытие — согласитесь, что нельзя до бесконечности держать на гребне славы новоявленных гениев и писать о них статьи! Ведь владельцы рекламных агентств — люди, а не боги! Впрочем, у каждого из рекламируемых есть свой шанс, своя звездная минута, и чем больше денег потрачено на прославление, тем дольше она длится. А потом — устраивайтесь сами, это уж ваше дело. И они устраиваются: достаточно окинуть взглядом эту ярмарку тщеславия, чтобы убедиться, сколько жуликов и ловкачей, выращенных в инкубаторах рекламных агентств, процветают и живут припеваючи, ловко управляясь со своей бесцветной бездарностью, предоставляя глупцам вроде профессора Калазанса надрываться на двух факультетах, терять последние силы на этой марафонской дистанции... Профессор Калазанс никогда не сделает карьеры, никогда не станет символом нашей эпохи, воплощением нашего восхитительного, благородного — сколько ни хвали, все мало! — общества потребления...

Вывезенный из Рио чертенок Арно, смочив перо настоящим шотландским виски, первым порадовал Гастона Симаса результатом трехдневных напряженных трудов, глубоких раздумий, первым ослепил патрона плодом своей безудержной фантазии. Он положил на стол Симаса лист бумаги, на котором крупными буквами было написано:

«ПЕДРО АРШАНЖО,

переведенный на английский, немецкий и русский, ПРОСЛАВЛЯЕТ БРАЗИЛИЮ И ПРИНОСИТ ЕЙ ВАЛЮТУ.

ТРЕСТ ПО ЭКСПОРТУ КАКАО делает то же!»

— Гениально! — закричал в восторге Гастон. — Молодец!

За первым опытом последовали другие, не менее удачные, но приоритет, без сомнения, принадлежал юному принцу рекламного королевства, высокоодаренному Арно, недаром получал он в месяц столько же, сколько добрая половина всех профессоров какого-нибудь факультета, вместе взятых!

Задавшись благородной целью повысить культурный уровень читателя, мы приведем некоторые из наиболее удачных текстов. Вот, например:

«Отпразднуйте столетие Педро Аршанжо бокалом „Полярного“ пива!»

«Если бы Педро Аршанжо был жив, он писал бы свои книги только на электрических пишущих машинках „Золимпикус“».

«В год столетия со дня рождения Педро Аршанжо Индустриальный центр выстроит новую Баию!»

В 1868 году родились два баиянских исполина: Педро Аршанжо и страховая компания «Факел».

Арно не почил на лаврах, а сотворил новое чудо. Воздержимся от похвал — прочтите сами и убедитесь:

Всегда, всегда, всегда

Горит наша «Звезда»!

Ангельский нрав!

Аршанжельский вид!

Наша «Звезда» обувает в кредит!

Арно был так горд своим произведением и так любезен, что лично отнес его заказчику — хозяину обувной фирмы «Звезда», но тот принял принца как нельзя хуже. В это самое время он пытался похудеть, а ничто так не портит характера человека, как диета. Густобровый пятидесятилетний обувщик с докторским кольцом на пальце оценил элегантность визитера, его невозмутимую самоуверенность и безнадежно покачал головой:

— Я — дряхлый, обессиленный, голодный старик, а вы молоды, красивы, нарядны, от вас пахнет виски и акараже, и как замечательно пахнет, но все же я позволю себе заметить: рекламу вы сочинили дерьмовую.

Притворное самоуничижение и внезапная грубость так причудливо сочетались в этой фразе, что Арно не обиделся, а расхохотался. Заказчик пояснил свою мысль:

— Сударь, в Баие три магазина обуви фирмы «Звезда», вы же не сообщаете адреса ни одного из них. Это во-первых. Во-вторых, что это такое — «горит наша „Звезда“»? Горит или прогорает? Честное слово, я сделал бы рекламу лучше, а взял бы дешевле.

К вящему разочарованию служащих фирмы, которые надеялись, что в один прекрасный день их хозяина вздуют, драки не произошло: Арно вместе с клиентом переработал текст, и в конце дня, когда с моря веял легкий бриз, оба вышли на улицу. «Вы любите древности?» — спросил обувщик. «Вообще-то я предпочитаю современность...» — признался Арно, но все-таки пошел за ворчливым заказчиком по улочкам и переулкам и впервые в жизни оказался в «bric-a-brac»[[28]](#footnote-28). Он увидел старинные светильники, серебряные кадила, кольца, причудливые украшения, кушетки и козетки, хрустальные шишечки, гравюры из Лондона и Амстердама, расписанный от руки молитвенник и ветхую резную фигуру святого. Арно внезапно ощутил магическую силу красоты.

На следующий день, показывая исправленный проект Гастону Симасу, за которым оставалось последнее слово, Арно сказал ему:

— Старик, а ведь ты был прав! Здесь, в Баие, трудно заниматься нашим делом, не идет оно в этом климате... Эх, если бы можно было бросить все!.. Ходил бы себе по улицам... Скажи-ка, Гастон, ты видел когда-нибудь фасад францисканской церкви?

— Еще бы мне не видеть! Я ведь здесь родился, малыш!

— Представляешь, я уже год в Баие, тысячу раз проходил мимо, и никогда мне даже в голову не приходило остановиться, постоять, посмотреть! Лошадь я, Гастон, скотина я, несчастный я человек, сукин я сын из рекламного агентства!

В ответ на это Гастон Симас лишь тяжело вздохнул.

### 3

На второе заседание оргкомитета народу пришло уже значительно меньше. Так всегда и бывает: второе заседание не фотографируют, оно не удостаивается упоминания на первой странице, — хорошо, если тиснут две строчки где-нибудь на задворках.

Президента Академии и директора Института представлял в одном лице профессор Калазанс. Деканы медицинского и философского факультетов, равно как и начальник Управления туризма, извинились и не пришли, сославшись на ранее назначенные встречи; впрочем, они сообщили, что присоединятся к любому решению и поддерживают любое начинание.

От философского факультета в порядке личной инициативы явился профессор Азеведо: его привлек план устроить симпозиум, и он с энтузиазмом ухватился за эту идею. Профессор Рамос, прося содействия в организации этого дела, написал ему из Рио следующее: «Первая научно подготовленная дискуссия может стать заметной вехой в развитии бразильской культуры. Расовая проблема приобрела ныне жгучую актуальность, во многих странах она перерастает в конфликт: это относится в первую очередь к Соединенным Штатам, где „черная власть“ стала левой и серьезной силой, и к южноафриканским государствам, правительства которых, мне кажется, действуют как наследники нацизма».

Профессор Азеведо собирался документально доказать вклад Аршанжо в «бразильский вариант» решения проблемы, которую ныне должны были обсудить участники симпозиума. «Девизом этого форума, — писал он профессору Рамосу, — могли бы стать слова местре Педро: „Мировую культуру Бразилия обогатила прежде всего смешением рас. Это наш вклад в сокровищницу гуманизма, это наш дар человечеству“».

Присутствовала на заседании и секретарь Центра фольклорных исследований: она героически отстаивала себе место под солнцем, сражаясь в одиночку против многочисленных этнографов, антропологов, социологов, занимающих высокие должности, получающих от иностранных университетов и научных обществ стипендии и субсидии, командующих целыми полками ассистентов; а она была самоучкой, исследованиями занималась почти кустарно и упустить такой шанс, как юбилей Педро Аршанжо, не могла. Рослая, крепкая, веселая Эделвейс Виейра одна из немногих знала работы баиянского местре; она, да профессор Азеведо, да председатель оргкомитета Калазанс, который сказал однажды: «Если я берусь за какое-нибудь дело, то готов всерьез за него отвечать».

Пришел и представитель фирмы «Допинг», нагруженный кожаной папкой, бумагами, схемами, графиками и сводками; вместе с Голдманом они немедленно заперлись в кабинете главного редактора. Доктор Зезиньо попросил Калазанса и всех остальных «минуточку подождать», и они ждали, болтая о всякой всячине.

Угрюмый Феррейринья уволок председателя оргкомитета к окну и поделился с ним своими опасениями: «Дела идут неважно, у нашего повелителя совершенно похоронное выражение лица...» Секретарь редакции пользовался репутацией первого паникера, и Калазанс не очень-то ему поверил: такие уж настали времена — слухи, сплетни, мрачные прогнозы, да и вообще жизнь невеселая и беспокойная... Но когда дверь кабинета наконец открылась и на пороге появились Гастон Симас и доктор Зезиньо, он заметил, что как ни старается главный редактор придать своему лицу веселое и добродушное выражение, глаза у него — тревожные и испуганные.

— Извините, господа, что заставил вас ждать, прошу вас! — сказал Зезиньо.

Продолжая стоять, Калазанс сообщил:

— Профессор Азеведо представляет философский факультет. Местре Нето прийти не смог, а сенатор улетел в столицу — президент Академии избран в сенат республики. Свои полномочия он передал мне. Декан медицинского факультета и начальник...

— Они позвонили, что не придут, — прервал его босс. — Это неважно, а может, и к лучшему. Мы здесь все свои, en petit comite[[29]](#footnote-29), так сказать, можно будет поговорить спокойно, обсудить все наши проблемы... Прошу садиться, друзья.

Первым слово взял профессор Азеведо и тоном заправского оратора начал:

— Позвольте, доктор Пинто, поздравить вас с удачнейшим предложением, достойным всяческих похвал! Особенно хотелось бы подчеркнуть насущную важность симпозиума по проблемам апартеида и смешения рас: этот симпозиум станет крупнейшим за последние годы событием в отечественной науке. Честь и хвала нам всем, и прежде всего — доктору Пинто!

Доктор Пинто выслушал похвалы со скромным видом человека, который просто выполняет свой долг перед отчизной и бразильской культурой и готов принести им любые жертвы.

— Благодарю вас, дорогой профессор. Я тронут. Но раз уж вы заговорили о симпозиуме, мне хотелось бы высказать некоторые мысли по этому поводу. Буду краток: я снова и снова изучал этот вопрос во всей его сложности и глубине и пришел к определенным выводам, я сообщу их вам, друзья мои, и рассчитываю на ваш патриотизм и здравый смысл. Прежде всего я хочу выразить мое восхищение выдающимися трудами профессора Рамоса. Мои чувства не нуждаются в доказательствах; ведь это я привлек профессора к участию в юбилейных торжествах. Предложенный им симпозиум, разумеется, представляет большой научный интерес, но сейчас не та ситуация, чтобы затевать подобное... Сейчас не время!

Профессор Азеведо похолодел: всякий раз, когда раздавались роковые слова «сейчас не та ситуация», происходила какая-нибудь гадость. Последние годы ему и его коллегам по университету жилось нелегко и приходилось несладко, поэтому он, не дослушав, предположил самое плохое и прервал речь Зезиньо:

— Сейчас как раз время, доктор Пинто! Сейчас, когда расовые столкновения в США достигли размаха гражданской войны, когда молодые африканские государства начинают играть все большую роль в международной политике, когда...

— Вот-вот, дорогой профессор! Те самые события, которые, по вашему мнению, доказывают своевременность симпозиума, на мой взгляд — превращают его в серьезную угрозу...

— Угрозу? — ввязался Калазанс. — Кому?

— ...серьезную угрозу. Симпозиум на такую опасную тему, как «Проблемы апартеида и смешения рас», может стать очагом агитации, и пожар, дорогие мои, вспыхнет такой, что нам даже трудно себе представить. Подумайте о юношестве, подумайте о студентах! Я не отрицаю, что многие их требования правомочны и справедливы: наша газета смело заявляла об этом, — но можем ли мы сыграть на руку профессиональным смутьянам-агитаторам, внедренным в студенческую среду, можем ли мы дать повод шайке подрывных элементов?!

«Все пропало», — понял профессор Азеведо, но продолжал бороться: предложение профессора Рамоса стоило того.

— Побойтесь бога, доктор Пинто! — в последнем усилии выкрикнул он. — Студенты — даже самые леваки — поддержат наш симпозиум единодушно. Я со многими говорил: все настроены чрезвычайно благожелательно, все заинтересованы! Ведь это чисто научная затея!

— Видите, профессор, вы только подтверждаете мою правоту и даете мне новые аргументы. Опасность как раз и заключается в том, что студенты поддержат симпозиум. Ведь его тема — это настоящий динамит! Бомба! Нет ничего легче, чем превратить научный симпозиум в политический митинг. Начнутся демонстрации, манифестации в поддержку американских негров, выступления против США... Дело может кончиться поджогом американского консульства! Вы ведь сами сказали: это левый симпозиум!

— Ничего я не говорил! В науке нет ни левых, ни правых! Я сказал только, что студенты...

— Это одно и то же: студенты-леваки и все студенчество в целом одобряют симпозиум. Это-то и опасно, профессор!

— Ну, так нельзя... — попытался Калазанс снова вступиться за коллегу.

Доктор Зезиньо, не скрывая своего неудовольствия, решил прекратить прения:

— Простите, Калазанс, я перебью вас: мы попусту теряем время. Даже если вы меня переубедите, а меня совсем нетрудно переубедить... — он вдруг замялся, — даже в этом случае симпозиум нельзя будет провести, — и выдавил из себя: — Потому что... ну, меня вызывали... и я имел возможность обсудить эту проблему во всех аспектах...

— Вызывали? Кто вас вызывал? — пожелала узнать секретарь Центра, совершенно не разбиравшаяся в тонкостях политики.

— Тот, у кого на это есть право... Профессор, надеюсь, теперь вам все ясно? Вы поймете меня и мое положение... Я хочу вас попросить: объясните все профессору Рамосу, мне бы не хотелось, чтобы он истолковал мой поступок превратно...

Он посмотрел в окно: напротив, в кафе, сотрудники его газеты пили кофе с молоком и ели бутерброды.

— От нас ускользнули некоторые детали, а именно они в определенный момент сделали нежелательным то, что на первый взгляд казалось нам прекрасной идеей. Я сообщу вам совершенно конфиденциально: как раз сейчас наши дипломаты подготавливают широкое соглашение с ЮАР. Мы очень заинтересованы в расширении связей с этим сильным и стремительно развивающимся государством. Не исключен и политический, антикоммунистический альянс: во всяком случае, в ООН мы уже выступаем как союзники и отстаиваем одни и те же взгляды. В ближайшие дни будет открыта прямая воздушная линия Рио — Йоганнесбург. Вы понимаете, что все это значит? И тут собираются бразильские ученые — собираются для того, чтобы заклеймить апартеид, то есть Южно-Африканскую Республику? Я уж не говорю о США, о наших обязательствах перед великим народом! В тот самый час, когда он испытывает трудности со своими неграми, мы подольем масла в огонь? От проблемы расизма до проблемы Вьетнама — один шаг! Ничтожный шажок! Все это слишком серьезные аргументы, друзья мои! Как бы ни хотел я отстоять нашу затею, спорить не приходилось.

— Короче говоря, симпозиум запретили? — вскинулась неугомонная Эделвейс, которая из-за пагубного пристрастия к ясной и простой народной речи слов не выбирала.

— Никто ничего не запрещал, дона Эделвейс, — воздел руки к небу уже успокоившийся доктор Зезиньо. — Мы живем в Бразилии, в демократической стране, здесь ничего запретить невозможно! Просто мы здесь сейчас всесторонне, на основании новых данных изучили проблему — мы, наш оргкомитет, и больше никто! — и приняли решение: отложить проведение симпозиума. Это не помешает нам торжественно отметить столетний юбилей Педро Аршанжо. Воскресные приложения готовятся полным ходом, Гастон сообщил мне в высшей степени отрадные сведения. Перспективы прекрасные! Торжественное собрание пройдет на высоком научном уровне, будут отличные речи! Кроме того, можно придумать что-нибудь еще — только не такое опасное, как этот пресловутый симпозиум...

Наступила тишина, вполне соответствующая понятию «сейчас не время», и в этой тишине доктор Зезиньо еще раз возродился из пепла сгоревшего симпозиума.

— Вот, например, большой конкурс для школьников... Редакция подготовит актуальную и патриотическую тему... Назначим крупную премию имени Педро Аршанжо... Победитель конкурса и сопровождающий на неделю смогут слетать в Португалию. Как вам эта идея? Подумайте, друзья мои. Спасибо за внимание.

На этот раз не было даже и отечественного виски.

### 4

Общество писателей-медиков (в Баие находилась его штаб-квартира, а отделения были разбросаны по многим городам нескольких штатов) опубликовало манифест в поддержку юбилейных торжеств: Педро Аршанжо хоть и не стал дипломированным врачом, был тесно связан с медицинским сословием пуповиной медицинского факультета, «которому служил с замечательным усердием и трогательной преданностью».

Председатель этой деятельной организации, уважаемый рентгенолог из знаменитой клиники, писавший биографии выдающихся медиков, пожелал произнести речь — шестую! — на торжественном заседании и, дабы в сухом научном выступлении прозвучали живые человеческие ноты, отправился собирать точные сведения о личности — именно о личности — Педро Аршанжо. Постепенно он добрался до майора Дамиана, который уже много лет принимал посетителей по вечерам в баре «Бизаррия», в одном из глухих закоулков Пелоуриньо. Там был его «ночной оффис».

Бар «Бизаррия» — один из последних баров, где еще уцелели столики и стулья, а посетители могли насладиться беседой, — помещался раньше на оживленнейшем перекрестке Праса-да-Се и принадлежал одному милому испанцу, лет пятьдесят назад приехавшему из Понтеведры. Теперь же его сыновья открыли на месте бара закусочную американского типа: за умеренную плату посетитель получал тарелку с уже разложенной едой, бутылочку с каким-нибудь прохладительным по своему выбору, ставил все это на подобие прилавка, который шел по периметру, и через десять минут был уже сыт и свободен: таким образом посетитель отрывался от зарабатывания денег только на десять пропащих минут. Старик-испанец любил своих завсегдатаев, любил добрый стакан вина, не презирал и кашасу — если, конечно, хорошая кашаса; он уступил выгодный перекресток сыновьям, нетерпеливым поборникам прогресса, но отказаться от бара, где стояли бы столы и стулья, где шли бы оживленные беседы, где никто не смотрел бы на часы, не пожелал, а потому обосновался в тупичке на Пелоуриньо, и вслед за ним туда переехали упрямые пьяницы — его клиенты и приятели. Майор Дамиан был завсегдатаем бара с незапамятных времен и ежевечерне являлся туда выпить для аппетита перед ужином: у него было постоянное место.

Элегантный и несколько чопорный рентгенолог оробел и онемел, попав в этот древний мир; ему казалось, что время повернуло вспять и он оказался в уже давно не существующем городе: черные каменные плиты пола, тусклый свет, столетние сумрачные стены, восточные ароматы... В тот вечер не он один искал майора, чтобы тот поделился воспоминаниями об Аршанжо: в «Бизаррии» уже сидели Гастон Симос и какой-то франтик из его агентства. Они пили убийственное зелье, известное в свое время под названием «козлиный мосточек», а франтик — потом выяснилось, что его зовут Арно Мело, — ел акараже. Торговка, продававшая баиянские яства, больше двадцати лет просидела за своей жаровней у входа в бар, а потом вместе с ним перебралась сюда с Праса-да-Се. Все было внове председателю Общества писателей-медиков, все волновало его, потому что до сих пор он ничего не знал, кроме клиники, студентов, рентгеновского кабинета на улице Чили, квартиры на улице Граса, литературно-научных собраний. Разве что по воскресеньям — пляж и фейжоада.

— Рентгенолог? — спросил майор, взглянув на визитную карточку. — Это прекрасно. Доктор Натал — в отпуске, доктор Умберто путешествует, я просто не знал, что делать. Садитесь, будьте как дома! Что будете пить? То же, что мы? Правильно. Для аппетита нет ничего лучше. Пако! — обратился он к испанцу. — Налей нам еще и подойди познакомься с доктором Бенито, который почтил нас сегодня своим присутствием.

Доктор Бенито из вежливости — в этих обстоятельствах, пожалуй, излишней — взял рюмку и с опаской пригубил чудовищную смесь. Оказалось — восхитительно! Симас и Арно, изучая пути, по которым ходил когда-то местре Аршанжо, были уже далеко — на четвертой или пятой рюмке. Майор невозмутимо затянулся дрянной сигарой, выпустил клуб дыма:

— Рассказывают еще, что одна иаба, прослышав о том, какой бабник Педро Аршанжо, решила проучить его, смешать с грязью и обернулась самой красивой и нарядной в Баие мулаткой...

— Что такое иаба? — осведомился Арно.

— Иаба — это дьяволица со спрятанным хвостом.

Они отужинали все вместе, в баре: жаренная на оливковом масле рыба, обильно орошаемая ледяным пивом, была выше всех похвал. Дважды майор пускал по кругу бутылку кашасы, чтобы «залакировать пиво».

Потом они отправились — «тут совсем рядышком» — навестить заведение, принадлежавшее некогда Эстер, a теперь — Руте по прозвищу Горшочек Меду. Там еще подавался знаменитый коньяк времен Педро Аршанжо. В полночь Гастон Симас исполнил для воодушевленно подтягивавшей публики «Звездное небо», а Арно Мело произнес несколько невыдержанную идеологически, но яростную речь против общества потребления и капитализма как такового.

В два часа ночи доктор Бенито страшным усилием воли заставил себя вырваться оттуда. Свою машину он оставил на террейро, а домой приехал на такси: никогда в жизни — даже в студенческие времена — он так не напивался; никогда еще не совершал столько необдуманных и противоречивших здравому смыслу поступков.

— Прости, дорогая, — сказал он жене, — я очутился в каком-то странном мире... А про Аршанжо мне только и удалось узнать, что он некоторое время сожительствовал с дьяволом...

— С дьяволом? — переспросила жена.

На следующее утро доктор обнаружил у дверей своего кабинета троих посланцев майора, у каждого была записочка: «Майор Дамиан де Соуза просит милосердного врачевателя оказать помощь неимущему подателю сего, а Господь воздаст ему сторицей».

Двоим надо сделать снимок легких, третьему — почек. Но это только начало: поток страждущих будет бесконечен.

### 5

Следует признать, что один из самых восторженных откликов на столетний юбилей Педро Аршанжо принадлежит медицинскому факультету Баии. В самом начале кампании, еще на первом ее этапе, в интервью «Жорнал да Сидаде» было заявлено следующее: «Педро Аршанжо — сын нашего факультета; его творчество — это часть нашего священного достояния, часть того драгоценного наследия, что возникло когда-то на древней площади Террейро Иисуса, в славном коллеже иезуитов, а потом, вознесенное на пьедестал первого учебного заведения в Бразилии, было укреплено и развито победоносными наставниками нашего факультета. Работы Педро Аршанжо, высоко оцененные ныне даже за границей, могли быть осуществлены лишь потому, что их автор, входя в состав администрации медицинского факультета, проникся духом этого благородного и гуманного учреждения, которое, занимаясь в первую очередь развитием медицины, в то же время уделяло внимание и близкородственным дисциплинам — особенно литературе, словесности. В стенах нашего факультета звучали голоса величайших ораторов Бразилии, находили себе поддержку изумительные по изяществу стиля и чистоте языка писатели: наука и искусство, медицина и элоквенция рука об руку шли по аудиториям. В этой атмосфере высочайшей духовности и закалился дух Педро Аршанжо, под сенью науки отточилось его перо. И сегодня, в этот торжественный день, мы с законной гордостью можем воскликнуть: творчество Педро Аршанжо — детище медицинского факультета Баии!»

Ну что ж, как бы там ни было, доля истины в этом заявлении есть.

## О книгах, доктринах, теориях, профессорах и уличных певцах, о царице Савской, о графине, об иабе; об одной загадке и — в довершение ко всему этому — о рискованном предположении

### 1

Говорят, любовь моя, что побывала однажды в Баие иаба и вознегодовала она, и оскорбилась, и горько обиделась на местре Педро Аршанжо, потому что необузданный и невоздержанный, хвастливый этот распутник, повелитель и укротитель женщин, самец бесчисленных самок, пастырь послушного и кроткого стада, жил в окружении наложниц, словно африканский какой-нибудь царек: все возлюбленные его знали друг друга, захаживали друг к другу в гости, сообща пестовали рожденных от него детишек, мирно и дружно, как сестры, собирались, веселились, болтали или же готовили для своего повелителя разные яства.

А он ни одну из них не оставлял своими заботами, по очереди навещал каждую, и хватало его на всех: вроде бы, кроме любовных забав, и не было у него другого занятия, и, кроме сладкого ремесла любовника, неведомы были ему другие ремесла... Жил он да поживал в свое удовольствие, ел и пил вволю — горд как лорд, спесив как паша, — был местре Педро неизменно спокоен и уверен в себе, не ведал он, что значит страдать от любви, терзаться от потери, изнывать от желания, потому что любовницы его, навеки утратив и стыд, и честь, льстили ему наперебой — так перед ним и стелились. Даже в шутку никто из них и подумать не смел о том, чтобы бросить Аршанжо, вызвать в нем ревность или изменить ему — так искусен он был и неутомим.

Нестерпимым оскорблением показалось иабе такое надругательство над всем женским полом, и решила она строго наказать местре Педро, да так, чтобы навеки запомнил он суровый и жестокий этот урок, чтобы в мольбах и ожидании, в просьбах и отказах, в презрении и одиночестве, в измене и позоре, в тоске безответной любви познал он все ее зло, всю ее боль. Никогда не страдал от любви женолюб Аршанжо, бабник и соблазнитель, — на пышной перине ли устраивал он свое ложе или на деревянном топчане, на пляже или на лесной опушке, на рассвете или на закате — неизменно оставался он прежним. «Не страдал от любви, а теперь пострадает, теперь на своей шкуре испытает он все тяготы и мучения, — решила иаба, увидав такое возмутительное спокойствие, и поклялась: — Выставлю я тебя на посмешище и поругание всей Баие и всему свету; иссякнет сила твоя, ослабеет жила твоя, закровоточит сердце твое, вырастут рога на лбу твоем!»

И, сказавши так, обернулась иаба негритянкой, прекрасней которой не было ни в африканских землях, ни на Кубе, ни в Бразилии: сказки рассказывают люди о таких вот ослепительных и неистовых красавицах и песни поют. Ароматом распустившихся роз заглушила она серную вонь, туфельками прикрыла козлиные свои копыта, а хвост превратился в безупречных очертаний зад — гордо отставлен он был и покачивался при ходьбе из стороны в сторону так, словно существовал отдельно от всего ее тела. Чтобы хоть отдаленно представили вы себе ее красоту, скажу только, что по дороге из преисподней к «Лавке чудес» свела иаба с ума шестерых мулатов, двенадцать белых и двоих негров. Увидав ее, разбежалось шествие богомольцев, падре сорвал с себя сутану и отрекся от веры, а святой Онуфрий обернулся к ней со своих носилок — обернулся и улыбнулся.

Шла иаба, шурша накрахмаленными и выглаженными юбками, шла и посмеивалась: дорого придется заплатить самонадеянному Педро за свою славу неутомимого жеребца, непобедимого производителя. Станет надменный жезл местре Аршанжо ломким и хрупким, как молодой кокос, и проку от него не будет никакого, разве что в музей снести и подписать: здесь, мол, лежит некогда славное оружие Педро Аршанжо, было славное да сплыло, — покончила иаба с этой славой и отвагой.

Не сомневалась проклятая в своей победе, твердо была она в ней уверена: ведь всякому известно, что иабы способны превращаться в женщин необычайной красоты и непобедимого очарования, умеют они становиться пылкими и искуснейшими любовницами, но известно также, что достичь наслаждения им не дано: всегда остаются они неудовлетворенными и просят еще и еще, и страсть их только пуще разгорается. Прежде чем достигнет иаба райских врат и отведает нектара, должен будет сдаться ее любовник, сдаться и отступить побежденным. Не родился еще на свет тот, кто прошибет эту стену, из бешеного, страстного, но тщетного желания сотворенную, кто проведет дьяволицу туда, где зазвучит для нее осанна и аллилуйя.

Но иаба придумала Аршанжо кару позлее бессилия, пострашней поражения в сладостном, в яростном этом поединке: хотелось ей, чтоб навек раненым осталось и сердце его, хотелось ей смешать Педро с грязью, превратить его в жалкого, молящего, несчастного невольника, тысячекратно преданного и презренного...

Шла иаба по улице, довольна была она своим замыслом. Когда же тысячу раз заставит она Педро испытать наслаждение дивным своим телом, когда покорится он ей, влюбившись насмерть, тогда равнодушно уйдет она прочь — уйдет, не попрощается. И увидит она — и весь мир увидит! — как будет он валяться у нее в ногах, и целовать следы ее ног в дорожной пыли, и вымаливать, словно величайшую милость, взгляд или улыбку, и униженно выпрашивать позволения прикоснуться хоть к мизинчику ее, хоть к пятке, — ах, сжалься, сжалься! — к черным набухшим виноградинам cосцов...

И тогда, протащив его по грязи бессилия и презрения, втопчет его иаба еще глубже — в бесчестье. Станет она открыто предлагать себя всему свету, станет кокетничать со всеми встречными, завлекать их, кружить им головы. Пусть все увидят, как сходит он с ума от ревности, как заносит над нею нож, как размахивает бритвой: «Вернись, не то я убью тебя, проклятая! Если другому позволишь ты сорвать полевой твой цветок, я убью тебя и себя!»

И придет день, когда все увидят, как плачет он и молит, когда превратится он в жалкого рогоносца, когда потеряет он последние крохи достоинства и навек распрощается с гордостью, когда очнется он в грязи, в позоре, в смерти, в любовной муке. «Приди! — закричит он тогда. — Приди и приводи с собою всех, кто с тобою спит, всех любовников твоих и кавалеров! Изменяй мне, сколько хочешь, но только приди! Я, вывалянный в дерьме, я, вымоченный в желчи, заклинаю тебя: приди! И я приму тебя с благодарностью...»

Как все знают, иабам не дано испытать наслаждения, но неведомы им ни любовь, ни любовное страдание, потому что — это доказано — сердца у них нет: грудь их пуста, словно дупло, и тут уж ничем не поможешь... И шла проклятая природой и вечно свободная иаба по дороге, шла и посмеивалась, и покачивался отставленный ее зад, и стрелялись, увидев ее, мужчины. Бедный, бедный местре Педро Аршанжо!

Но, любовь моя, вышло так, что он, растянувшись на пороге «Лавки чудес», уже поджидал дьяволицу, поджидал с той минуты, когда ночь зажгла первую звезду, а луна выкатилась из-за домов Итапарики и повисла над темно-зеленым, маслянистым морем. Все было в ту ночь: и луна, и звезды, и безмолвное море. Была и песня:

За вежливость, сеньора,

Спасибо от души!

Ужасно вы надменны,

Но дивно хороши!

Нетерпеливо ожидал Аршанжо прихода иабы, и так велико и непомерно было его желание, что, должно быть, от него одного на десятки миль окрест теряли девственницы невинность, а иные даже беременели.

Ты спросишь, любовь моя: «Как же это? Откуда прознал Аршанжо о коварных и потаенных замыслах иабы?» Ответ на загадку эту прост: разве не был Педро Аршанжо любимым сыном Эшу, повелителя дорог и перекрестков? Разве не был он, кроме того, оком Шанго, а око Шанго видит далёко — далёко и глубоко́.

Эшу известил его о могуществе и о скверных намерениях пустогрудой дьяволицы-распутницы, известил, а потом научил, что делать: «Омойся настоем из листьев, только не каких попало, — сходи сначала к Оссайну, узнай у него; ему одному ведома тайная сила растений. Потом пропитай воду ароматом питанги, а как пропитается, смешай ее с солью, медом и перцем и натрись ею: будет тебе больно, а ты вытерпи боль как мужчина, и скоро увидишь, что станет с тобой. Ни женщина, ни иаба не победит тебя».

А под конец волшбы вручил ему Эшу ожерелье и браслет, какой носят на лодыжке, и так сказал: «Когда уснет иаба, надень ей ожерелье на шею, а браслет на ногу, и будет она скована и пленена навечно. Остальное расскажет тебе Шанго».

А Шанго прислал ему двенадцать петухов черных и двенадцать петухов белых и еще — голубку: незапятнанной белизны было ее оперение, и выгнута грудка, и нежно воркование. Из окровавленного любящего сердца голубки сотворил колдовским способом Шанго бусину — белую, красную бусину — и отдал ее Аршанжо и проговорил громовым своим голосом такие слова: «Слушай, Ожуоба, и постигай: когда уже будет связана иаба, когда заснет она и станет беззащитна перед тобою, всунь эту бусину ей в зад и жди без страха, что последует за тем. Но что бы ни случилось — не беги, не сходи с места, ожидай». Аршанжо пал ниц и ответил: «Аше».

Потом омылся он настоем из листьев, которые по одному отобрал для него Оссайн. Медом и питангой, солью и горьким перцем растерся он перед битвой, и словно страннический посох стало оружие его. В карман спрятал он ожерелье, браслет и сердце голубки — бело-красную бусину Шанго — и на пороге «Лавки чудес» стал поджидать иабу.

Только-только показалась она на углу, бросился на нее Аршанжо, не теряя времени на разговоры, ухаживанья и заигрыванья. Сразу начали они схватку. Да, любовь моя, только-только появилась она у «Лавки чудес», ринулся ей навстречу Аршанжо, задрал ее накрахмаленные, отглаженные юбки и оказался где хотел. Пламя на пламя, мед на мед, соль на соль, перец на перец. Ах, любовь моя, кто ж в силах описать эту схватку двух равных противников, эту случку жеребца с дикой кобылой, кто поведает о том, как мяукает обезумевшая кошка, как воет волк, как ревет вепрь, как рыдает девушка в миг, когда становится она женщиной, как воркует голубка, как рокочут волны?!

Проникли они друг в друга и, пронизывая ночь, покатились вниз по склону, a остановились только на песке у порта. Прилив унес их в море, но и в морской пучине продолжали они безумную скачку, неистовую игру.

Не рассчитывала иаба, что придется ей иметь дело с таким противником, и после каждой новой атаки Аршанжо думала проклятая с надеждой и яростью: «Ну, уж теперь-то ослабеет и сдастся он!» Ничуть не бывало: только крепче становилось железо в огне и в страсти.

Не ждала иаба, что испытает она такое удовольствие от чудесного, невиданного, на меду, на перце, на соли настоянного оружия Аршанжо. «Ах, — простонала она в отчаянии, — ах, если бы мне...» Но нет, не вышло.

Три дня и три ночи без перерыва продолжалась великая эта битва, небывалое это празднество, десять тысяч раз овладел Аршанжо иабой, и так измучилась она в безграничной своей ярости, что внезапно сдалась, побежденная колдовской силой... Закричала она от наслаждения, и словно раскололось грозовое небо. Орошена пустыня, побеждена засуха, преодолено проклятие! Осанна и аллилуйя!

И тогда она уснула, уснула, став наконец самкой, но не женщиной, нет, нет, еще не женщиной.

В комнате Аршанжо, где сплелись тени и ароматы, ничком спала иаба, и когда успокоилось ее дыхание, надел Аршанжо ей ожерелье на шею и браслет на лодыжку и сковал ее. А потом со всей своей баиянской нежностью вложил меж божественных ее ягодиц птичье сердечко, волшебную бусину Шанго.

В тот же миг испустила она рев — раздались ужасные, страшные, оглушительные звуки, и смертельным запахом чистейшей серы наполнился воздух. Молнии блеснули над морем, глухим эхом отозвались громы, бешеные вихри-ураганы пронеслись над планетой. Огромный гриб поднялся к небесам и закрыл солнце.

Но сразу все успокоилось: наступила тишина, воцарилась радость: радуга засверкала на небе — то богиня Ошумарэ объявила о том, что настал мир, начался праздник. Запах серы сменился ароматом распустившихся роз, а иаба была уже не иаба, а негритянка Доротея, и волею Шанго в груди ее выросло самое нежное, самое послушное, самое любящее сердце, какое только бывает. Навеки стала иаба негритянкой Доротеей: огненное лоно, непокорный и дерзкий зад — и сердце голубки.

Вот и вся история, любовь моя, и прибавить к ней нечего. Разгрызен этот орешек, раскрыта тайна, решена задача. А Доротея стала отважной и праведной дочерью Иансан. Некоторые сплетники клянутся, что, когда начинает она танец на террейро, откуда-то явственно попахивает серой — остался этот запашок с тех времен, когда была Доротея иабой и пожелала сбить спесь с Педро Аршанжо.

Трудное это дело — сбить спесь с мулата! Многие пытались и в переулках Табуана, где помещается «Лавка чудес», и на Террейро Иисуса, где возвышается факультет, — многие пытались, да ни с чем остались. Только вот Роза... Если кто и обучил местре Педро любовному страданию, если кто и победил его, то это Роза, Роза де Ошала, а больше никто — ни угольно-черная иаба со всей злобой своей, ни во фрак обряженный профессор со всеми своими премудростями.

### 2

Двое мужчин склонились над типографским станком, а юный подмастерье не хочет, чтобы они заметили, как неодолимо клонит его ко сну. Он своими глазами увидит первые страницы — много месяцев в радостном волнении ждал он этой минуты; ждал ее Аршанжо, ждал и Лидио Корро: он так взбудоражен и оживлен, что именно его человек несведущий и посторонний принял бы за автора книги «Обычаи и обряды народа Баии» — первой книги местре Педро Аршанжо.

Последние забулдыги разошлись по домам, последняя гитара оборвала позднюю серенаду. Крик петухов разносится по улице, совсем скоро проснется и оживет город. Подмастерье слушал главы из книги, считывал и помогал набирать первые строчки, а теперь он пытается подавить зевоту, трет воспаленные глаза, моргает отяжелевшими векам — вроде бы незаметно, но Лидио Корро все видит:

— Иди спать.

— Я еще не хочу спать, местре Лидио, еще рано!

— Ты ведь на ногах не держишься, стоя спишь. Иди спать!

— Крестный, пожалуйста, — теперь в голосе мальчика слышится не только горячая мольба, но и решимость настоять на своем, — попросите местре Лидио, чтобы позволил мне остаться до конца. Мне совсем не хочется спать.

Для работы над книгой оставалась у них только ночь: утром ветхий типографский станок ждали обычные заказы — брошюрки бродячих певцов, рекламные листовки и проспекты для лавок и магазинов. В конце месяца — кровь из носу! — Лидио должен выплатить Эстевану очередной взнос за типографию. Вот и сражаются они по ночам со временем и с маленькой, ручной, ревматической, капризной и брюзгливой машиной. Лидио Корро называет ее «тетушкой», просит ее благословения и благоволения, заручается ее поддержкой, но сегодня «тетушка» что-то упрямилась, и большую часть времени ее чинили и отлаживали...

Подмастерье зовут Тадеу, и ремесло типографщика ему по нраву. Когда Эстеван дас Дорос решился в конце концов уйти на покой и продать мастерскую, Лидио позвал в помощники Дамиана. Однако ни типографская краска, ни литеры не заинтересовали шалопая, и проработал он недолго. Дамиан жить не мог без движения, без уличной толчеи. Он устроился в суд, бегал с протоколами, актами, петициями, апелляциями и прошениями, носился от судей к адвокатам, от прокуроров к секретарям. Так началась его юридическая карьера: был Дамиан на редкость сообразителен, лукав и пронырлив... А в типографии один ученик сменял другого, и никто не задерживался надолго в мастерской, где платили мало, а работать — и притом вручную — приходилось много. Никто не справлялся. Тадеу был первым учеником, которым местре Лидио остался доволен.

Лидио соглашается и, вскрикнув от радости, бежит Тадеу умыться холодной водой, чтобы прогнать сон. День за днем, страница за страницей следил Тадеу за работой местре Аршанжо и даже сам не подозревал, как нужен он был тому, кого называл крестным, как вдохновлял он Аршанжо на новое и нелегкое дело — как помогал он ему овладеть искусством решительных выводов и тонких намеков, скрупулезности и недомолвок, искусством писать правду, постигать слово и его смысл.

Педро Аршанжо пишет для этих двоих людей, и они водят его рукой: вот они — кум, компаньон, близнец, друг всей жизни и этот мальчик, бойкий, прилежный, хрупкий мальчик с горящими глазами, сын Доротеи. И вот закончена книга, и Лидио раздобыл в кредит бумагу.

Придумал-то все паренек с Тороро по имени Валделойр, но заставили Аршанжо взяться за перо случившиеся в это самое время происшествия. Ему всегда нравилось читать — он проглатывал любую книгу, что попадала ему в руки, он запоминал и записывал всякие истории, случаи и события — все, что имело отношение к обычаям и нравам народа Баии, — но о своей книге и не помышлял. Не раз, правда, казалось ему, что все его заметки — ответ на теории некоторых факультетских профессоров: теории эти были нынче в большой моде, выводы их и положения склонялись на все лады в аудиториях и коридорах медицинского факультета.

В ту ночь было выпито изрядно. Большая компания внимательно слушала рассказы местре Педро, а все истории были не простые, а с подковыркой, все наводили на размышления и заставляли призадуматься... Лидио Корро и Тадеу тем временем укладывали в пачки экземпляры некой книжечки, автор которой, Жоан Калдас, «певец народа и его слуга», семистопными, кое-как зарифмованными стихами излагал повесть о жене пономаря, что уступила домогательствам падре, а потом обернулась безголовым мулом и теперь носится по лесам и дорогам, изрыгая пламя и наводя страх на всю округу. Обложку украшала резанная по дереву гравюра местре Лидио — была она одновременно и скромная, и впечатляющая: изобразил художник грозу дорог, ужас путников — безголового мула, голова же его, отрубленная, но живая, впилась поцелуем в согрешившие уста падре-святотатца. В общем, как сказал Мануэл де Прашедес, — «картинка — закачаешься!».

— Местре Педро знает все на свете, помнит столько историй и так здорово их рассказывает, что мог бы все это записать, а Лидио бы напечатал, — сказал вдруг Валделойр, непременный участник всех афоше, мастер самбы и капоэйры, любитель поэзии и прозы.

Разговор этот шел в деревянной пристроечке, в саду. Комната была теперь занята типографским станком, так что все беседы велись в этой выстроенной местре Лидио пристройке под оцинкованной крышей. Там же работал отныне и волшебный фонарь.

Лидио просто надрывался на работе: он верстал и печатал, рисовал «чудеса», резал гравюры для обложек и еще время от времени рвал зубы. С Эстеваном был заключен кабальный договор сроком на два года, и платить надо ежемесячно. Пристройка была нужна еще и потому, что сборы от волшебного фонаря приносили некоторый доход, а кроме того, Педро Аршанжо не мог не читать стихов Кастро Алвеса, Гонсалвеса Диаса, Казимиро де Абреу[[30]](#footnote-30), — стихов, воспевающих любовь и проклинающих рабство, не мог не участвовать в круговой самбе, не восхищаться замысловатыми па Лидио и Валделойра, монотонным голосом Ризолеты, пляской Розы де Ошала. Аршанжо не согласился бы отменить спектакли, даже если бы они не приносили ни гроша, и по четвергам плакат на дверях «Лавки чудес» по-прежнему возвещал: «Сегодня — представление».

Дождь лил без перерыва почти целую неделю, — был месяц штормов, месяц влажных, пронизывающих, иглами колющих, печально завывающих ветров с юга. Затонули две рыбачьи шхуны, троих погибших так и не нашли, — видно, суждено им до скончания века плыть в поисках земли Айока, на край света. Остальные четыре трупа через несколько дней прибило к берегу: глаза выедены соленой водой, тела облеплены крабами... Страшно смотреть! Вымокшие до нитки, дрожа от холода, стучались друзья в двери «Лавки чудес». Вот в такие-то печальные и беспросветные дни доказывает кашаса истинную свою ценность. В ту ночь после заявления Валделойра слово взял Мануэл де Прашедес:

— Местре Педро много знает: чего только нет у него в голове, чего только не поназаписывал он на своих бумажках. Жаль будет, если одними песенками, которым грош цена, все дело и кончится! Люди не слыхали о многом, а послушать стоит! Пусть бы местре Педро рассказал свои истории какому-нибудь профессору-грамотею, на факультете таких — пруд пруди, а тот все запишет по порядку: будет людям польза. Готов поспорить, что профессор с радостью ухватится за это дело.

Спокойно и задумчиво взглянул местре Педро Аршанжо на добродушного великана Мануэла, взглянул — и вспомнилось ему, сколько всего произошло за последнее время здесь, на Табуане, и в его окрестностях, и на Террейро Иисуса. Веселая улыбка медленно осветила лицо, прогоняя непривычную суровость, и стала еще шире, когда глаза Аршанжо прошлись по лицам гостей и встретились с глазами кумы — красавицы Теренсии, матери сорванца Дамиана.

— А зачем мне профессор? Я и сам напишу. Неужто ты считаешь, Мануэл, что раз мы бедняки, то ничего путного не можем создать? Что ничего, кроме корявых куплетов, нам не по силам? Я тебе докажу, милый, — это не так! Я сам напишу.

— Я не думал сомневаться в тебе, Педро, дружище! Сам так сам. Просто профессор, думается мне, все проверит, не подкопаешься. Ученый человек... Для него все — открытая книга...

— Эх, Мануэл, никто на свете не врет больше, чем твои ученые люди: они черное выдадут за белое. Их-то и надо учить — невежественных и ничтожных этих всезнаек! Тебе это невдомек, Мануэл де Прашедес, ты ведь не бываешь на факультете, не слышишь этих разговоров, не мотаешь их на ус. А известно ли тебе, Мануэл де Прашедес, что, по мнению некоторых ученых мудрецов, «мулат» и «преступник» — синонимы?!

— Я, дружище Педро, не знаю, что такое «синоним», но это бессовестное вранье, и о нем надо рассказать поподробней!

Подмастерье Тадеу не выдержал, захохотал, захлопал в ладоши:

— Крестный научит их всех уму-разуму, и дурак, кто в этом сомневается.

Напишет ли Педро Аршанжо свою книгу или, завертевшись в водовороте празднеств, женщин, репетиций пасторилов, капоэйры, обрядов макумбы, позабудет обещание, что дано было той штормовой, хмельной ночью в «Лавке чудес»? Наверно, позабыл бы, если б через несколько дней не вытребовала его к себе для неотложного разговора матушка Маже Бассан.

Она восседала у алтаря в своем кресле с подлокотниками — и убогое кресло казалось троном грозной царицы. Так сказала она Педро Аршанжо:

— Прознала я, что обещал ты сочинить книгу, но ведомо мне, что ты не пишешь, а только разговоры разговариваешь и до дела руки твои не доходят. Только думать — мало! Ты носишься по всему городу, беседуешь со всеми и все записываешь, а зачем? Неужто собираешься ты всю жизнь быть на посылках у докторов? Служба твоя кормит тебя, но довольствоваться этим не имеешь ты права. И не писать не имеешь ты права. Не для того создан ты Ожуобой.

Вот тогда-то Аршанжо и взялся за перо.

Лидио Корро помогал ему во всем: подбирал материалы, делился своими догадками — они почти всегда подтверждались, — остроумно и скромно высказывал свое мнение о прочитанном. Если бы Лидио не торопил его, не доставал денег на типографскую краску и бумагу, может статься, бросил бы местре Педро сочинение свое на полдороге или затянул бы работу до невозможности, боясь наделать грамматических ошибок, поддавшись обстоятельствам, а то и просто отвлекшись. Очень не хватало ему танцулек, воскресной попойки, любви какой-нибудь новой подружки. Лидио подгонял Аршанжо, подмастерье Тадеу — вдохновлял, а сам местре Педро излагал на бумаге свои мысли, так что поручение матушки Маже Бассан выполнено было в срок.

В самом начале работы он никак не мог позабыть о самоуверенных факультетских профессорах, и отзвуки расистских теорий так или иначе влияли на его сочинение, лишая книгу свободы и силы, подгоняя под заранее установленный образец. Но по мере того как на свет рождались новые и новые главы, Педро Аршанжо все меньше думал о профессорах и теориях, потому что вовсе не собирался разоблачать их в полемике, к которой не был готов, а просто хотел поведать о жизни народа Баии, о нищете и о великолепии убогой и благородной повседневности — хотел показать, как этот преследуемый и гонимый народ полон решимости все пережить, все преодолеть, сохранив и умножив свое достояние: танец, песню, железо, дерево — свою культуру и свою свободу, рожденную в киломбо и сензалах[[31]](#footnote-31).

Вот тогда он и начал работать с истинным, почти чувственным удовольствием, тогда и стал уделять своему сочинению все свободное время — каждую его секунду. Он перестал вспоминать о сухом и грубом Нило Арголо, о вежливом и веселом, но оттого не менее яростно отстаивавшем дискриминационные доктрины профессоре Фонтесе и о прочих недругах. Наставники и воспитанники, эрудиты и шарлатаны не тревожили его больше. Рукою Педро Аршанжо водила любовь к народу Баии, а гнев только вносил в его книгу страсть и поэтичность, и потому из-под его пера вышел документ — документ неопровержимой силы.

Бессонная ночь в типографии. В тяжком усилии напрягаются руки. Медленно постанывает ротационная машина. И подмастерье Тадеу забыл про сон и усталость, увидав лист бумаги, покрытый буквами, — первую страницу книги! — вдохнув запах свежей типографской краски. Кумовья вынимают бумагу, и Педро Аршанжо читает — читает или произносит наизусть? — первую фразу, свой боевой клич, лозунг, итог исследований, символ веры: «Смешение рас — это лицо бразильского народа, смешение рас — это его культура».

Сентиментальный Лидио Корро чувствует, как сжимается его сердце — еще не хватало умереть от волнения в такой радостный час. А Педро Аршанжо вдруг становится серьезен, важен, держится как-то торжественно, и видно, что мысли его далеко. Но уже через минуту его не узнать: звучит его добрый, звонкий, ясный смех, раскатывается неумолчный, вольный хохот: он подумал об этих мудрецах, об этих столпах науки, о не знающих жизни знатоках, о профессоре Арголо, о профессоре Фонтесе. То-то скорчат они рожи! «И мы, и вы — плод смешения рас, но наша культура родилась и от смешения рас, а вот ваша вывезена из-за границы, как консервированное дерьмо!» Да их обоих кондрашка хватит! Смех Педро Аршанжо зажигает зарю, светом заливает баиянскую землю.

### 3

За несколько месяцев до этого события, однажды ночью, когда празднество на террейро было в самом разгаре и ориша танцевали с сыновьями своими и дочерьми под гром атабаке и рукоплескания в такт, там появилась Доротея, и за руку она вела мальчика-подростка лет четырнадцати. Иансан позвала было ее к себе, но она попросила прощенья и опустилась сначала на колени перед Маже Бассан — чтобы та благословила ее и мальчика. Потом подвела она его к Ожуобе и велела:

— Подойди под благословение.

И Аршанжо увидел, что мальчик худ, но крепок, что лицо у него тонкое, открытое, а волосы — черные, прямые и блестящие, глаза — живые, пальцы — длинные, губы — красиво очерчены. Жозе Аусса, жрец Ошосси, стоявший рядом, окинул их обоих быстрым любопытным взглядом и улыбнулся.

— Кто он мне? — спросил мальчик.

Доротея улыбнулась, как Аусса, — загадочно и едва заметно:

— Он твой крестный.

— Благословите, крестный.

— Садись, дружок, вот здесь, возле меня.

А Доротея, прежде чем уйти к Иансан, которая нетерпеливо кликала ее, произнесла мягко, но властно, как она умела:

— Он говорит, что хочет учиться, только о том и твердит. До сих пор ни к какому берегу не прибился: не пожелал стать ни плотником, ни каменщиком. Все считает да считает: таблицу умножения знает лучше учителя! Помощи мне от него никакой, одни расходы. Что мне делать? Не хочу ломать ему судьбу, — видно, не в меня он пошел, — не хочу, чтобы он занимался тем, что ему не по душе. Я ведь ему не мачеха, а родная мать. Я и мать, и отец, а для меня это чересчур: сам знаешь, живу я бедно, торгую на улице, стою у жаровни — вот и весь мой заработок. Привела я его к тебе, Ожуоба, отдаю его тебе. Выведи его в люди.

Она взяла руку сына и поцеловала ее. Потом поцеловала руку Аршанжо и долго смотрела на обоих. Иансан призывала Доротею, и она испустила крик, что и на мертвых наводит страх, и с короткой кривой саблей в руках начала танцевать на террейро. «Эпаррей!» — крикнули ей разом Аршанжо и Тадеу.

А в типографии, в книгах, в познаниях местре Педро мальчик нашел то, что искал. Аршанжо узнавал себя в крестнике: та же любознательность, то же беспокойство, та же неугомонность... Только у Тадеу была точно намеченная цель, и шел он по заранее выбранному пути: учился не урывками, не кое-как, не потому, что ему просто нравилось постигать и приобретать знания. Тадеу шел к цели, Тадеу хотел достичь чего-то в жизни. Откуда взялось в нем такое честолюбие, от какого далекого прадеда унаследовал он его? Упрямством-то его наделила мать, и непокорная сила тоже была от нее — от дьявольской этой женщины.

— Крестный, я хочу сдать экзамены, — сообщил он Аршанжо как-то раз, отказавшись от прогулки. — Мне надо заниматься. Если вы мне поможете по языку и географии, можно будет попробовать. По арифметике не нужно, а по истории Бразилии меня подготовит один знакомый.

— Ты хочешь сдать четыре экзамена сразу, в один год?

— Если вы мне поможете, я сдам.

— Ну что ж, милый, давай начнем не откладывая.

...А собирались они в Рибейру. Будиан отправился вперед, повез провизию и девиц. Обещалась там быть одна, по имени Дурвалина — просто куколка... Педро Аршанжо посулил ей, что будет петь под гитару, а потом, в самый разгар праздника, похитит ее и на лодке свезет в Платаформу... Не сердись, Дурвалина, прости, в следующий раз, хорошо?

### 4

Бродячие поэты, большинство которых пользовалось услугами типографии Лидио Корро, не могли упустить такой замечательной темы, как ссора Аршанжо с учеными мужами, и воспели ее в стихах. Происшествие стоило того.

На Террейро Иисуса

Вышел раз большой скандал...

За несколько лет было напечатано не то шесть, не то семь книжек: в них описывались события, последовавшие за выходом его сочинения. Все авторы были на стороне Аршанжо. Первая книга местре Педро была воспета в восторженных стихах славного импровизатора Флорисвало Матоса, неизменного участника всех именин, свадеб и крестин:

Я почтеннейшей публике рад

Сообщить: гениальный трактат

Сочинил местре Педро. Впервые

Живописаны нравы Баии.

Согласитесь, для этого шага

Нужны равно талант и отвага.

Когда полиция нагрянула на кандомбле Прокопио, Педро Аршанжо стал героем целых трех поэм, заполненных славословиями по его адресу. Стихи немедленно стали предметом живейшего обсуждения на рынках, на улицах и в переулках, в мастерских и лавчонках, — словом, всюду, где собирался бедный люд Баии. Кордозиньо Бемтеви, «романтический менестрель», даже забросил на время очень удававшуюся ему любовную лирику и сочинил поэму с таким вот длинным и завлекательным названием: «О том, как инспектор Педрито повстречался на террейро у Прокопио с Педро Аршанжо». На обложке брошюрки Люсино Формиги «О том, как Педрито Толстяк потерпел поражение от Педро Аршанжо» изображен был отступающий в страхе инспектор, уронивший плеть, а перед ним стоял безоружный и неколебимый, как утес, местре Педро. Но наибольший успех выпал на долю эпического романа в стихах, принадлежащего перу Дурвала Пименты. Он назывался «Педро Аршанжо против полицейского страшилища» и вызвал настоящую сенсацию.

Среди поэтов, посвятивших свою музу собственно научной дискуссии, лавры стяжали Жоан Калдас и Каэтано Жил. Первый был прославленным трубадуром и отцом восьмерых детей — по прошествии времени их стало четырнадцать, кроме того, появились внуки, и тоже в немалом числе, — он порадовал читающую публику следующим шедевром, озаглавленным «Педель учит профессора»:

...Исчерпав все аргументы,

Заявили оппоненты,

Что Аршанжо — черт...

После публикации «Заметок...» на сцену вышел, презрев все нормы и правила, юный, отважный и талантливый Каэтано Жил: он пел под гитару свои песенки о жизни, любви и надежде, сочинял самбы и модиньи. Вот его творение:

Утверждать Аршанжо смеет:

Нынче негр читать умеет!

Чернокожий!

Было ж сказано когда-то,

Что диплома у мулата

Быть не может!

Но Аршанжо заявляет:

И метис теперь читает.

Вот напасти!

В наказанье за отвагу

Засадить его в тюрягу!

Где же власти?!

Что же смотрит полицейский?

Ясен умысел злодейский!

Это смута!

Покарать за оскорбленье,

За такое поношенье

Нужно круто!

### 5

В 1904 году профессор судебной медицины Нило Арголо представил собравшемуся в Рио-де-Жанейро научному съезду свой доклад «Баия как пример психосоматической дегенерации лиц со смешанной кровью». Доклад был опубликован в медицинском журнале, а потом вышел отдельной брошюрой. В 1928 году Педро Аршанжо написал «Заметки о смешении рас в баиянских семьях»; было напечатано всего сто сорок два экземпляра — больше не успели, — пятьдесят из которых Лидио Корро разослал по отечественным и заграничным библиотекам и институтам, отправил ученым, профессорам и писателям. За те двадцать лет, что разделяли эти события, весь медицинский факультет оказался вовлеченным в полемику о проблеме расизма в мире и в Бразилии: выдвигались доктрины, отстаивались теории, ссорились профессора и кафедры. В споре приняли участие и авторитетные ученые, и полицейские. Было написано множество книг, докладов, статей и брошюр; газеты проводили яростные кампании, в ходе которых обсуждались различные стороны жизни Баии, включая религиозный и культурный аспекты.

Книги Аршанжо — особенно первые три — имеют самое непосредственное отношение к этому спору, и можно с полной уверенностью утверждать, что в первой четверти двадцатого века в городе Баия разгорелась война — война идей и принципов — между некоторыми профессорами, окопавшимися на кафедрах психиатрии и судебной медицины, и преподавателями житейского университета Пелоуриньо: многие из них лишь тогда поняли, что происходит — да и то не вполне, — когда полиция была призвана вмешаться в конфликт и вмешалась.

В начале века на медицинском факультете Баии создались исключительно благоприятные условия для высиживания расистских теорий, потому что факультет, основанный еще при короле Жоане Шестом, медленно, но верно терял черты мощного центра медицинских исследований, колыбели бразильской науки, приюта ученых, одинаково хорошо разбиравшихся и в своем деле, и в жизни, и превращался в притон, где создавалась закостеневшая, пустопорожняя, напыщенная, реакционная, академическая литература, которую и литературой-то можно было назвать с большой натяжкой. В те времена над славным факультетом реяли знамена предрассудка и нетерпимости.

Наступила печальная эпоха медиков-литераторов, — они больше интересовались правилами грамматики, чем законами науки, они орудовали местоимениями гораздо увереннее, чем скальпелем. Там боролись не с болезнями, а с галлицизмами; там изыскивали не способы лечения эпидемий, а неологизмы, и «галошу» заменяли «мокроступом». Там создавали гладкую, правильную, классическую прозу; там процветала реакционная лженаука.

Да будет позволено заметить, что именно книги почти никому не известного Педро Аршанжо начали борьбу с этой официальной псевдонаукой, завершили эру печального прозябания факультета. Дискуссия по расовой проблеме, вырвав славный факультет из пут дешевой риторики и сомнительных теорий, пробудила в ученых интерес к науке, вдохновила на честные и самостоятельные умозаключения — словом, заставила их вновь заняться делом.

Полемика происходила при весьма примечательных обстоятельствах.

Во-первых, полностью отсутствуют какие бы то ни было архивные материалы, нет ни записей, ни сведений, ни сообщений, хотя полемика вызвала студенческие демонстрации и крутые меры властей. Только в полицейской картотеке сохранилось упоминание о Педро Аршанжо, сделанное в 1928 году: «Известный смутьян вступил в конфликт с выдающимися учеными». Знаменитости, принимавшие участие в дискуссии, не могли унизиться до перебранки с педелем. Никогда и нигде — ни в одной статье, ни в одном докладе, ни в одном реферате, исследовании или диссертации — выдающиеся ученые словом не обмолвились о работах Аршанжо: их не цитировали, с ними не дискутировали, их не опровергали. А сам местре Педро лишь в «Заметках...» откровенно и прямо заговорил о книгах и статьях профессоров Нило Арголо и Освалдо Фонтеса (и о работах молодого, недавно приехавшего из Германии профессора Фраги — единственного человека, который осмелился опровергать утверждения высокопоставленных мудрецов). До этого Аршанжо не трогал двух баиянских теоретиков расизма, не касался их трудов, не отвечал им, предпочитая бороться с арийскими теориями несокрушимым оружием неоспоримых фактов, яростной защитой, страстной апологией смешения рас.

Во-вторых, эта полемика, эхом прокатившись по всему факультету, затронув и преподавателей, и студентов, и даже полицейских, оставила совершенно равнодушным общественное мнение. Интеллигенты всех мастей вообще не подозревали о ней: она не выходила за пределы медицинского факультета. Отзвук спора можно найти только в эпиграмме Лулу Пиролы, влиятельного журналиста того времени: он ежедневно помещал в одной из утренних газет стихотворный фельетон, остроумно и едко комментируя события. В руки ему попал экземпляр «Заметок...», и он с веселой злостью потешался над «темными мулатами» (то есть теми, кто скрывал свое происхождение и смешанную кровь), издеваясь над их спесью и благородной голубой кровью, и превозносил «мулатов светлых» (то есть тех, кто открыто и гордо заявлял, что происходит от смешанного брака). Итак, поэзия была на стороне Аршанжо: и бродячие певцы, и сочинители ярмарочной литературы, и прославленный в газете и гостиных бард поддержали его.

Ну, а народ очень мало знал о происходящем. Волнение вызвал только арест Ожуобы, хотя все уже успели привыкнуть к полицейскому произволу. Педро Аршанжо так часто попадал в разнообразнейшие передряги и скандальные истории, что последнее происшествие особенного шума не вызвало и славе его не способствовало.

Одновременно с дискуссией по поводу смешения рас Аршанжо принял активное участие в борьбе между инспектором Педрито и участниками макубы. До сих пор на террейро, на рынках и ярмарках, в порту, на всех углах, на всех улицах и во всех закоулках можно услышать многочисленные версии рассказа о встрече Педро Аршанжо и Педрито Толстяка в час, когда грозный инспектор нагрянул на обряд кандомбле у Прокопио; до сих пор повторяют слова, сказанные Аршанжо в ответ полицейскому страшилищу, одно имя которого наводило на всех страх и ужас. Гонения на участников кандомбле явились прямым следствием расистской политики, начатой на факультете и подхваченной некоторыми газетами. Педрито Толстяк применил на практике идеи Нило Арголо и Освалдо Фонтеса, действия его были логическим продолжением их теорий.

Об этой несправедливо забытой дискуссии можно сказать, что итоги ее были чрезвычайно значительны: расизм заклеймили как антинаучную доктрину, его объявили синонимом — гнусным синонимом! — шарлатанства, реакционности, последним прибежищем обреченных на гибель классов и каст. Если Педро Аршанжо и не покончил с расистами — дураки и подлецы были и будут во все времена и при любом строе, — то он отметил их огненным клеймом, выставил на позорище — «полюбуйтесь, вот они — антибразильцы!» — и восславил смешение рас.

### 6

— Нет, дорогой коллега, это не лишено интереса, — произнес профессор Нило Арголо. — Разумеется, глупо было бы ждать, что мулат, факультетский педель, сочинит что-нибудь основательное, но если оставить в стороне эту бессмысленную и наглую защиту смешения рас, — конечно, нам, белым, находящимся у источника познания, это не пристало, но метису-полукровке сам бог велел ратовать за метисацию, — так вот, если не обращать внимания на очевидные нелепости и смехотворные выводы, а рассматривать эту книжку лишь как пространный перечень обрядов и обычаев, то нужно признать: многое из того, о чем пишет этот плут, мне было неизвестно.

— Ну что ж, тогда я отважусь прочесть его опус, хотя особенного желания у меня нет, да и времени тоже. Вон он идет, а мне пора на лекцию, — ответил профессор Освалдо Фонтес и вышел. Коллега, друг, последователь и интеллектуальный выкормыш Арголо слегка побаивался его: Нило Арголо де Араужо был не просто теоретик: это был пророк и вождь.

Разговор шел о книге Педро Аршанжо, и профессор Арголо удивил своего единомышленника, попросив его:

— Покажите мне этого кафуза[[32]](#footnote-32). Я не вглядываюсь в физиономии служащих, знаю только тех, кто усерден и старателен, да и то лишь с моей кафедры. Все остальные кажутся мне похожими друг на друга, и от всех одинаково скверно пахнет. Дома моя супруга дона Аугуста заставляет челядь мыться ежедневно.

При упоминании имени ее превосходительства доны Аугусты Кавальканти дос Мендес Арголо де Араужо, благородной и жестокой супруги прославленного ученого, профессор Фонтес поклонился. Это была дама старого закала, из разорившейся знати времен Империи, высокомерная и мстительная: перед ней трепетали не только слуги, но и бестрепетные политики. Несмотря на то что профессор Фонтес был убежденным расистом и считал мулатов неполноценной субрасой, а негров — попросту говорящими обезьянами, слуг семьи Арголо он все же пожалел: каждый из супругов и по отдельности был нелегким испытанием для смертного, можно себе представить, каковы они вдвоем!

Педро Аршанжо шел по коридору к выходу, радуясь омытому солнечными лучами дню, ступая в такт мелодии самбы, тихонько — из уважения к стенам факультета — насвистывая ее. У самых дверей, когда он засвистел громче, потому что на площади всякий волен распевать или шуметь в свое удовольствие, властный голос остановил его:

— Подождите!

Неохотно оборвав мелодию, Аршанжо повернулся и узнал профессора. Нило Арголо, профессор судебной медицины, краса и гордость медицинского факультета, высокий, прямой, сухощавый, весь в черном, был похож на средневекового инквизитора. Злой золотистый огонек горел в его маленьких глазках мистика и фанатика.

— Подойдите!

Аршанжо своей развалистой походкой капоэйриста приблизился к профессору. Зачем он позвал его? Неужели прочел книгу?

Расточительный Лидио Корро разослал по экземпляру нескольким профессорам. Бумага и типографская краска стоили денег, и, чтобы оправдать расходы, книги продавались в магазинах или прямо на улице чуть дороже себестоимости. Когда местре Аршанжо упрекнул Лидио в мотовстве и напомнил о расходах, того едва не хватил удар. «Нужно показать этим хвастунам, — кричал он, — этим попугаям в крахмальных манишках, чего стоит баиянский мулат!» «Обычаи и обряды народа Баии» — чудо из чудес, созданное кумом Аршанжо, сверстанное и отпечатанное в типографии Лидио, казалось Корро самой главной в мире книгой. Она стоила ему многих жертв, но он не гонится за барышами! Единственная его цель — утереть нос всем этим надутым шарлатанам, которые считают негров и мулатов неполноценными существами, чем-то средним между человеком и животным. Не спрашивая Аршанжо, он рассылал экземпляры в Национальную библиотеку Рио-де-Жанейро, в Публичную библиотеку Баии, писателям и журналистам южных штатов, за границу — был бы только адрес.

— Знаешь, кум, куда я сегодня послал нашу книженцию? В Соединенные Штаты, в Колумбийский университет, в город Нью-Йорк. Адрес нашел в одном журнале, а еще раньше я отправил по экземпляру в Сорбонну и в Коимбрский университет.

Профессорам Нило Арголо и Освалдо Фонтесу книги в деканате оставил сам Аршанжо. Теперь, стоя в коридоре, он спрашивал себя: неужели «зверь» прочел этот непрезентабельный, скверно отпечатанный томик? Очень бы хотелось, потому что именно труды Арголо повлияли на решение местре Педро написать книгу: он просто захлебывался от ярости, читая сочинения профессора.

«Зверь!» — говорили студенты о Нило Арголо: имелась в виду и его всесветная слава эрудита — «Вот зверь! Семь языков знает!», — и его отвратительный нрав, сухость и бесчувственность; профессор терпеть не мог смеха, веселья, свободы, он свирепо придирался на экзаменах и обожал проваливать — «Вот зверь! Прямо весь заходится от удовольствия, когда лепит кол!». Тишина, царившая в аудитории на его лекциях, вызывала зависть других преподавателей, которые не могли добиться от студентов такого благонравия. Арголо не разрешал прерывать себя и не допускал возражений: он вещал с кафедры как осененный благодатью пророк, впавший в транс прорицатель.

Молодые преподаватели, зараженные анархическими европейскими идеями, позволяли себе пускаться со студентами в дебаты, выслушивали их возражения, соглашались с их доводами, — профессор Арголо де Араужо считал это «недопустимой распущенностью». Уж те-то аудитории, в которых он читает, никогда не превратятся в «кабак, где орут смутьяны, в прибежище всякой швали». Когда пятикурсник Жу, блестящий студент и круглый отличник, «избалованный попустительством других профессоров», назвал идеи Арголо реакционными, тот отстранил его от занятий и потребовал учинить следствие над наглым мальчишкой, который посмел прервать его лекцию неслыханно дерзким выкриком с места:

— Профессор, вы настоящий Савонарола! Вы пришли на медицинский факультет Баии прямо из инквизиции!

Арголо не удалось засыпать Жу на выпускных экзаменах — воспротивились два других члена комиссии, — но поставил он ему все же только «удовлетворительно», испортив тем самым отличный аттестат. А возглас юноши, возмущенного расистскими теориями профессора, вошел в факультетские анналы, стал одной из тех историй, что передавались студентами из поколения в поколение и облетали весь город. Арголо не удостоился той анекдотической славы, какая была суждена, например, профессору Монтенегро — главному персонажу бесчисленных и забавных легенд, которые живописали его придирчивый пуризм в употреблении глаголов и местоимений, его пристрастие к архаической терминологии и нелепым неологизмам, — но угрюмый столп судебной медицины стал мишенью для остроумных и злых, а то и вовсе неприличных шуточек насчет монархической твердокаменности его взглядов и вкусов.

О нем рассказывают следующий анекдот, весьма похожий на правду. Узы сердечной дружбы более десяти лет связывали профессора Арголо и судью Маркоса Андраде; раз в месяц, по укоренившейся привычке, Арголо приходил к судье в гости. В тот невыносимо душный и знойный вечер, когда профессор, как обычно, явился к почтенному юристу, Маркос отдыхал после ужина в кругу семьи и позволил себе небольшую вольность: оставшись, разумеется, в полосатых брюках, жилете, крахмальной манишке и воротничке, он снял сюртук.

Маркос, извещенный горничной о том, что его прославленный друг прибыл и ожидает в гостиной, так заторопился поскорее приветствовать профессора и насладиться его ученой беседой, что сюртук надеть позабыл. Когда же Арголо увидел судью в таком непристойном виде, уместном лишь в спальне, он поднялся и произнес:

— До сих пор, милостивый государь, мне казалось, что вы меня уважаете. Теперь я вижу, что заблуждался, — и вышел вон, не прибавив к сказанному ни слова. Он не захотел выслушать ни оправданий, ни извинений судьи, навеки рассорился с ним, даже перестал здороваться.

А Мундиньо Карвальо, которого «зверь» провалил на экзамене, решил зло отомстить ему и пустил по городу такие вот грубые, оскорбительные и, без сомнения, лживые стишки:

Я белым стихом изложу —

Мне рифмы теперь не даются —

Событья последней недели:

Профессор наш, мудрый Арголо,

Так черного цвета не любит,

Что даже велел соскрести

С бедра благородной супруги

Две родинки: были они

Прелестны, да больно черны.

Подойдя, Педро Аршанжо заметил, что профессор заложил обе руки за спину, чтобы избежать рукопожатия. Лицо мулата вспыхнуло.

Профессор внимательно, словно изучая редкое насекомое или незнакомый предмет, оглядел педеля с ног до головы, и враждебное выражение его лица сменилось нескрываемым удивлением: мулат был аккуратно и чисто одет и держался с достоинством. О некоторых метисах профессор думал и даже иногда заявлял вслух: «Он заслуживает того, чтобы быть белым; африканская кровь — его несчастье».

— Это вы написали брошюру под названием «Обычаи и обряды...»?

— «...народа Баии». — Аршанжо проглотил унижение и приготовился к беседе. — Я оставил вам экземпляр в деканате.

— Добавляйте «сеньор профессор», — сухо поправил его прославленный ученый. — Попрошу не забывать об этом. Я получил это звание на конкурсе, имею на него право и требую, чтобы меня называли именно так. Понятно?

— Да, сеньор профессор. — Единственным желанием Педро Аршанжо было уйти прочь, и голос его был холоден и отчужден.

— Скажите, все эти сведения относительно обрядов, празднеств, церемоний, фетишей, которые вы собрали и классифицировали, соответствуют действительности?

— Да, сеньор профессор.

— Вы их не выдумали?

— Нет, сеньор профессор.

— Я прочел вашу брошюрку... — Профессор снова смерил собеседника враждебным взглядом горящих глаз. — Она заслуживает внимания, особенно если вспомнить, кто ее написал. Разумеется, она не имеет никакого отношения к науке, а ваши выводы о метисации — это вздор и опасные бредни. Но приведенные вами факты, повторяю, заслуживают внимания. Их стоит учесть. Это любопытно.

Педро Аршанжо сделал еще одну попытку преодолеть преграду, отделявшую его от профессора:

— Сеньор профессор, а не кажется ли вам, что именно эти факты подтверждают справедливость моих выводов?

По тонким губам профессора скользнула еле заметная усмешка: Арголо смеялся в исключительных случаях и почти всегда — над глупостью и неразумием человеческим.

— Не смешите меня. Вы не ссылаетесь в своем опусе ни на одну диссертацию, статью или книгу, вы не подкрепляете свои положения авторитетом отечественных или зарубежных ученых, как же можно считать вашу работу научным трудом?! На чем основываются ваши выводы о смешении рас как об идеальном решении расовой проблемы в Бразилии? Как вы смеете утверждать, что наша латинская культура создана мулатами? Это чудовищное искажение действительности!

— Мои выводы основываются на фактах, сеньор профессор.

— Вздор! Чего стоят все ваши факты, не освещенные философией, наукой? Приходилось ли вам хоть что-нибудь читать по этому поводу? — Арголо издевательски засмеялся. — Рекомендую вам книги Гобино. Это французский дипломат и ученый; он жил в Бразилии, и его мнение в споре по расовому вопросу является решающим. Его труды есть в нашей библиотеке.

— Я читал только некоторые ваши книги, сеньор профессор, ваши и профессора Фонтеса.

— И они вас не убедили?! Вы считаете ужасающие звуки всех этих самб и батуке музыкой, вы выдаете отвратительных идолов, слепленных без малейшего понятия об эстетике, за произведения искусства, вы утверждаете, что ритуальные обряды кафров имеют отношение к культуре. Если мы допустим проникновение этого варварства, если мы дрогнем под напором этих ужасов, нашей стране будет грозить беда! Вот что я вам скажу: мы очистим культуру нашей отчизны от этой вывезенной из Африки мерзости, даже если придется применить силу!

— Да уж применяли, сеньор профессор...

— Значит, мало применяли, нужно было действовать решительнее! — Бесцветный голос Арголо стал жестче, желтый огонек фанатизма блеснул в его беспощадных глазах. — Раковую опухоль надо удалить без пощады! Хирургическое вмешательство только кажется жестокостью: на самом же деле оно необходимо и благородно!

— Что ж, сеньор профессор, не придется ли тогда перебить нас всех, одного за другим?

Жалкий педель осмеливается иронизировать? Краса и гордость факультета угрожающе и подозрительно воззрился на Аршанжо, но лицо мулата было безмятежно, поза почтительна, ничто не свидетельствовало о неуважении. Профессор успокоился, взгляд его стал мечтательным.

— Истребить всех, кто не принадлежит к арийской расе? — переспросил он и засмеялся почти весело.

Да, мир стал бы совершенен! Грандиозная, но неосуществимая мечта! Где он, тот отважный гений, который воодушевится этим смелым планом и воплотит его в жизнь?! Но, может быть, однажды непобедимый бог войны выполнит свой священный долг? Перед провидческим взором профессора Арголо возник этот герой во главе арийских когорт. Блистательный образ лишь на секунду, на славное мгновение мелькнул перед ним и исчез: профессор вернулся к убогой действительности.

— Я считаю, что это излишне. Достаточно будет принять закон, запрещающий смешанные браки. Надо регулировать их: белый женится на белой, негр — на негритянке или мулатке, и — в тюрьму того, кто преступит этот закон.

— Трудновато различить и классифицировать, сеньор профессор.

Снова почудился Арголо оттенок издевки в этих правильно произнесенных словах, в мягком голосе мулата. Ах, если бы профессор обнаружил иронию!..

— Не вижу в этом ничего трудного, — сказал он и, показывая, что беседа окончена, приказал: — Возвращайтесь к своим обязанностям, я больше не могу терять время. Так или иначе, молодой человек, в вашей книжке среди вздора содержится и кое-что дельное. — Профессор Арголо стал если не любезнее, то снисходительнее и протянул мулату два пальца для пожатия.

Но Педро Аршанжо ухитрился не заметить протянутой костлявой руки: он ограничился кивком, точно таким же, каким приветствовал его в начале разговора Нило Арголо де Араужо, только чуточку, самую малость небрежней.

— Мерзавец! — зарычал, побледнев от ярости, профессор.

### 7

Педро Аршанжо в задумчивости шел по Табуану, по переулкам, где носились мальчишки: было от чего задуматься. На факультете — неприятный разговор. Здесь, на улице Мизерикордия, иссушенная страстью Доротея совсем потеряла голову. Сатана потребовал, чтобы, расставшись с Баией, со свободой, с сыном, она следовала за ним. Давно уже ничего не связывало Педро и Доротею, и если иногда и встречались они случайно, как в прежние времена, то были эти встречи лишь воспоминанием миновавших штормов и штилей. Но оставался еще Тадеу! Тадеу — смысл жизни Педро Аршанжо!.. Вдобавок ко всему книжка потребовала много расходов, и Лидио Корро еле-еле сводил концы с концами.

Эстеван дас Дорес с сигарой во рту, с тростью в руках — трость была не простая, а со стилетом внутри — неукоснительно появлялся в «Лавке чудес» каждый месяц, в тот день, когда надо было платить ему по закладной, присаживался у дверей и заводил на целый вечер неспешные беседы. Иногда, если у Лидио что-нибудь не ладилось, он прислонял свою трость к стене, поднимался — руки в боки — и давал ему советы. Дряхлый и сгорбленный типограф был настоящим мастером своего дела: работа так и горела в его черных от машинного масла руках, а старенькая «тетушка» переставала капризничать и печатала быстрее. Хотя он ни словом не намекал на долг («Сижу дома один как сыч, а ведь ни от чего так не устаешь, как от безделья, вот и пришел поболтать с друзьями...»). Лидио при виде ожидающего кредитора чувствовал себя неловко и говорил:

— Мне очень много должны, сеу Эстеван. Первый, кто принесет деньги, принесет их для вас.

— Да я не за деньгами пришел, помилуй бог! Позвольте, однако, вам заметить, местре Корро: вы слишком много работаете в кредит, будьте осторожны.

Так оно и было: бродячие поэты-трубадуры печатали свои книжечки в кредит и расплачивались постепенно, малыми порциями, по мере продажи. Лидио превратился в главного издателя ярмарочной литературы, но скажите, у кого хватило бы духу отказать Жоану Калдасу, старому другу, отцу восьмерых детей, существовавшему на свое вдохновение, или слепому на оба глаза Изидро Поророке, который так несравненно воспевал красоты природы?!

— Послушайте моего совета, местре Корро: чтобы дело процветало, типография должна работать быстро и хорошо, а заказчики должны платить наличными.

Едва получив и трижды пересчитав денежки, Эстеван исчезал вместе со своими советами, сигарами, ревматизмом и тростью, от которой Тадеу был без ума: когда-нибудь, мечтал он, и у него будет грозное это оружие — трость со стилетом...

— Однажды он достанет свой ножик и зарежет меня, — говорил Лидио Корро, сохранявший хорошее настроение в этих трудных обстоятельствах.

А обстоятельства были таковы, что представления пришлось давать чаще: иногда и по три раза в неделю. Помогал Будиан со своими учениками, Валделойр, Аусса и некий морячок по имени Мане Лима, списанный на берег с ллойдовского парохода за драки и поножовщину. Он не знал себе равных в матчише и лундуне, а за время стоянок в заграничных портах научился и аргентинскому танго, и пасадоблю, и танцам гаучо, потому и говорил, что у него «международная программа». Он познакомился с Толстой Фернандой — действительно очень толстой, но очень подвижной особой, — и в объятиях моряка она порхала, как перышко. Эта пара прославилась: после «Лавки чудес» она стала выступать в кабаре и снискала громкий успех в «Монте-Карло» и «Элеганте» — было это, правда, много лет спустя. А Мане Лима, прозванный «Вальсирующий моряк», так и не покинул больше Баию — выезжал только ненадолго на гастроли в Аракажу, Масейо и Ресифе.

Но Педро Аршанжо перестал радоваться, как бывало, этим участившимся представлениям: у него едва хватало времени на то, чтобы читать, чтобы учиться самому и учить Тадеу.

— Местре Педро, ведь вы и так столько знаете, зачем вам еще читать?

— Я, милый, читаю, чтобы понять, что́ вокруг меня и что́ мне говорят.

Легкую, почти незаметную перемену в нем ощутили и женщины: постоянный, верный, нежный их любовник, всем равно и щедро даривший наслаждение, уже не был похож на беззаботного юнца, который, кроме любви, других обязанностей не знал. Раньше его жизнь заполняли праздники, карнавалы, самбы, афоше, капоэйра, ритуалы макумбы, приятные разговоры, где сообщалось и выслушивалось много всякой всячины, но главным в ней были женщины, веселая наука любви, и он служил ей усердно и безвозмездно. Теперь же не простое любопытство приводило его на террейро, где совершались обряды кандомбле, на афоше, на репетиции танцевальных групп, в школы капоэйры, в дома всезнающих стариков, не бескорыстная любознательность заставляла его подолгу беседовать с почтенными старухами. Да, какая-то неуловимая, но значительная перемена произошла с Педро Аршанжо, словно, прожив на свете сорок лет, он вдруг захотел в совершенстве и полностью познать жизнь и мир, его окружавшие.

Когда он проходил мимо дома Сабины дос Анжос, к нему подбежал мальчуган. «Благословите, крестный!» Аршанжо взял его на руки. Мальчик унаследовал материнскую красоту, красоту Сабины, царицы танца, яростное тело которой исполнено жизни и силы, Сабины — царицы Савской. Ну вот, царица, я — царь Соломон, я пришел в царство твоей спальни. Он читал ей стихи «Песни песней», и пахло от возлюбленной его нардом — нардом, смиряющим сердечные тревоги.

— Крестный, дай денежку!

Такой же попрошайка, как и мать, — Аршанжо достает из кармана монету, и лицо мальчика расплывается в улыбке. От кого унаследовал он этот плутовской и вольный смех?

Сабина появилась в дверях, подзывает сына. Аршанжо ведет его за руку, и, обрадовавшись неожиданной встрече, мулатка смеется.

— Ты ко мне? Я думала, никогда уж не придешь.

Голос у нее томный, ласковый, спокойный...

— Да нет, я просто мимо проходил. У меня много дел.

— С каких это пор, Педро, появились у тебя дела?

— Сам не знаю. Появились. Появились дела и обязанности.

— Ты насчет святого? Или про свой факультет?

— Ни то ни другое. Обязанности перед самим собой.

— Ты что-то непонятное говоришь.

Она стоит, прислонившись к стене: уста ее жаждут, тело трепещет, ничем не прикрыта ее грудь. Трудно удержаться от искушения в такой вот вечер. Аршанжо ощущает этот зов каждой клеточкой своего существа, смотрит на красавицу и делает шаг вперед, навстречу аромату ее тела. Он достает из кармана конверт, облепленный красивыми марками: письмо пришло издалека, с края света, с Северного полюса — оттуда, где все покрыто льдом и царит вечная ночь.

— А Кирси живет во льдах?

— Она живет в городе Хельсинки, это в Финляндии.

— А-а, я знаю! Кирси — шведка, хорошенькая такая! Письмо прислала?

Он вынимает из конверта фотографию, а письма нет: только на обороте снимка несколько фраз по-французски, несколько слов по-португальски. Сабина берет фотографию мальчика — ах, какой милый! Какой красивый и нежный, волосы курчавые, а глаза Кирси. Просто прелесть! Сабина отводит глаза от фотографии и смотрит на другого, на своего сына, который носится по улице.

— Красивый... (О ком она говорит?) Вот смех, такие разные, а все-таки похожи! Педро, почему от тебя рождаются одни только парни?

Аршанжо улыбается, а жадные губы Сабины совсем близко.

— Войди...

— У меня очень много дел.

— С каких пор, Педро, у тебя нет времени сотворить мальчишку? — Она обнимает его за шею. — Я только вымылась. Видишь, вся еще мокрая...

В пышном теле Сабины, в аромате ее кожи затерялся в тот день путь Аршанжо, когда теперь явится местре Педро в «Лавку чудес», где ждут его Лидио и Тадеу? Ах, Сабина дос Анжос, самая красивая из ангелов, царица Савская в империи своей постели! Каждой — свой черед, но случается и непредвиденное. Было ведь время, когда волен был Педро Аршанжо как птица и одним только праздным ремеслом любви занимался он! Было время, да прошло.

### 8

— Скажите мне, мой друг, сколько это будет стоить? Я не просто бедна — я разорена, вам известно, что это значит? Много лет подряд я ни в чем себе не отказывала, сорила деньгами, а теперь вот стала скрягой. Прошу вас, не обижайте старуху, назначьте божескую цену!

У Лидио Корро по дешевке «чудо» не купишь: он лучший из лучших, им неизменно остаются довольны и заказчик, и святой, не было случая, чтоб ему вернули его работу; Лидио Корро — любимец спасителя Бонфинского. Заказы так и сыплются: бывают месяцы, когда обеты-«чудеса» приносят больше денег, чем типография. Приезжают к нему клиенты из Ресифе и из Рио, а один англичанин заказал сразу четыре картины.

— Какой именно святой сотворил чудо и в чем оно выразилось?

— Напишите мне каких хотите святых и чудо тоже сделайте по своему усмотрению.

Вот и эта старушенция, что стоит сейчас перед художником и размахивает зонтиком, вроде того полоумного гринго: как лунь седая, вся сморщенная, высохшая, худенькая. Ей, наверно, уже за шестьдесят. Шестьдесят или тридцать? Такая она жизнерадостная, оживленная, говорливая, подвижная, что поневоле засомневаешься. Она рассказывает про своего кота, заболевшего лишаем, и приговаривает:

— Я бедная старая дама, но я не жалуюсь!

Была она когда-то просто принцессой, жила в роскоши, широко и пышно, владела плантациями сахарного тростника, сахарными заводами, рабами и домами в Санто-Амаро, Кашоэйре и Салвадоре. Вздыхали по ней придворные куртизаны, дрались из-за нее на дуэлях — один офицер смертельно ранил ее жениха, бакалавра права. Разорялись банкиры и бароны, чтобы добиться ее благосклонности. Много приключений было в ее жизни, многих любила она и весь мир объездила, прельщали ее и титулами, и чинами, и деньгами, но к деньгам была она равнодушна, и тем, кто, обезумев от страсти, покупал ей драгоценности, особняки и кареты, лишь тогда удавалось завоевать эту женщину, если вспыхивало в ее груди пламя любви, если хоть ненадолго увлекалась она кем-нибудь из поклонников. Сердце ее было переменчиво, нрав капризен, тело ненасытно.

Но потом появились морщины, седые волосы и вставные зубы, и она промотала состояние, делая юным своим возлюбленным по-королевски щедрые подарки, а в старости дарила она так же беспечно, как когда-то в молодости принимала дары. Праздник жизни становился для нее все дороже, но, ни минуты не колеблясь, платила она чудовищную цену: дело стоило того! Денежные ее дела пришли в полный упадок, сама она совсем состарилась и вместе с котом и воспоминаниями бурной, но краткой молодости возвратилась в Баию. Почему же так скупо отпущено человеку радости?

А сейчас она пришла заказать по обету «чудо», разузнать о цене и сроках. Кот ее, по кличке Арголо де Араужо, шляясь по крышам, подцепил у какой-то кошечки отвратительный лишай и в считаные дни облысел: иссиня-черный бархатистый его мех, в который принцесса так любила погружать пальцы, вспоминая былые свои романы, весь вылез. Хозяйка обратилась к врачам — «здесь даже ветеринара нет!», — обегала аптеки, накупила разных снадобий, притираний и мазей — все напрасно! А вылечил кота святой Франциск Ассизский, когда она обратилась к нему с молитвой. Однажды в Венеции, в объятиях некоего поэта, она научилась любить господнего нищего: поэт в постели часто повторял проповедь святого Франциска к птицам, а потом скрылся, негодяй, скрылся и прихватил ее кошелек.

Лидио Корро, сбитый с толку этим потоком слов и смеха, сказал цену («Ну и старушка! Комедия, да и только!»). Торгуется и спорит, но есть в ней какое-то необъяснимое очарование, и порой забываешь о ее старости, и блещет в заказчице юная и соблазнительная прелесть: надменная властительница Реконкаво стала попросту добродушной и милой отставной проституткой. Спор продолжался: старуха, чтобы ловчей было торговаться, уселась на стул и вдруг, заметив на стене плакат «Мулен Ружа», замерла от изумления:

— О, mon Dieu, c’est le Moulin![[33]](#footnote-33) — и вновь без умолку затрещала о своей жизни, о городах, где побывала, о чудесах, что повидала, о музыке, о спектаклях, о выставках, о прогулках, о праздниках, о винах, о сырах, о любовниках. Она получала от этих воспоминаний истинное наслаждение, и радость ее была вдвое сильней, потому что, кроме воспоминаний, у нее уже ничего не оставалось, и бедная старуха вспоминала дни, когда она была великолепной сумасбродкой. Принцесса так увлеклась, что мешала французские слова с португальскими, то и дело восклицая в самых патетических местах по-испански, по-итальянски, по-английски.

А Педро Аршанжо вернулся от царицы Савской как раз в тот миг, когда дряхлая мореплавательница отправлялась в кругосветное путешествие, и, засмеявшись приветливо, он отчалил вместе с ней. Снявшись с якоря на Монмартре, они плыли и заходили в гавани театров, кабаре, ресторанов, музеев Парижа и его окрестностей — то есть всего остального мира. Скажу вам, друзья мои, существует только Париж, а все остальное, о-ля-ля, c’est le banlieu[[34]](#footnote-34).

Старуха была рада выговориться: ее внучатым племянникам, изредка и ненадолго навещавшим принцессу в домике напротив монастыря Лапа, где прозябала она вместе с котом и сварливой служанкой, не хватало терпения выслушивать ее рассказы. Полное имя своенравной старухи было: сеньора дона Изабел Тереза Гонсалвес Мартинс де Араужо-и-Пиньо, графиня да Агуа-Бруска. Для близких — просто Забела.

Педро Аршанжо спросил ее, бывала ли она в Хельсинки. Нет, в Хельсинки не бывала, зато бывала в Петрограде, в Стокгольме, в Осло, в Копенгагене. А почему вы так говорите о Финляндии? Вы, должно быть, заходили в Хельсинки, когда плавали, хотя на моряка, друг мой, вы не похожи, больше напоминаете какого-нибудь профессора или бакалавра.

Аршанжо засмеялся добродушно, как он умел. Что вы, мадам, я не бакалавр и не профессор и уж тем более не моряк! Я служу на факультете и так, пописываю, интересуюсь литературой... А в Финляндии у меня любовь... Он достает фотографию, и графиня долго восхищается мальчиком: «Ах, какой прелестный!» Аккуратным почерком Кирси выведены по-португальски самые главные слова, перелетевшие через море и время: любовь, тоска, Баия. По-французски написана целая фраза, и старуха переводит ее, хотя Педро давно заучил ее наизусть: «Наш сын растет, он красивый и сильный, его, как и отца, зовут Ожу, Ожу Кекконен, он верховодит всеми мальчишками, в него влюблены все девчонки. Он маленький волшебник».

— Вас зовут Ожу?

— При крещении получил я имя Педро, Педро Аршанжо, но на языке племени наго мое имя Ожуоба.

— Я бы очень хотела побывать на макумбе. Никогда не видела.

— Прикажите только, и я с удовольствием покажу вам кандомбле.

— Не лгите — «с удовольствием»! Кому нужна такая старая перечница? — Она лукаво смеется и смотрит на этого красивого, крепкого мулата, у которого любовница — финка. — Мальчик весь в вас.

— Нет, он и на Кирси похож. Он будет королем Скандинавии, — хохочет в ответ Аршанжо, а графиня де Агуа-Бруска — для близких просто Забела — в восторге вторит ему.

— Попросите сеу Лидио... Пусть он сделает мне скидку... Я понимаю, что работа стоит гораздо дороже, чем он сказал, но у меня нет и этих денег. — Графиня вежлива, как Аршанжо и Корро, как простолюдины Баии.

— Назначьте цену сами, мадам, — немедленно отзывается Лидио.

— Нет, не хочу.

— Тогда ни о чем не беспокойтесь. Я нарисую, а потом вы заплатите за чудо сколько захотите.

— Не сколько захочу, а сколько смогу.

С тетрадями и книжками в руках появляется Тадеу. Забела сравнивает его с Аршанжо, сдерживая улыбку: подмастерье вытянулся в статного и грациозного юношу, а как он смеется — с ума сойти!

— Мой крестник, Тадеу Каньото[[35]](#footnote-35).

— Каньото? Это фамилия или прозвище?

— Так нарекла его мать при рождении.

Тадеу прошел в другую комнату.

— Студент?

— Он работает здесь, помогает Лидио в типографии и учится. В прошлом году сдал экзамены на подготовительном отделении. — Голос Аршанжо чуть подрагивает от гордости. — В этом году сдаст еще четыре, а в будущем окончит отделение. Он хочет поступить в университет.

— Кем же он хочет быть?

— Инженером. Не знаю, удастся ли. Бедняку нелегко учиться в университете, мадам. Это недешево стоит.

Тадеу возвращается в комнату, раскрывает книгу, но вдруг замечает фотографию.

— Можно посмотреть? Кто это?

— Да так, один мой родственник... дальний, — еще бы не дальний: живет на другом конце земли.

— Самый красивый мальчик, какого я видел. — И с этими словами Тадеу берется за тетради: нужно заниматься.

А графиня де Агуа-Бруска, дона Изабел Тереза Гонсалвес Мартинс де Араужо-и-Пиньо стала просто Забелой. Она объясняет Тадеу французские глаголы, обучает его парижскому жаргону, она отпивает глоточек домашнего ликера из какао — изделие Розы де Ошала, божественный напиток — словно шампанское лучшей марки. Без нее стало как-то грустно.

— Самое лучшее, сеу Лидио, — сказала она, прощаясь, — если бы вы смогли зайти ко мне, познакомиться с Арголо де Араужо, чтобы знать, как он выглядит. Это самый красивый кот в Баие. И с самым отвратительным характером.

— С удовольствием, мадам. Завтра, с вашего позволения.

— Вашего кота зовут Арголо де Араужо? Как забавно... Это имя одного профессора... — говорит Аршанжо.

— Вы имеете в виду Нило д’Авила Арголо де Араужо? Это ничтожество я хорошо знаю, слишком даже хорошо. Мы с ним кузены по линии Араужо, я была невестой его дяди Эрнесто, а сейчас, когда мы встречаемся на улице, он делает вид, что знать меня не знает. Аристократишка! Пусть другим рассказывает про свое благородное происхождение! Я-то знаю всю его подноготную, и его, и всей этой гнусной семейки, все их махинации и подлости, oh, mon cher, quelle famille![[36]](#footnote-36) Если захотите, когда-нибудь я вам такое порасскажу!

— Еще бы мне не хотеть, мадам! Сегодня благословенный день: сегодня среда, день Шанго, а я Ожуоба, око Шанго; мне полагается все видеть, все знать про бедняков Баии, а если нужно — то и про богачей.

— Сводите меня на макумбу, а я вам расскажу про баиянских аристократов.

Тадеу помог ей спуститься со ступенек.

— Старая я стала, никуда уж не гожусь, а умирать все не хочется. — Она кокетливо погладила Тадеу по подбородку. — Вот из-за такого смуглячка моя бабка Виржиния Мартинс потеряла благоразумие и разбавила нашу дворянскую кровь.

Она раскрыла ослепительный зонтик и твердо зашагала по крутому Табуану вниз, словно шла по парижским улицам или по бульвару Капуцинок, как в прекрасные времена своей молодости.

### 9

Насчет этой истории врали очень много, но одно сомнению не подлежит: Забела присутствовала на празднестве Огуана, когда там, на террейро, произошло великое чудо. Каждый рассказчик стоял на своем: каждый своими глазами видел случившееся — «провалиться мне на этом месте», — но излагали историю по-разному, а громче всех кричали, как всегда бывает, те, кого и близко в тот час не было на террейро, кто вообще ничего не видел, — такие люди все знают лучше всех, они-то и есть главные свидетели.

Все, однако, единодушно заявляли:

— А не верите — спросите у сеньоры с Ланы, она не даст соврать. Важная такая сеньора, благородная, вся в бриллиантах с головы до пят. Настоящая дама! Вот она была там и все видела.

Благородная — спору нет. Богатая и важная — тоже верно: была когда-то. А бриллианты — фальшивые, поддельные, ненастоящие, хоть и много их было и блестели ее перстни, кольца, браслеты всеми цветами радуги: только «мать святого», главная жрица, навешивает на себя столько. Уходя (чтобы потом вернуться, и не раз), графиня Агуа-Бруска, что было очень на нее похоже, сняла с шеи ожерелье и протянула его Маже Бассан:

— Оно ничего не стоит, но все-таки возьмите его, пожалуйста.

Забела сидела в кресле для почетных гостей и с огромным интересом следила за церемониями, а потом встала, чтобы лучше видеть. Она волновалась, прижимала руки к груди, восклицала по-французски: «Nom de dieu! Zut, alors!»[[37]](#footnote-37), когда под гул бубнов спустились на землю боги-ориша, зазвенели мечи Огуна, когда началась пляска Ошумарэ, полумужчины-полуженщины, двуполого божества.

— А что случилось с той красивой девушкой, которая разговаривала с вами, а потом так неистово танцевала? Она задержалась в дверях и исчезла. Почему она больше не танцует? Куда она ушла, Педро?

Если Аршанжо и знал разгадку этой тайны, то старой болтунье он ее не выдал. «Я ничего не заметил, мадам».

— Вы что, меня за дурочку считаете? Я же ясно видела: рядом с нею, за огнем, оказался мужчина, белый, блондин, нервный, нетерпеливый! Ну, скажите мне, кто это!

— Она исчезла, — повторил Педро Аршанжо и ничего больше не сказал.

Если собрать все свидетельства, отбросив явные нелепицы, то можно будет установить: Доротея была в кругу жриц, она кружилась в бараке, соперничая красотой и изяществом с Розой де Ошала. Там же были: Стелла де Ошосси, Паула де Эуа и другие «посвященные», гордые и надменные.

Ошосси, украшенный конским волосом, спустился и овладел Стеллой. Эуа проник в тело Паулы, порывистой, как ветер с лагуны, чистой, как вода из ручья. Роза стала Ошолуфаном, Ошала — старцем. Три Омолу, два Ошумарэ, две Иеманжи, Оссайи и Шанго. Разом явились шесть Огунов — было тринадцатое июня, день его праздника: ведь в Баие Огун — это святой Антоний, и народ, вскочив на ноги, радостно приветствовал его дружным криком.

А когда долгим свистом, паровозным гудком, пароходной сиреной Иансан позвала Доротею, она торопливо подошла к Аршанжо, поцеловала ему руку.

— Что ж ты не привел моего парня?

— Он занимается... У него много дел.

— Я ухожу, Педро. Ухожу сегодня. Сегодня ночью.

— Он пришел за тобой? Сегодня?

— Да. Он пришел за мной. Ничего не говори Тадеу, молчи, как будто воды в рот набрал. Потом скажешь, что я умерла, ему будет больно, но зато сразу все кончится: он перестрадает и не вспомнит обо мне.

Она встала на колени, склонила голову к земле. Аршанжо прикоснулся к ее курчавым волосам и поднял негритянку Доротею во весь рост. Не успела еще она выпрямиться, как Иансан с криком, от которого проснулись бы и мертвые, вселилась в нее. Рассказывают, что откуда-то из глубины террейро духи-огуны отозвались на этот крик, ответили жалобным воплем.

Немногие видели, что предшествовало приходу Иансан, но Забела, для которой все было в диковинку, наблюдала эту сцену от начала до кона. Младшие жрецы-экеде повели «посвященных» переодеться, потом запели кантигу и начали ритуальный танец. Больше всех танцевала Иансан в окружении шести Огунов. То был танец прощания, но никто не знал этого.

Пока менялись костюмы, в соседней комнате готовили царское пиршество Огуна. Забела отведала каждого кушанья — ей очень нравились блюда, приправленные пальмовым маслом, только потом, к сожалению, печень болела... Когда взлетели в воздух ракеты, возвещая возвращение богов, старушка чуть не бегом припустила к выходу, чтобы ничего не прозевать на макумбе.

Появилась торжественная процессия, во главе ее шел один из шести Огунов — Огун Богоявления. Загремели атабаке, народ поднялся, захлопал в ладоши, зарево осветило небо, взлетели ракеты, шутихи, огни: июнь в Баие — месяц кукурузы, месяц фейерверков. В громе и свете огней один за другим стали входить в барак ориша, каждый со своим атрибутом, оружием, символом. Матушка Маже Бассан запела кантигу, Ошосси начал танец.

Но где же Иансан? Почему она не вернулась в барак? Издали донесся только отзвук чего-то. Чего? Паровозного гудка? Пароходной сирены? В дверном проеме видели тогда люди Доротею в последний раз. Не было на ней одежды Иансан, хотя многие клянутся и божатся, что была; не было и накрахмаленных юбок и кружевной блузы — наряда баиянских женщин; в платье как у настоящей сеньоры, с длинным шлейфом и пышными кружевами, появилась она. Тяжело дышала ее грудь, сверкали, как угли, глаза.

Все сходятся на том, что у человека, стоявшего рядом с Доротеей, были маленькие рожки — как у черта. В остальном к согласию и единому мнению прийти не удалось: одни видели у него хвост, кончик которого был переброшен через руку; другие заметили козлиные копыта; большинство утверждает, что был он черен как уголь, а Эвандро Кафе, человек пожилой и уважаемый, заявил, что дьявол был ярко-красный. Любопытные же и внимательные глаза Забелы заметили белокожего и белокурого красавца с двумя завитками волос надо лбом. И графиня, и бывший раб Кафе — люди немолодые, всего в жизни навидавшиеся, так что оба заслуживают доверия.

Все произошло в сиянии шутих, в сверкании ракет, в ослепительном огне и оглушительном громе фейерверка. Доротея растворилась в воздухе, когда мелькнула молния. Только что стояла Доротея в дверях — и вот исчезла, как и не было ее вовсе: в дверях никого нет, только запах серы, только свет и гром. Может быть, ракета? Кто слышал этот грохот, скажет, что тут не ракета, не шутиха — другое...

Доротею с тех пор никто больше не видел — ни ее, ни призрака ее. Забеле послышался частый стук подков: должно быть, любовники бежали в далекие края. Эвандро Кафе услыхал, как топочут козлиные копыта: должно быть, сатана увозил свою иабу. Так или иначе, нет больше Доротеи.

Несколько дней пустовало ее место на улице Мизерикордия, где много лет подряд любители абара, акараже, кокады и прочих баиянских яств встречали негритянку в ожерелье Иансан, с красно-белой бусиной Шанго. А потом перед разукрашенным лотком уселась кроткая белесая Микелина с зелеными глазами.

Плачет мальчик в «Лавке чудес», склонившись над книгами, оплакивает мать — для него она умерла. Другие считают, что Доротею околдовали и вернули к ее прежнему дьявольскому призванию. Одни говорят одно, другие — другое, а если Аршанжо и разгадал эту загадку, то не сказал никому ничего.

## Фаусто Пена рассказывает о пробе своих сил в драматургии и о других незадачах

Моя проба сил в драматургии имела прискорбные последствия. Нет-нет, я не преувеличиваю. Прискорбные, трагические, роковые. С какой стороны ни посмотри — крушение надежд, огорчения и муки. Горькие муки ревности.

А ведь я побывал всего лишь за кулисами театра, до сцены не добрался, не дано мне было познать волнение у рампы перед черной ямой партера, услышать аплодисменты и прочесть хвалебные отзывы в газетах. Обо всем этом и о многом другом мечтал я в те дни, когда загорелся идеей создать пьесу. Мое имя — на афишах во весь фасад театра имени Кастро Алвеса, в неоновых огнях рекламы на театрах Рио и Сан-Пауло рядом с именем Аны Мерседес, блистательной, неподражаемой, божественной примадонны, перед которой одна за другой гаснут все звезды первой величины. Театры забиты до отказа, публика безумствует, критика захлебывается от восторга, сборы небывалые, авторский гонорар платят вовремя, словом — начало головокружительной карьеры молодого драматурга.

На самом деле получилось совсем иное: ни денег, ни громкой славы, ни моего имени на афишах и в огнях реклам. Имя мое, как я узнал, — на заметке у полиции. Истрачены последние гроши. Единственное сокровище, которым я владел, потеряно навсегда.

Чему-то я, конечно, научился и на моих сотоварищей по этому отчаянному предприятию зла не держу. Я даже не стал врагом Илдазио Тавейры. Правда, если говорить начистоту, я его ненавижу и жду только удобного случая, чтобы отплатить ему сполна, придет и мой час, спешить некуда. А пока мне никак нельзя порвать с этим искариотом: Национальный институт книгопечатания поручил ему составить антологию молодых баиянских поэтов, и он обещал включить в нее мои стихотворения, пока еще не сказал сколько. Если я перестану с ним здороваться, он, чего доброго, выкинет меня из сборника, и я останусь на задворках литературы. Что поделаешь, приберегаю для него самую любезную улыбку, на каждом шагу бурно восторгаюсь его стихами. Ради места под солнцем изящной словесности и черное назовешь белым.

Нас, соавторов спектакля, было четверо. Все три моих собрата по перу — интеллектуалы высшего класса, новаторы, гении. Самый известный из нас, Илдазио Тавейра, носил бакенбарды, щеголял в ярких рубашках и уже опубликовал к тому времени несколько стихотворений в Рио, Сан-Пауло и даже в Лиссабоне, но в театре был дебютантом. Двое других были студентами юридического факультета. Тониньо Линс, композитор, учился на третьем курсе, одна его самба была уже записана на пластинку, еще с полдюжины ждали признания на каком-нибудь фестивале. Эстасио Майя, стойкий первокурсник, обладал разнообразными достоинствами, главными из которых были буйный и крутой нрав, богоданное глубокомыслие и дядя-генерал. В узком дружеском кругу, воспаряя от возлияний, Эстасио отрекался от родства и дядю всячески поносил.

Ультрасовременный литератор с неограниченным кругозором, закаленный бесчисленными провалами, мятущийся и непостижимый, он всегда кого-нибудь играл: то неумолимого террориста, то смиренного раба божьего, но актер он был неважный, а на амплуа героя-любовника и вовсе не годился. Ана Мерседес, лишь завидев Эстасио, сразу угадывала, кого он в этот день изображает: «Сегодня он геррильеро». А накануне был героем Достоевского — Раскольниковым в немудреной интерпретации. Занятный парень.

Начали мы с того, что сделали авторское предложение театру имени Кастро Алвеса, и благодаря заботам Эстасио Майи, племянника собственного дяди, оно было принято. Затем начались бесконечные споры о содержании пьесы, мы кричали, ругались последними словами, чуть не дрались, и, конечно, кашаса лилась рекой.

Предметом споров явились направление пьесы и образ Педро Аршанжо. Эстасио Майя объявил себя ярым приверженцем черного варианта североамериканского расизма и потребовал сделать Педро Аршанжо членом организации «Black Panther»[[38]](#footnote-38) и заставить его провозглашать со сцены лозунги Кармайкла[[39]](#footnote-39), призывать к непримиримости рас, к вражде на веки веков. Словом, теория профессора Нило Арголо, вывернутая наизнанку. Черные — сами по себе, с белыми ничего общего, никакого сожительства, никакого смешения рас, борьба не на жизнь, а на смерть. Я так и не смог выяснить, куда же неистовый вождь черных бразильцев относил мулатов.

Я, кажется, еще не говорил вам, что сам Майя был голубоглазым блондином и даже не питал особого пристрастия к мулаткам и негритянкам. В частности, я должен быть ему благодарен: не считая восьми женщин, отпетых шлюх, в спектакле так или иначе были заняты девятнадцать мужчин: режиссер, актеры, осветители, декораторы, статисты и прочие, и вот из всех девятнадцати один только Майя не увивался за Аной Мерседес.

Ни Илдазио Тавейра, ни Тониньо Линс не принимали концепцию Майи. Тониньо — серьезный юноша, снискавший уважение в студенческих кругах, хотел показать Педро Аршанжо в первую очередь как забастовщика, непримиримого врага хозяев, трестов, полиции — короче говоря, стержнем пьесы должна была стать классовая борьба. «Расовая проблема, друзья мои, вторична по отношению к проблеме классов, — пояснял он, ссылаясь на авторитетные источники, спокойно и рассудительно. — Понимаете, у нас, в Бразилии, негры и мулаты подвергаются дискриминации потому, что они — пролетарии: белый бедняк — тот же грязный негр, а богатый мулат — ничем не хуже самого белого из белых». Классовая борьба плюс фольклор — такова была его формула спектакля, боевого и народного. И он сочинял музыку, используя народные мотивы, но успех имела лишь одна недурная мелодия, предназначавшаяся для сцены похорон Педро Аршанжо. Тониньо Линс выступил с ней спустя некоторое время на студенческом фестивале в Рио и был удостоен второй премии. По мнению многих, можно было дать и первую.

Что же касается Илдазио, то надо признать, что его концепция была ближе всех к истинному образу Аршанжо, если существует лишь один истинный Аршанжо, ведь на него сейчас мода, каких только Аршанжо не вышло на свет божий в дни празднования столетнего юбилея. Одного даже можно видеть на стенах зданий, он рекламирует «Кока-коко»: «Жаль, что в мои времена еще не пили „Кока-коко“».

Илдазио Тавейра не отрицал первичности классовых противоречий по отношению к проблеме цвета кожи, соглашался с Эстасио в том, что в Бразилии существуют расовые предрассудки и расистов хоть отбавляй, но сам предлагал воссоздать образ Аршанжо, не уклоняясь в ту или другую сторону, воссоздать образ борца, уверенного в своей силе и силе народа, ратующего за решение бразильской проблемы путем смешения и слияния рас, защищающего право на жизнь метисов, мулаток... Тут Илдазио Тавейра прежде всего и в особенности имел в виду Ану Мерседес, к которой подступал с гнусными предложениями при каждом удобном случае.

Наши споры мы вели в кафе и закусочных, в ночном баре «Ангельские пи-пи». Илдазио с моей помощью набрал цитат из произведений Педро Аршанжо, чтобы на основе их строить диалоги. Эстасио Майя их не принимал: «Эдак мы из него сделаем реакционера». Сам он предлагал вложить в уста Аршанжо устрашающие заявления, мрачные угрозы в адрес белой расы и Запада вообще: «Мы, негры, раздавим русских и американцев, и те и другие — белые убийцы!» Приходилось вмешиваться Тониньо Линсу и мне, ибо спорящие стороны так распалялись, что дело грозило дойти до рукопашной. Как-то Илдазио в сердцах обозвал белокурого Майю «вошью Кармайкла» — что тут было!

Они оскорбляли друг друга, мирились, лобызались, клялись в дружбе до гроба, снова спорили, ругались, пили. За месяц сотрудничества мы опустошили не один бар.

Что до меня, то я бился только над сведением воедино точек зрения, речей, диалогов, догм, схизм, платформ, идеологий, ссылок на высокие авторитеты. Мне нужна была пьеса, я хотел увидеть свое имя на афише рядом с именем Аны Мерседес — автор и примадонна, — о, наша вожделенная премьера! Ана будет играть Розу де Ошала, тут никто не спорил, да и какие могли быть возражения. В ту пору я был равнодушен к посмертной театральной судьбе Педро Аршанжо: будет ли он вожаком бастующих рабочих или расистом из организации «Black Panther», отвергающим смешанные браки и провозглашающим священную войну против белых, или же останется баиянским мулатом, первооткрывателем самобытной культуры, — мне было все равно. Мне нужен был анонс о премьере.

Проявив бесконечное терпение, я из анархического хаоса противоречивых кусков слепил в конце концов связный текст, и мы его отдали в цензуру. Впрочем, по авторитетному мнению весьма передового режиссера Алваро Орландо, которого мы пригласили ставить пьесу, текст на сцене — вещь второстепенная, практически ненужная. Стало быть, на противоречия в тексте не стоит обращать внимания. Эстасио Майя заручился обещанием субсидии, предложил университету закупить премьеру для студентов. Тут он выступил в амплуа племянника.

Мы начали репетиции, не дожидаясь разрешения цензуры, но случилось так, что на той же неделе, не раньше и не позже, произошли сильные студенческие волнения. Студенты юридического факультета обнаружили в своей среде провокаторов и объявили забастовку, их поддержали другие факультеты. Первая манифестация прошла без эксцессов, а вторую полиция разогнала слезоточивым газом и пулями. Массовые аресты, раненые студенты, закрытые магазины, акты произвола, вторжение в монастырь бенедиктинцев — сущий ад.

Тониньо Линса арестовали на улице Чили, он нес плакат и древком отбивался от фараонов. Неделю просидел в тюрьме, держался хорошо, как настоящий мужчина! Эстасио Майя в тревожные дни вышел из игры: демонстрации, стычки, тюрьма — это не для него, он — теоретик. Имя его, однако, попало в списки агитаторов, напечатанные в газетах. Он скрылся, исчез. Позже мы узнали, что наш соавтор исхлопотал себе перевод в Аракажу. Теперь он бродит по Сержипе, как-то увял, ударился в религиозный мистицизм.

Цензура запретила пьесу и, говорят, сообщила полиции имена авторов, чтобы там их взяли на заметку. Вот тебе и слава! Чтобы не пропал договор с театром, Илдазио в рекордные сроки написал пьесу для детей и пригласил Ану Мерседес на роль Прелестной Бабочки. Я резко воспротивился и сказал ему несколько «теплых» слов. В виде компенсации за несостоявшийся ангажемент я повез Ану Мерседес отдохнуть и развлечься в Рио и Сан-Пауло; на этот запоздалый медовый месяц ушли последние доллары великого Левенсона.

Доллары растаяли один за другим в кондитерских Копакабаны и улицы Аугуста, в кафе и ресторанах, ушли на угощение литераторов, на приобретение дорогих, очень дорогих, драгоценных друзей. На рынке протекций сейчас настоящий бум: за то, что тебя, провинциального поэта, упомянут в литературной рубрике столичной газеты, ты должен оплатить обед на шесть персон в Музее современного искусства, а потом до ночи поить всю компанию шотландским виски в каком-нибудь баре.

И вот я снова на нуле, к чему были все жертвы? Ана Мерседес, заполучив туалеты от Ланса, стала строгой и неприступной. Как-то в воскресенье раскрываю литературное приложение к «Диарио да Манья» и натыкаюсь на два стихотворения за ее подписью; мне она их на просмотр не давала. Читаю — уж в поэзии-то я как-нибудь разбираюсь — и с первой же строфы узнаю стиль Илдазио Тавейры. Провел рукой по лбу: он у меня пылал от возбуждения и от пробивающихся рогов.

Как я страдал тогда, как страдаю сейчас: вижу ее во сне, кусаю подушку, которая хранит еще запах розмарина. Однако я и вида не подал, что терзаюсь ревностью, когда встретил их как-то на улице, они шли в обнимку. Илдазио заговорил об антологии, поторопил меня со стихотворениями, Институт, мол, требует представить рукописи. А эта потаскушка держалась со мной сдержанно и равнодушно.

В тот день и кашаса не могла приободрить меня: под утро, оглушенный, но не захмелевший, я написал прощальный сонет Ане Мерседес. Бывают такие страдания, что либо пускай пулю себе в лоб, либо пиши сонет. В стиле Камоэнса.

### 1

### О премии имени Педро Аршанжо и о том, как сам он становится предметом конкурса на соискание оной благодаря заботам поэтов, рекламных агентов, молоденьких учительниц и веселого крокодила

— Нет, это уж слишком, помилуйте... — Профессор Калазанс, казалось, вот-вот выйдет из обычного для него состояния благодушия и взорвется. — Фернандо Пессоа[[40]](#footnote-40) — это уж извините!

Они собрались в кабинете Гастона Симаса, главы баиянского отделения рекламного агентства «Допинг», чтобы определить тему конкурсного сочинения на соискание премии имени Педро Аршанжо. Впоследствии, когда прошли уже празднества в честь столетнего юбилея, когда разочарование и злость уступили место иронической улыбке, профессор говорил, что сам факт их встречи для обсуждения важнейшего культурного события года не где-нибудь, а в рекламном агентстве — знамение времени. А как он описывал собрания и заседания — умора, да и только.

— Фернандо Пессоа — это тема возвышенная, а Педро Аршанжо был в известном смысле поэтом, — пояснил свою идею Алмир Иполито, поэтический эмигрант в рекламе, устремив на несговорчивого сержипанца свои томные, глубоко запавшие глаза. — Вы разве не читали в «Диарио да Манья» статью Апио Коррейи «Педро Аршанжо — поэт в науке»? Гениально!

— А что там такое? Что общего нашел этот ваш гениальный писака между Аршанжо и Пессоа? — Профессор не выносил эпитета «гениальный»: слишком часто он его слышал от дочери и ее подруг по любому поводу, особенно когда речь шла о кавалерах. — Нам известно, что Педро Аршанжо любил пропустить рюмочку-другую, так что же, прикажете теперь учредить премию фирмы «Сири́» или фирмы «Крокодил», а темой конкурсной работы объявить восхваление соответствующих марок водки?

— Это идея! — расхохотался Гастон Симас. — Если бы вы, профессор, сотрудничали с нами, вы стали бы светилом в рекламном деле. У вас великолепные идеи. Испанец из «Крокодила» наверняка заплатил бы за вашу мысль.

— Мало вам этого безобразия с рекламой «Кока-коко». Педро Аршанжо на службе сбыта прохладительных напитков! И так уж дальше ехать некуда!

Дона Лусия, супруга главного секретаря комитета, утверждала, что муж ее выходит из себя не более двух раз в год. Но в тот год, тысяча девятьсот шестьдесят восьмой, в связи с празднованием столетнего юбилея Педро Аршанжо это случалось с ним по меньшей мере два раза в день: сталкиваясь с глупостью, он горячился, кричал. Только с глупостью? Были и подлости, да еще какие! Намалевать Педро Аршанжо на рекламном щите — это еще полбеды, хотя профессор и видел в этом профанацию. А вот некий очеркист, вдохновение и труд которого были щедро оплачены, взял да и приспособил труды Педро Аршанжо к восхвалению колониализма, исказив их, конечно, до неузнаваемости — это уж подлость так подлость!

Профессор Калазанс с радостью послал бы эти дела ко всем чертям. Однако не в его обычае было отказываться от своих обещаний, и, кроме того, кто защитил бы тогда образ Педро Аршанжо, кто помешал бы низвести дело его жизни до простого собирания фольклора, выхолостить его труды, изъять все, что было в них жизненно важного, актуального и по сей день? Описание нравов и обычаев, изучение фольклора — важно, спору нет, но гораздо важней дать отповедь расизму, провозгласить равенство рас.

Калазанс проникся симпатией к этому баиянскому мулату, который, не располагая ни капиталом, ни хорошим заработком, ни достаточным образованием, сумел преодолеть все препятствия, стал не просто самоучкой, а большим ученым, задумал и осуществил оригинальное глубокое исследование, исполненное душевной щедрости. Жизнь его будет служить для грядущих поколений примером целеустремленности и мужества, проявленных в самых неблагоприятных условиях. Во имя этой любви к Педро Аршанжо профессор продолжал выполнять возложенные на него функции, оставался на своем посту.

— Забавно получается, — доверительно поделился он с профессором Азеведо, своим коллегой и другом. — Столько шума, суеты, возни вокруг юбилея Аршанжо, а меж тем его образ и смысл его деятельности искажаются. Да, ему воздвигают памятник, но они чествуют не нашего Аршанжо, а другого, вот именно, другого, непохожего на себя и обедненного.

— Совершенно справедливо, — согласился профессор Азеведо. — Столько лет они ничего не знали ни о нем самом, ни о его трудах — полное забвение. Но вот появляется Левенсон, и им волей-неволей приходится обратить внимание на забытого Аршанжо. Его вытаскивают на свет божий, впихивают в новые одежды, пытаются подтянуть повыше на социальной лестнице, чтобы сделать пригодным для использования. Но знаете, Калазанс, все это не так уж важно: труды Аршанжо в принципе не поддаются никакому искажению. А весь этот шум так или иначе приносит пользу, создает популярность нашему местре с Табуана.

— Я порой просто выхожу из себя, меня охватывает отчаяние!

— Ну, зачем же так... Кроме мошенников, в подготовке юбилея участвует и немало порядочных людей. Есть энтузиасты, искатели, которые исследуют труды Аршанжо, руководствуются ими в своих работах, обнаруживают новые вехи нашего развития. Вот книга профессора Рамоса — монументальное произведение, настоящий памятник Аршанжо. А ведь стимулом к ее созданию послужил наш запрещенный семинар.

Семинар этот, хоть его и извели на корню, все же дал плоды в виде книг и изысканий.

— Да, вы правы. Даже ради премий за изучение наследия Педро Аршанжо имеет смысл ломать копья.

И вот теперь выбор темы конкурсной работы на соискание премии имени Педро Аршанжо заставил профессора еще раз возмутиться, потерять самообладание:

— Фернандо Пессоа?! Ну нет, это слишком! Если уж нужна поэтическая тема, то следовало бы взять Кастро Алвеса: тот был бразильцем и аболиционистом.

Алмир Иполито чуть не переломился пополам, выражая жестами, гримасами, все своей изящной и элегантной фигурой глубокое возмущение и горячий протест:

— О, ради бога, не надо таких сравнений! Коль речь идет о поэзии, при чем тут Кастро Алвес, жалкий рифмоплет, куда ему до моего Фернандо, величайшего португалоязычного поэта всех времен! А Кастро Алвес — женолюб, бабник — был ему омерзителен.

На этот раз профессор Калазанс совладал с собой, не произнес бранные слова, так и просившиеся на язык, заметив лишь:

— Вот как! Величайший? Бедный Камоэнс! Но даже будь он таким, для нашего конкурса это не тема.

— Известная выгода тут была бы, — заметил Голдман, шеф-редактор «Жорнал да Сидаде». — Можно было бы заставить раскошелиться португальских колонистов.

— Так что же, в конце концов, мы собираемся делать: чествовать Педро Аршанжо или вытягивать деньги из португальцев? У вас одни барыши на уме.

— Педро Аршанжо — это ключ... — сказал молчавший до той поры Арно, — ключ от сейфа.

— Профессор Калазанс прав, — вступился Гастон Симас. — Идея Иполито хороша, но давайте прибережем ее для какого-нибудь мероприятия, непосредственно касающегося лузитанской колонии. Ну, там, какая-нибудь годовщина Кабрала или столетний юбилей Гаго Коутиньо: «От Камоэнса до Фернандо Пессоа, от Кабрала до Гаго Коутиньо». Звучит, а? — Тут Гастон Симас слегка приосанился. — Но об этом потом. А сейчас надо решить с этой премией, прах ее побери. Нам давно пора объявить конкурс, нельзя больше терять ни минуты. Дорогой профессор, что вы конкретно предлагаете?

Вытащив из кармана пачку бумаг, Калазанс разложил их на столе и отыскал среди них положение о премии имени Педро Аршанжо, разработанное им совместно с доной Эделвейс Виейрой из Центра фольклорных исследований. При виде вороха бумаг Арно Мело подумал: «У бедняги нет даже кожаного атташе-кейса „007“, как он может работать? Набивает карманы пиджака разными записками — отсталый человек. Купите „007“, профессор, сразу станете другим: сильным, решительным, предприимчивым, сможете выдвигать и развивать идеи, твердо проводить свою линию».

Непрактичный в жизни профессор обошелся, однако, без атташе-кейса «007» для того, чтобы провести свою линию:

— Либо вы, господа, утвердите условия конкурса, тему сочинения и состав жюри в том виде, как обозначено в записке, либо занимайтесь конкурсом без меня и используйте себе Педро Аршанжо хоть как ключ, хоть как отмычку.

### 2

Гастон Симас заполучил пост директора баиянского филиала акционерного общества «Допинг» в первую очередь благодаря умению примирять, сглаживать острые углы, пожинать улыбки и доброе согласие там, где другого ждали бы кислые физиономии и неурядицы.

«Он — непревзойденный миротворец!» — восклицал Арно, большой его почитатель. Когда заказчик, выведенный из себя нерасторопностью агентов, взбешенный повторными ошибками в рекламных объявлениях, намеревался снять заказ, Гастон Симас нависал над ним всей своей гигантской фигурой и обволакивал его неотразимой любезностью.

Гастон Симас успокоил профессора: «Все будет сделано по вашим указаниям», и условия конкурса на соискание премии имени Педро Аршанжо были наконец утверждены полностью. Первоначальный текст достославного доктора Зезиньо Пинто претерпел изменения в двух-трех пунктах. Расширился круг участников: кроме учащихся средних школ, в него войдут студенты университета. Это будет не просто сочинение, а работа не менее чем на десять машинописных страниц о любом жанре баиянского фольклора, по выбору соискателя: капоэйра, кандомбле, ловля шареу[[41]](#footnote-41), круговая самба, афоше, пасторил, процессия моряков, дары Иеманже, АВС о Лукасе да Фейре, мастер капоэйры Безойро, живописец Карибе, спаситель Бонфинский и уборка его храма, праздники Консейсан да Прайя и святой Варвары. Первая премия — путешествие за границу. Но, разумеется, не в Португалию, а в Соединенные Штаты, ибо североамериканская авиационная компания предложила бесплатные билеты на весь маршрут. Путешествие в Португалию Гастон Симас приберег для мероприятия по объединению Педро Алвареса Кабрала с Гаго Коутиньо, которое уже разрабатывалось под эгидой телевидения, португальской авиакомпании и туристского агентства.

Были определены еще несколько премий: поездка в Рио-де-Жанейро, телевизоры, проигрыватели, радиоприемники, семь томов «Энциклопедии для юношества» и разные словари. Профессор Калазанс счел себя хотя бы частично вознагражденным за свои хлопоты, за время, потраченное на выслушивание идиотских речей. В интервью корреспонденту «Жорнал да Сидаде» он заявил, что «премия имени Педро Аршанжо будет способствовать воспитанию у молодого поколения научной любознательности, интереса к фольклору, к истокам бразильской национальной культуры».

Прочтя свое интервью в газете, профессор расцвел довольной улыбкой, и тут зазвонил телефон: Гастон Симас просил оказать ему любезность и зайти на несколько минут в контору компании «Допинг» для делового разговора, желательно поскорей, есть хорошие новости.

Пришлось профессору отказаться от отдыха в свободный час и направить свои стопы в контору. Гастон Симас и его свита сияли радостью, ликовали по поводу свершения, еще раз доказавшего, что они не даром едят свой хлеб.

— Любезнейший профессор! Или, если позволите, любезнейший коллега! Ведь изначальная идея была ваша!

— Какая идея? — отшатнулся Калазанс. Он побаивался этих наглых и беспардонных виртуозов рекламы, сбыта и вымогательства.

— Помните, мы собирались в среду на прошлой неделе, чтоб окончательно решить вопрос о премии имени Педро Аршанжо?

— Разумеется, помню.

— А вспоминаете ваше замечание насчет марок водочных изделий?

— Послушайте, Гастон, не хотите же вы сказать, что собираетесь сделать из Педро Аршанжо проповедника кашасы! Довольно и того безобразия с «Кока-кокой».

— Не будем возвращаться к дебатам по поводу такой мелочи, дорогой мэтр. Насчет рекламы кашасы — не извольте беспокоиться, руководство «Крокодила» отказалось от этой идеи как раз потому, что она уже использована «Кока-кокой». Зато они изъявили готовность финансировать конкурс среди учеников начальных школ, причем только муниципальных, ведь мы ничего не предусмотрели для них в программе юбилейных мероприятий. Ну, как?

— А в чем будет заключаться конкурс?

— Все очень просто: каждый ребенок напишет несколько строк о Педро Аршанжо, учительницы отберут лучшие сочинения, а уж потом жюри, куда войдут педагоги и литераторы, выберет пять лауреатов премии Веселого Крокодила.

— Премии Веселого Крокодила, ну и ну!

— А знаете, какая это будет премия, профессор? Стипендии на весь срок обучения в одном из коллежей. Фирма «Крокодил» предоставит пяти победителям бесплатное среднее образование.

Калазанс смягчился: пять бедных детей получат возможность закончить среднюю школу.

— Что ж, водка, в конце концов, ведет себя приличнее, чем прохладительные напитки. «Крокодил» берет имя Педро Аршанжо, но хоть что-то дает взамен, а те и того не пожелали. Однако не понимаю, при чем тут я.

— От вас нам нужен текст небольшой исторической справки о Педро Аршанжо, которую мы разошлем учительницам начальных школ, чтобы они располагали каким-то материалом о Педро Аршанжо. Пол-страницы, максимум страницу, краткую биографию нашего героя, изучив которую, учительницы смогут рассказать детям, кто такой был Педро Аршанжо. А дети перескажут каждый по-своему. Разве не здорово? Вот о такой краткой справке мы и хотим просить вас, вернее, мы ее заказываем.

— Это не так-то просто.

— Мы это понимаем, профессор, потому и обращаемся именно к вам. К тому же вам принадлежит и сама идея насчет сортов водки. Кстати, не хотите ли глоток виски? Настоящего шотландского, не то что у нашего достославного доктора Зезиньо.

— Это непросто, — повторил сержипанец. — Идет сессия, откуда взять время?

— Пол-странички, профессор, самую малость, только главное. Хочу пояснить: это заказ, компания выплатит вам гонорар.

Профессор Калазанс повысил голос, он не на шутку рассердился и счел себя чуть ли не оскорбленным:

— Ни за что на свете! Я участвую в этом деле не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы воздать должное памяти Педро Аршанжо. О деньгах со мной не говорить.

Арно Мело покачал головой: с этим не столкуешься, он неисправим. Но чем же, черт побери, он так располагает к себе? Гастон Симас поспешил извиниться:

— О деньгах никто больше не заикнется. Простите меня. Могу я прислать за текстом завтра утром?

— Нет, Гастон, не успею. На сегодня у меня куча сочинений, а завтра с восьми до двенадцати я занят на факультете. Когда же мне заниматься текстом этой справки?

— Ну, хотя бы основные сведения, профессор, и ваши соображения, вот и все. Мы здесь подредактируем.

— Сведения, соображения? Что ж, это можно. Присылайте кого-нибудь завтра утром ко мне домой. Я оставлю мои заметки Лусии.

Рыжая секретарша принесла виски со льдом. Молча и не спеша поднесла каждому: какой смысл утруждать речью уста, созданные для многозначительных улыбок, утомлять лишними движениями тело, которому предназначено радовать взор и дарить наслаждение.

### 3

### Сведения, представленные акционерному обществу «Допинг» профессором Калазансом

*Имя.* Педро Аршанжо.

*Дата и место рождения.* 18 декабря 1868 года, город Салвадор, штат Баия.

*Происхождение.* Сын Антонио Аршанжо и некоей Ноэмии, более известной под прозванием Нока из Логунедэ. Об отце известно лишь, что он был призван в армию во время войны с Парагваем и погиб при переходе через Чако, оставив беременную жену, которая впоследствии разрешилась первым и единственным сыном — Педро.

*Образование.* Самоучкой овладев начальной грамотой, посещал лицей искусств и ремесел, где изучил ряд предметов, в том числе печатное дело. Особо преуспел в португальском, с ранних лет проявил любовь к чтению. Уже в зрелом возрасте занялся углубленным изучением антропологии, этнологии и социологии. Для этого овладел французским, английским и испанским языками. Его знание жизни и обычаев народа Баии было практически полным.

*Труды.* Опубликовал четыре книги: «Народный быт Баии» (1907); «Африканские влияния на народные обычаи Баии» (1918); «Заметки о смешении рас в баиянских семействах» (1928); «Баиянская кухня. Истоки и рецепты» (1930). Эти труды ныне считаются фундаментальными для изучения фольклора, специфики бразильского быта в конце прошлого и начале нынешнего века, и самое главное — для понимания расовой проблемы в Бразилии. Горячий сторонник смешения, слияния рас, Педро Аршанжо явился, по мнению американского ученого, лауреата Нобелевской премии Джеймса Д. Левенсона, «одним из создателей современной этнологии». Полное собрание сочинений Педро Аршанжо только что издано в двух томах издательством «Мартинс» в Сан-Пауло, в серии «Великие люди Бразилии», с комментариями Артура Рамоса, профессора филологического факультета университета. В первый том вошли три первые книги Педро Аршанжо под общим заглавием «Бразилия — страна-метис» (заглавие предложено профессором Рамосом), книга о баиянской кухне издана отдельным томом. Много лет пребывавшие в забвении труды Педро Аршанжо получили теперь международное признание. В Соединенных Штатах они были переведены на английский язык и вошли в энциклопедию «Жизнь слаборазвитых народов», изданную под эгидой Колумбийского университета (город Нью-Йорк). В текущем 1968 году по случаю празднования столетия со дня рождения Педро Аршанжо о нем много писали. Особо следует выделить работу профессора Рамоса и предисловие к переводу трудов Педро Аршанжо на английский язык, написанное Джеймсом Д. Левенсоном и озаглавленное «Педро Аршанжо — основоположник науки».

*Прочие сведения.* Мулат, бедняк, самоучка. Еще мальчиком нанялся юнгой на грузовое судно. Несколько лет прожил в Рио-де-Жанейро. По возвращении в Баию работал наборщиком в типографии, преподавал в начальной школе, затем поступил на медицинский факультет на должность педеля и проработал там около тридцати лет; был уволен после выхода в свет одной из его книг, навлекшей на него гонения. Музыкант-любитель, играл на кавакиньо и шестиструнной гитаре. Участвовал в народных праздниках и обрядовых действиях. Женат не был, ему приписывают множество любовных связей, в том числе с некоей прекрасной скандинавкой, то ли шведкой, то ли финкой, точных сведений нет.

*Дата смерти.* Умер в 1943 году в возрасте семидесяти пяти лет. На похоронах было очень много народу, среди прочих присутствовал профессор Азеведо и поэт Элио Симоэнс.

Примером своей жизни Педро Аршанжо показал нам, как человек, рожденный в крайней бедности, выросший без отца в условиях, неблагоприятных для культурного развития, занимая скромные должности, может преодолеть все трудности и подняться к вершинам знания, стать вровень с самыми именитыми деятелями своего времени, а в чем-то и превзойти их.

### 4

### Текст, отредактированный виртуозами рекламы из акционерного общества «Допинг» и разосланный учительницам начальных школ города Салвадора

Известный всему миру бессмертный писатель и этнолог Педро Аршанжо, слава Баии и всей Бразилии, столетний юбилей которого мы отмечаем в этом году под эгидой «Жорнал да Сидаде» и фирмы «Водка Крокодил», родился в городе Салвадоре 18 декабря 1868 года. Сын героя Парагвайской войны, сирота от рождения: отец его, Антонио Аршанжо, откликнувшись на зов родины, распрощался с беременной женой и ушел, чтобы встретить смерть на бескрайних просторах Чако в неравной борьбе с коварным врагом.

Следуя славному примеру отца, Педро Аршанжо с ранних лет начал борьбу за то, чтобы выйти из серости и убожества той среды, в которой родился. Он начал с изучения литературы и музыки и сразу же обнаружил блестящий литературный талант. Быстро овладел несколькими языками, в том числе английским, французским и испанским.

В юности, влекомый жаждой приключений, отправился путешествовать по свету, нанявшись матросом на корабль. В Стокгольме повстречался с прекрасной скандинавкой, которой суждено было стать величайшей любовью в его жизни.

По возвращении в Баию он поступил на медицинский факультет и там нашел благоприятные условия для того, чтобы менее чем за тридцать лет стяжать себе славу ученого и писателя.

Его перу принадлежит ряд книг, в которых он описал баиянские обычаи и фольклор, дал анализ расовой проблемы. Когда эти книги были переведены на другие языки, Педро Аршанжо стал знаменит во всех странах мира, особенно в Соединенных Штатах, где его труды получили признание и были изданы Колумбийским университетом в Нью-Йорке по инициативе известного профессора Джеймса Д. Левенсона, лауреата Нобелевской премии, который провозгласил себя учеником Педро Аршанжо.

Педро Аршанжо умер в Салвадоре в 1943 году, достигнув семидесяти пяти лет, окруженный всеобщим уважением и восхищением ученого мира. За его гробом шли представители власти, профессора университета, писатели и поэты.

Гордость Баии и всей Бразилии, ученый и писатель, прославивший родину за рубежом, Педро Аршанжо учит нас своим примером тому, как человек, рожденный в бедности, в среде, враждебной культуре, может возвыситься до вершин знания и завоевать солидное положение в обществе.

Празднуя столетие со дня рождения этого блистательного паладина науки и культуры, мы, жители Баии, едины в нашем стремлении почтить славную память нашего Педро Аршанжо в ответ на призыв газеты «Жорнал да Сидаде», которая в связи с этой памятной датой проводит свою очередную патриотическую кампанию.

Фирма «Водка Крокодил» не могла остаться в стороне от столь великого праздника, ибо она сама стала уже неотъемлемой частью баиянского фольклора, изучению которого посвятил свою жизнь наш гениальный согражданин. Разве не эта огненная марка водки породила образ Веселого Крокодила, вызывающего восторг у детей своими объявлениями по радио и телевидению, разве это не подлинное творение современного фольклора, где есть и стихи, и музыка?

Веселый Крокодил проводит большой конкурс в начальных школах Салвадора. Мы просим любезных сеньор учительниц рассказать на уроке историю жизни Педро Аршанжо, и пусть каждый ученик, с первого по пятый класс, напишет о своих впечатлениях. Конкурс проводится на соискание пяти премий: пяти стипендий на весь срок обучения в одной из частных гимназий столицы штата. Эти премии будет выплачивать фирма «Водка Крокодил».

Вместе с детворой из муниципальных школ Салвадора Веселый Крокодил кричит: «Да здравствует бессмертный Педро Аршанжо!»

### 5

### Вступительное слово учительницы Диды Кейроз на уроке в третьем классе муниципальной школы имени журналиста Джованни Гимараэнса, которая находится в районе Рио Вермельо

Педро Аршанжо — это гордость Баии, Бразилии, всего мира. Он родился сто лет назад, и поэтому «Жорнал да Сидаде» и фирма «Крокодил», которая торгует водкой, празднуют его столетний юбилей, проводя конкурс среди студентов и школьников. Назначены ценные премии, например путешествие в Соединенные Штаты и Рио-де-Жанейро, телевизоры, радиоприемники, книги и так далее. Для вас, учеников начальной школы, тоже будут премии — пять стипендий, чтобы учиться в одной из гимназий нашего города, столицы штата. При нынешней плате за обучение в частных школах это премия ценная, да еще какая ценная.

Отец Педро Аршанжо был генералом на войне с Парагваем и пал в борьбе против тирана Солано Переса, который пошел на нас войной. Маленький Педро остался сиротой и без средств, но не пал духом. Он не мог посещать школу, уплыл на пароходе в дальние страны и выучил много иностранных языков, стал полиглотом — это такой человек, который умеет говорить не только на португальском, но и на других языках. Служил привратником на медицинском факультете, а потом получил ученую степень и больше тридцати лет преподавал.

Он написал много книжек о фольклоре, то есть таких, где рассказываются истории про зверюшек и про людей, только детям их читать нельзя. Это серьезные книги, очень важные, их читают ученые профессора.

Педро Аршанжо много путешествовал, побывал в Европе и Соединенных Штатах, по-моему, путешествия — это самое лучшее, что есть на свете. В Европе он познакомился с прекрасной скандинавкой, женился и счастливо прожил с ней всю жизнь.

В Соединенных Штатах он читал лекции в Колумбийском университете, в Нью-Йорке, а это — самый большой город в мире, и вел занятия на английском языке. В числе его учеников был американский ученый Левенсон, который столькому у него научился, что потом получил Нобелевскую премию, самую большую премию; кто ее получил, входит прямо в историю.

Умер Педро Аршанжо в 1943 году очень-очень стареньким, и его похороны были как шествие в святой праздник, на них присутствовали губернатор, префект и профессора университета.

Педро Аршанжо учит нас своим примером, что бедный мальчик, если старается учиться как следует, может попасть в высшее общество, преподавать в университете, зарабатывать много денег, путешествовать, сколько захочет, и стать гордостью Бразилии. Надо только иметь силу воли и слушаться учительницу. Сейчас вы будете писать о том, что вы узнали о Педро Аршанжо, но сначала давайте крикнем вместе с Веселым Крокодилом, который будет выплачивать стипендии: «Да здравствует бессмертный Педро Аршанжо!»

### 6

### Сочинение девятилетнего Рая, ученика третьего класса упомянутой школы имени журналиста Джованни Гимараэнса

Педро Аршанжо был очень бедный сиротка который сбежал в моряки вместе с одной иностранкой совсем как мой дядя Зука и поехал в Соединенные Штаты потому что там много денег хватит на осла только он сказал я же бразилец и вернулся в Баию рассказывать истории про зверей и людей и такой был ученый что учил не ребят, а только докторов и учителей и когда умер то стал гордостью Бразилии и получил в премию от газеты пять бутылок водки. Да здравствует Педро Аршанжо и Веселый Крокодил!

## О гражданской борьбе Педро Аршанжо Ожуобы и о том, как народ захватил площадь

### 1

— Лучше всех у нас говорит по-французски Нестор Соуза, совсем без акцента, — заявил профессор Аристидес де Кайрес, восхваляя декана юридического факультета, выдающегося юриста, члена международных организаций. Он повторил, словно смакуя: — Нестор Соуза, светлая голова!

— У Нестора, безусловно, очень хорошее произношение. Но в оборотах речи едва ли сравнится он с Зиньо де Карвальо. Для Зиньо нет секретов во французском. Он знает наизусть не одну страницу из «Гения христианства» Шатобриана, много стихотворений Виктора Гюго, целые сцены из «Сирано де Бержерака» Ростана. — Фонсека произносил на французский лад «Викто́р Юго́», чтобы показать свою собственную компетентность. — Вы слышали, как он читает стихи?

— Да, конечно, и я присоединяюсь к вашим похвалам. Но все же спрашиваю: может ли Зиньо сымпровизировать речь на французском, как Нестор Соуза? Вы помните, коллеги, прошлогодний банкет в честь мэтра Дэ, парижского адвоката? Нестор экспромтом произнес приветственное слово по-французски! Потрясающе! Слушая его, я почувствовал гордость оттого, что мы земляки.

— Экспромтом? Как бы не так, — ехидно заметил тощий и желчный приват-доцент Исайас Луна, снискавший популярность среди студентов как раз благодаря тому, что хулил общепризнанные авторитеты да еще был либерален на экзаменах. — Насколько мне известно, он свои лекции заучивает наизусть, а мимику отрабатывает перед зеркалом.

— Помилуйте, зачем же повторять злые сплетни завистников?

— Да все это говорят, это голос народа. Vox populi, vox Dei[[42]](#footnote-42).

— Зиньо... — снова вступился за своего кандидата профессор Фонсека.

Поболтать в преподавательской в перерыве между занятиями собирались все, кто читал лекции на медицинском факультете; это были люди один другого знаменитее и высокомернее, и каждый из них ревниво оберегал свою исключительность. Потягивая горячий кофе, который приносили педели, они отдыхали от занятий и от студентов за беседой на любую тему, какая подвернется, начиная с обсуждения научных проблем до сплетен друг о друге. Порой тряслись от смеха, выслушав рассказанный вполголоса анекдот. «У нас на факультете что-нибудь стоящее услышишь только в преподавательской», — утверждал профессор Аристидис Кайрес, задавший тему разговора в то утро: кто лучше владеет французским языком.

Французский язык — необходимая вещь для всякого, кто хотел бы претендовать на интеллигентность, обязательный атрибут высшего образования. В те времена не были переведены на португальский язык основные пособия, без которых невозможно усвоить учебную программу любого факультета. Библиография, предлагаемая студентам, была у подавляющего большинства преподавателей французского, некоторые знали еще и английский, а немецким не владел почти никто. Говорить по-французски без ошибок и без акцента давно уже стало вопросом престижа и предметом тщеславной гордости.

Стали перебирать других знатоков: Бернара, преподавателя политехнической школы, у которого отец был француз, а сам он получил образование в Гренобле; журналиста Энрике Дамазио, много раз ездившего в Европу и прошедшего полный курс в парижских кабаре, — «этот — нет, ну что вы, у него будуарный лексикон»; художника Флоренсио Валенсу, который двенадцать лет вел жизнь богемы в Латинском квартале; падре Кабрала из иезуитского коллежа — «этот тоже не в счет, мы говорим о бразильцах, а он — португалец». Кто же из всех правильнее говорит, у кого лучшее произношение? У кого самый шикарный парижский выговор с грассирующим «р» и безупречными носовыми?

— Перечислив стольких, коллеги, вы забыли, что и у нас на факультете есть три-четыре светила по этой части, — укорил собеседников профессор Айрес.

Все с облегчением вздохнули: становилось неловко слушать похвалы чужим, в то время как о своих, факультетских, звездах — ни слова. Ведь в те времена в Баие не было титула почетнее, чем звание профессора медицинского факультета. Оно несло с собой не только пожизненное заведование кафедрой, солидный оклад, почет и уважение, но также обеспечивало доходную практику, богатых пациентов. Люди приезжали даже из сертана, из самого захолустья, прочтя в газетном объявлении: «Профессор, доктор имярек, заведующий кафедрой медицинского факультета Баиянского университета, стажировавшийся в клиниках Парижа». Звание это, подобно магическому заклинанию, открывало широкие возможности в самых различных областях деятельности, как-то: литература, политика, землевладение и скотоводство. Профессора становились членами различных академий, избирались депутатами законодательных органов штата или всей страны, покупали фазенды, тысячи голов скота, целые латифундии.

Конкурс на замещение вакантной должности заведующего кафедрой являлся событием национального масштаба: врачи Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло спешили составить конкуренцию баиянцам, оспаривая у них должность и связанные с ней привилегии. Публика валом валила на диспуты, на защиту диссертаций, на открытые лекции соискателей, внимательно слушала вопросы и ответы, шумно откликалась на остроумные фразы или грубые выпады. Мнения расходились, решение жюри вызывало споры и протесты, были случаи, когда противной стороне угрожали физической расправой и даже смертью. При таких обстоятельствах как можно было, перечисляя знатоков французского языка, забыть об аристократии медицинского факультета! Нелепость, скандал!

Особенно неловко было потому, что в преподавательской сидел и слушал коллег — несомненно, в молчаливом ожидании — профессор Нило Арголо, корифей, полиглот, «чудо о семи языках». Он не только мог произнести речь или вести беседу, но и писал на французском статьи, резюме. Только что он послал на Брюссельский конгресс важный труд: «Паранойя[[43]](#footnote-43) у негров и метисов».

— Полностью на французском, ни одной строчки, ни одного слова по-португальски! — подчеркнул профессор Освалдо Фонтес, спеша вручить пальму первенства своему учителю и другу.

Всеми почитаемый профессор Силва Виража, светило перовой величины в медицинской науке, исследователь шистозомы[[44]](#footnote-44), потягивал маленькими глотками кофе и развлекался, наблюдая, как менялось лицо его коллеги Нило д’Авила Арголо де Араужо после реплик Айреса и Фонтеса: сначала хмурое, непроницаемое, тревожное, потом сразу — радостное, а через миг — исполненное напускной скромности, из-под которой выпирало самодовольство. Маститый ученый был снисходителен к глупости человеческой, но чванства не терпел.

Когда смолк дружный хор всеобщих похвал, профессор Арголо великодушно возгласил:

— Профессор Нестор Гомес тоже в совершенстве владеет языком Корнеля.

Остальных он не счел достойными упоминания.

Не вытерпев столь явного зазнайства, Силва Виража поставил чашечку на стол и сказал:

— Я знаю всех, кого здесь упоминали, и слышал, как они говорят по-французски. Однако осмелюсь заметить, что есть человек, который лучше кого бы то ни было в нашем городе говорит по-французски, абсолютно правильно, без всякого акцента, и этот человек — один из педелей нашей кафедры по имени Педро Аршанжо.

Профессор Нило Арголо поднялся с места, лицо его пылало, словно коллега закатил ему пару пощечин. Если бы эти слова произнес кто-нибудь другой, то заведующий кафедрой судебной медицины схватился бы с обидчиком: сравнить его с каким-то педелем, да еще мулатом! Однако на медицинском факультете и во всей Баие никто не смел повысить голос на профессора Силву Виража.

— Уж не тот ли это темнокожий, коллега, что много лет назад опубликовал тощую книжонку о народных обычаях?

— Он самый, профессор. Этот человек работает у меня уже почти десять лет. Я пригласил его к себе сразу же, как прочел эту его тощую книжонку, как вы изволили ее охарактеризовать. Она действительно невелика по объему, но богата наблюдениями и идеями. Сейчас он готовит к изданию еще одну книгу, уже не такую тощую и еще более содержательную; работа имеет необычайный этнологический интерес. Он дал мне прочесть несколько глав, я ими просто восхищен.

— И этот... этот... педель знает французский?

— Еще как! Слушать его — наслаждение. Изумительно говорит он и по-английски. Хорошо знает испанский, итальянский, и если бы только у меня было время с ним заняться, он обошел бы меня и в немецком. Между прочим, это мнение разделяет со мной ваша уважаемая кузина, графиня Изабел Тереза, а ее французский, кстати сказать, — восхитителен.

Упоминание о шокирующем родстве усугубило замешательство оскорбленного профессора.

— Ваша всем известная доброта, профессор Виража, заставляет вас переоценивать своих подчиненных. Наверняка этот цветной всего-навсего заучил несколько французских фраз, а у вас столь великодушное сердце, что вы уже объявляете его знатоком.

Ученый рассмеялся, смех его был звонок, как у ребенка.

— Благодарю за похвалу, я ее, право, не заслуживаю; доброты, о какой вы говорите, у меня вовсе нет. Правда, я предпочитаю переоценить человека, ибо тот, кто постоянно недооценивает других, сам немногого стоит. Но в данном случае я не преувеличиваю, коллега.

— Какой-то педель, просто не верится.

Местре Силва Виража не любил чванства, но презрительное отношение к людям бедным попросту его бесило. «Не доверяйте тем, кто льстит сильному и топчет слабого, — советовал он своим ученикам. — Это подлые люди, лживые и коварные, лишенные какого бы то ни было благородства».

— Этот педель — настоящий ученый, у него не грех и поучиться иному профессору.

Резко повернувшись, заведующий кафедрой судебной медицины покинул преподавательскую, за ним последовал профессор Освалдо Фонтес. Местре Силва Виража весело рассмеялся, точно ребенок после удачной проказы, в глазах — лукавый огонек, а в голосе — нотка ужаса:

— Что за вздор! Талант не определяется ни цветом кожи, ни социальным положением. Ну как это некоторые люди все еще не могут постичь такую очевидную истину!

Он тоже встает, пожимает плечами, «бог с ним совсем, с этим Нило д’Авило Арголо де Араужо, он раб предрассудков, мешок, набитый тщеславием, он полон одним собой, потому и пуст». Ученый идет на второй этаж, где его ждет негр Эваристо с материалом из прозекторской. «Бедняга Нило! Когда же ты поймешь, что важна только сама наука, она нетленна, на каком бы языке ни излагалась и как бы ни именовался тот, что служит ей, кто ее творит?» В лаборатории местре Силву Виража обступают студенты: препараты уже под микроскопами.

### 2

Более десяти лет, с 1907 по 1918 год, от появления «Народного быта Баии» до выхода в свет «Африканских влияний на народные обычаи Баии», Педро Аршанжо учился. Учился по собственной методике, систематически, целеустремленно и упорно. Ему нужно было познать, и он познал: прочел все, что можно было прочесть по расовой проблеме. Проглотил множество трактатов, книг, диссертаций, научных сообщений, статей, проштудировал кучу подшивок журналов и газет, заделался настоящей библиотечной и архивной крысой.

При этом он продолжал жить полной жизнью в самой гуще народа, продолжал наблюдать и познавать народный быт в городе и на плантациях. Но теперь он черпал знания еще и из книг, на пути к решению главной проблемы ему пришлось пройти по многим ответвлениям древа познания — он стал эрудитом. Все, что ни делал он в эти годы, имело свою цель, смысл и входило звеном в общую цепь.

Местре Лидио Корро торопил его. Возмущался, читая в газетах злобные выпады и угрозы под жирными заголовками: «Доколе мы будем терпеть превращение Баии в огромную вонючую сензалу?»

— Похоже, кум, у тебя сломалось перо и пролились чернила. Где вторая книга? Ты все говоришь о ней, но я не вижу, чтоб ты ее писал.

— Не подгоняй меня, дружище, я еще не готов.

Чтобы подзадорить друга, Лидио вслух читал ему статьи и заметки: налеты полиции на кандомбле, реквизиция деревянных идолов, запрещение праздников, конфискация подарков Иеманже, избиение капоэйристов ножнами сабель в полицейском участке.

— Те-то готовы дубасить вас с полным удовольствием. Вовсе не надо читать всю эту писанину, чтобы разобраться, что к чему. — Лидио указал на брошюры, медицинские журналы и книги, которыми был завален стол Педро Аршанжо. — Раскрой газету — и увидишь: один требует запретить круговую самбу, другой — капоэйру, третий — кандомбле. Новости одна хуже другой.

— Ты прав, мой милый. С нами хотят расправиться раз и навсегда.

— А ты, такой знающий человек, что делаешь ты?

— Да ведь всему виной, дружище, профессора с их теориями. Надо бороться с первопричиной, милый мой. Писать протесты в газету — вещь полезная, но это дела не решает.

— Ладно, пусть так. Но тогда почему же ты все-таки не пишешь книгу?

— Я готовлюсь к этому. Понимаешь, кум, я был темен, как пивная бутылка. Возьми это в толк, приятель. Я думал, что много знаю, а не знал ничего.

— Ничего? Я-то думаю, наука, которую ты постиг здесь, на Табуане, в «Лавке чудес», стоит большего, чем вся твоя факультетская премудрость, кум Педро.

— Факультетская наука не моя, и народную мудрость я не отрицаю. Только я понял, что одной этой мудростью не обойтись. Сейчас я тебе, дружище, растолкую.

Тадеу, стоя к ним спиной, переплетал книги и не пропускал ни слова из того, что говорил его крестный.

— Любезный мой кум, — пояснял Аршанжо куму Лидио, — я в большом долгу перед профессором Арголо, тем самым, что хотел бы оскопить негров и мулатов, что науськивает полицию на кандомбле, я в долгу перед этим чудом-юдом, как его прозвали студенты. Чтобы унизить меня, он когда-то выставил меня полным невеждой — и унизил-таки. Поначалу я только разозлился: даже свет мне стал не мил. Потом сообразил, что так оно и есть, он прав, я полуграмотный. Я, как бы тебе сказать, видел многие вещи, но их не понимал, знал обо всем, но не знал, что такое знать.

— Ты, кум, скоро станешь говорить заумнее, чем профессор медицины. «Я не знал, что такое знать» — это шарада или загадка?

— Ребенок надкусывает плод и сразу узнает, какой он на вкус, но не знает, почему у плода такой вкус. Я вижу, как обстоят дела, и хочу докопаться до причины, чем теперь и занят. И докопаюсь, дружище, поверь моему слову.

Пока Педро Аршанжо учился, он писал письма в редакции газет, протестуя против нападок на старинные обряды и призывов усилить полицейские репрессии. Тот, кто возьмет на себя труд перечесть эти письма — те немногие, что увидели свет под его собственным именем или под псевдонимами: Возмущенный Читатель, потомок Зумби, Мале[[45]](#footnote-45), Бразильский Мулат, — без труда сможет проследить эволюцию Педро Аршанжо на протяжении многих лет. Его аргументы, подтверждаемые ссылками на отечественных и зарубежных авторов, обретали убедительность, становились неотразимыми. В «Письмах в редакцию» местре Аршанжо отточил свое перо, язык его обрел ясность и точность, не утратив поэтического духа, присущего всем его писаниям.

Он в одиночку вступил в неравный бой почти со всей баиянской прессой того времени. Перед тем как отослать очередное письмо, он читал его друзьям в «Лавке чудес». Мануэл де Прашедес, вскипая яростью, предлагал «разбить морды этим паршивцам». Будиан встречал каждый тезис одобрительным кивком, Валделойр хлопал в ладоши, Лидио Корро улыбался. Затем Тадеу относил письмо в редакцию. Этих «Писем в редакцию» был не один десяток, но лишь немногие из них целиком или в сокращении появились на газетной полосе, большинство же было брошено в корзину, но два удостоились особого обращения.

Первое из них, большое по объему, почти целая статья, было направлено в редакцию одной из газет, самой рьяной в злобных нападках на кандомбле. В нем Педро Аршанжо спокойно и с документальной достоверностью подвергал анализу положение языческих верований в Бразилии и призывал обеспечить для них «свободу исповедания, уважение и привилегии, предоставляемые католической и протестантской церквам, ибо афро-бразильские культы — это вера, религия, духовная пища многих тысяч граждан, не менее достойных уважения, чем все остальные».

Через несколько дней газетенка разразилась статьей, автор которой не стеснялся в выражениях, дабы излить свою ярость на первой странице под заголовком, напечатанным жирными буквами: «ЧУДОВИЩНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ». Не цитируя аргументов Педро Аршанжо и не полемизируя с ним, автор лишь упоминал о них, а цель свою видел в том, чтобы дать знать «властям, духовенству и общественности о чудовищных притязаниях идолопоклонников, которые требуют (ТРЕБУЮТ!) в своем письме в редакцию, чтобы их непристойные шаманские ритуалы пользовались таким же уважением и такими же привилегиями и в духовном плане стояли бы на таком же уровне, что и высокое католическое вероисповедание, святая наша церковь Христова, а также протестантские секты, с ересью которых мы не согласны, хотя и не отрицаем христианскую основу кальвинизма и лютеранства». В заключение диатрибы редакция заверяла граждан Баии в том, что и впредь не пожалеет сил на «беспощадную борьбу с ненавистным идолопоклонничеством, с диким грохотом барабанов макумбы, который ранит слух и эстетическое чувство баиянцев».

Другим письмом воспользовалась в погоне за популярностью и тиражом только что открывшаяся газета либерального направления. Педро Аршанжо написал это письмо в ответ на филиппику профессора Освалдо Фонтеса, напечатанную на страницах некоей консервативной газеты под заголовком «Сигнал тревоги». Профессор психиатрии призывал местную элиту и власти обратить внимание на факт, который, по его мнению, заключал в себе серьезнейшую угрозу будущему всей страны: высшие учебные заведения штата подвергаются зловещему нашествию цветных. «Все больше и больше цветных занимают вакансии, которые надо бы держать только для юношей чистых кровей из хороших семейств». Пора прибегнуть к решительной мере — «просто-напросто закрыть законодательным путем доступ в высшие учебные заведения этим дегенерирующим элементам». Профессор ссылался на военно-морской флот, где для негров и метисов производство в офицеры было запрещено, рассыпался в похвалах министерству иностранных дел, которое вежливо, но твердо «оберегает чистоту своих благородных дипломатических кадров от цветных примесей».

Педро Аршанжо отозвался письмом, подписанным: «С уважением — Бразильский Мулат». Солидная аргументация, ссылки на знаменитых антропологов, подтверждавших высокие интеллектуальные способности негров и мулатов, упоминание о прославленных метисах, в том числе о послах Бразилии в разных странах, и несколько слов о том, что представляет собой профессор Фонтес.

«Профессор Фонтес ратует за чистокровных докторов. Да ведь чистокровными бывают разве что скаковые лошади. При виде оного профессора, шествующего к факультету по Террейро Иисуса, студенты шутят, что, мол, получив заботами Нило Арголо звание профессора психиатрии, доктор Фонтес уподобился коню Калигулы: Калигула некогда предоставил своему коню кресло в римском сенате — профессор Нило Арголо де Араужо предоставил Освалдо Фонтесу кресло заведующего кафедрой на медицинском факультете. Потому-то профессор и ратует за чистоту породы на факультете. Чистых и благородных кровей бывают рысаки. Чиста ли, благородна ли кровь у самого профессора?»

Представьте себе изумление Аршанжо, когда он обнаружил, что вся первая часть его письма составила передовицу молодого органа печати: аргументы, цитаты, фразы, абзацы, целые параграфы перепечатаны слово в слово. Частью, посвященной профессору Фонтесу, редактор почти не воспользовался, он опустил каламбур о чистоте крови и лошадиной генеалогии, ограничившись сухими строчками: «Видный ученый, эрудицию которого мы не собираемся подвергать сомнению, является, однако, объектом шуток в студенческой среде по поводу защищаемых им допотопных взглядов». И ни слова о Бразильском Мулате с его уважением. Весь почет достался газете, статья вызвала живой отклик.

В тот день Аршанжо не без удовольствия увидел, что студенты развесили этот номер газеты по стенам медицинского факультета. Профессор Фонтес велел педелю своей кафедры сорвать их и уничтожить. Он прямо-таки озверел, следа не осталось от его нарочитой вялости, подчеркнутой учтивости, снисходительной улыбки, которой он обычно удостаивал проделки студентов.

### 3

По примеру профессора Силвы Виража Педро Аршанжо научился тщательно анализировать мнения, формулировки и высказывания, словно разглядывая их под микроскопом, изучая мельчайшие детали, клеточку за клеточкой, с лица и с изнанки. Он знал наизусть биографию и труды Гобино, его чудовищную теорию, он чуть ли не по минутам изучил всю его деятельность на посту посла Франции в Бразилии: лишь через полное познание можно прийти от ярости и ненависти к холодному презрению.

Так, прослеживая день за днем путь французского посла при императорском дворе, он добрался вместе с мосье Жозефом Артюром, comte de Gobineau[[46]](#footnote-46), до дворцовых садов в Сан-Кристоване, где тот беседовал о литературе и разных науках с его величеством Педро Вторым, и беседа эта, можете себе вообразить, велась в то самое время, когда мать Педро Аршанжо, Нока из Логунедэ, почувствовала первые схватки и послала негритенка за Ритой Ослятницей, лучшей в тех краях повивальной бабкой.

В 1868 году, когда Педро Аршанжо только родился, Гобино уже исполнилось пятьдесят два года, и прошло пятнадцать лет с тех пор, как он опубликовал «Essai sur l’inégalité des races humaines»[[47]](#footnote-47). Он беседовал с монархом, прогуливаясь по дорожкам парка, а Нока в это время, стеная в родовых муках, устремлялась мыслью за леса, реки и горы, в безлюдные пампасы Парагвая вслед за мужем, которому пришлось сменить ремесло каменщика на занятие, заключавшееся в том, чтобы убивать и убивать в бесконечной войне, без всякой надежды на возвращение, убивать, пока не убьют тебя самого. Он так хотел ребенка, и вот теперь не увидит новорожденного.

Нока еще не знала о гибели сержанта Антонио Аршанжо при переходе через Чако. Опытный мастер-каменщик воздвигал стены школы, когда его схватил патруль. И стал он волонтером поневоле, из-под палки, его даже не пустили домой попрощаться. Нока лишь помахала ему с причала в день отплытия. Хотя несчастный каменщик, у которого отобрали мастерок и отвес, шагал понуро с батальоном «баиянских зуавов», ей он показался бравым красавцем в солдатском мундире, с атрибутами своего нового ремесла, несущими смерть и к смерти ведущими.

Недели за три до этого она сказала ему, что беременна, и сожитель ее ошалел от счастья. Тут же предложил пожениться, не знал, чем бы ей угодить: пока носишь, не работай, я не позволю. Нока работала — стирала и гладила белье — до самых родов. «И вот ребеночек рождается, Антонио, рвет мое чрево, что же это Рита все не идет! Где ты, мой Антонио, что ж ты не идешь? Ах, Антонио, драгоценный мой, бросай ружье, снимай погоны, возвращайся поскорей, теперь мы вдвоем тебя ждем в нужде и тоске».

Будучи отправлен на войну силком и понимая, что назад дороги нет, рядовой Антонио храбро и умело выполнял приказ убивать и заслужил нашивки капрала. «Всегда назначался в разведывательные группы и на аванпосты подразделений, в которых служил», — прочел Педро Аршанжо в анналах Парагвайской войны, когда взвешивал кровь — белокожих, темнокожих, краснокожих, — пролитую за родину: кто отдал больше жизней, чьих смертей было больше?

Антонио Аршанжо, теперь уже смрадный труп, добыча стервятников-урубу, так и не увидит сына, который начал жизнь с того, что вылез на свет божий сам, не дождавшись повитуху. А в тот самый час под освежающей сенью дерев Monsieur le comte de Gobineau и его императорское величество, то бишь теоретик расизма и ярый сочинитель сонетов, неторопливо вели глубокомысленную и утонченную беседу, вот именно: raffiné[[48]](#footnote-48).

Когда Рита Ослятница прибыла наконец к Ноке из Логунедэ, новорожденный вовсю упражнял легкие. Повитуха, маленькая, но плотная женщина лет пятидесяти, расхохоталась, уперев руки в бока: это же Эшу́, господь меня спаси и помилуй, только сыны Пса выходят на свет, не дождавшись повитухи. Этот заставит о себе говорить и дел натворит немало.

### 4

От каменщика, ставшего капралом, Педро Аршанжо унаследовал ум и храбрость, упомянутые в военном бюллетене. От Ноки — мягкие черты лица и упрямство. Она была упряма: вырастила сына, обеспечив ему кров, хлеб и ученье в школе без чьей бы то ни было помощи, без мужской руки, ибо не захотела ни с кем сойтись, никому больше не дарила любовь, даже на час, хотя обхаживали ее многие, недостатка в кавалерах не было. Живя с матерью в скудости, мальчик привык к труду, научился не отступать, не падать духом, научился идти вперед.

Педро Аршанжо не раз вспоминал мать в многотрудные, но плодотворные десять лет усиленных штудий. Она умерла молодой в тот год, когда семена черной оспы дали обильные всходы смерти на улицах города, особенно там, где почва для них была удобрена нищетой. Знатная получилась жатва, чертова зараза настигала свою добычу даже в богатых домах. Ноку из Логупедэ унесло первой волной. Омолу́ не пришел ей на помощь. Силу рук ее съели язвы, ее красота сгнила в нищем квартале, где гной лился зловонными ручьями. Всякий раз, как подступало отчаяние, Педро Аршанжо вспоминал мать: с утра до ночи работала она до одурения, жила в кругу безысходной тоски, непреклонная в своем решении не снимать вдовьего наряда и самой добывать пропитание сыну трудом своих рук, таких тонких и слабых.

Остальному он научился сам, хотя недостатка в дружеской поддержке у него не было и он никогда не чувствовал себя одиноким. Его грели воспоминания о матери, с ним рядом были Тадеу, кум Лидио, Маже Бассан, его направлял профессор Силва Виража, подбодрял аббат Тимотео — настоятель францисканского монастыря, ему помогала добрейшая Забела — неоценимый и верный друг.

В те годы Тадеу был для него учеником, собратом по учению, консультантом. В Политехнической школе и поныне жива память о студенте Тадеу Каньото: помнят его знаменитое сочинение, написанное десятистопным ямбом, его одаренность в математике, сделавшую его любимым учеником профессора Бернара, врожденный талант руководителя, благодаря которому он верховодил товарищами все пять студенческих лет — и на демонстрациях в поддержку союзных держав в годы Первой мировой войны, и на галерке театров «Сан-Жоан» и «Политеама», откуда неслись либо дружные аплодисменты, либо оглушительный свист.

Забела помогла Аршанжо овладеть иностранными языками. В общении с нею его французский, английский, испанский и итальянский, изученные самостоятельно, стали для него живыми, близкими, своими. От природы наделенный тонким музыкальным слухом, он стал говорить по-французски как граф, по-английски — как лорд.

«Местре Педрo, вы прирожденный полиглот. В жизни не встречала человека, который бы схватывал все так быстро», — хвалила его довольная экс-принцесса Реконкаво.

Ей никогда не приходилось дважды исправлять одну и ту же грамматическую или фонетическую ошибку: Педро Аршанжо всегда был внимателен и собран. Сидя в австрийском кресле-качалке, старуха слушала, полузакрыв глаза, как местре Педро вслух читает ее любимых поэтов: Бодлера, Верлена, Рембо. Роскошные переплеты напоминали о минувшем величии, а стихи воскрешали былые страсти и увлечения. Забела вздыхала, машинально поправляя произношение, мягкий голос Аршанжо убаюкивал ее.

— Постойте, местре Педро, я расскажу вам одну прелестную историю...

Впавшая в бедность аристократка, от которой отвернулись родичи, обрела новую родню в лице двух кумовьев и Тадеу и не осталась в полном одиночестве, когда ее кот, Арголо де Араужо, околел от старости и был погребен в саду.

Профессор Силва Виража порекомендовал Педро Аршанжо заняться немецким языком, и аббат Тимотео, настоятель францисканского монастыря, друг Маже Бассан, изъявил готовность давать ему уроки. Много раз аббат по просьбе Педро Аршанжо переводил с немецкого выдержки из книг, статьи и в конце концов сам заинтересовался расовой проблемой в Бразилии, хотя у него был и собственный конек: религиозный синкретизм. Но на все нужно было время, а его было мало, одолевали неотложные дела, и до конца справиться с немецким не удалось.

Многим он был обязан профессору Силве Виража, который, прочтя «Народный быт Баии», предложил ему место педеля у себя на кафедре взамен такой же должности в секретариате, где у Педро Аршанжо совсем не оставалось свободного времени. Вполне обходясь услугами негра Эваристо, лаборанта кафедры, профессор смог выделить педелю время для работы в факультетской и публичной библиотеках, в архивах муниципалитета, для чтения и конспектирования нужной ему литературы. Кроме того, Силва Виража направлял Педро Аршанжо в его штудиях, рекомендовал того или иного автора, знакомил Аршанжо с новинками в области антропологии и этнологии. Несколько книг предоставил в его распоряжение фрей[[49]](#footnote-49) Тимотео, и среди них попадались такие, которые не были известны никому в Баие, в том числе и профессорам, работавшим в той же области. Через фрея Тимотео Педро Аршанжо познакомился с Францем Боасом[[50]](#footnote-50) и был, вероятно, первым бразильцем, изучившим этого автора.

О Лидио Корро и говорить нечего. Кум, брат, родней родного, близнец. Частенько приходилось ему потуже затягивать пояс, чтобы ссудить — к чему околичности? — чтобы просто дать Педро денег на покупку книг в Рио-де-Жанейро и даже в Европе. Приобретение нового комплекта шрифта, капитальный ремонт печатного станка, съевший немало денег, — для чего это делалось? Для того, чтобы издавать новые книги Педро Аршанжо.

— Кум, ты хочешь узнать все на свете! Разве мало того, что ты уже знаешь? Неужели не хватит на книгу?

Педро Аршанжо посмеивался над нетерпением кума:

— Знаю я пока что мало, и мне кажется, чем больше я читаю, тем больше мне надо еще прочесть и изучить.

За эти долгих десять лет Педро Аршанжо прочел все труды и материалы по антропологии, этнографии и социологии, какие нашел в Баие и смог заказать в других местах, собирая последние гроши, свои и чужие. Как-то раз Маже Бассан отперла сундук Шанго, чтобы доложить недостающую сумму для покупки «Reise in Brasilien»[[51]](#footnote-51) Спикса и Марциуса, которую раскопал где-то книготорговец Бонфанти, итальянец, открывший незадолго до того лавку на Ларго-да-Се.

Даже неполное перечисление авторов и трудов, проштудированных местре Аршанжо, явилось бы делом долгим и трудным, целесообразней отметить некоторые вехи на его пути от негодования к презрению.

Поначалу, лишь стиснув зубы, мог он заставить себя продолжать чтение строк, принадлежащих перу откровенных или, что еще хуже, стыдливых расистов. Сами собой сжимались кулаки: тезисы и утверждения звучали оскорбительно, жгли, как пощечины, хлестали, как удары бича. Не раз к горлу подкатывал комок, на глаза навертывались слезы от унижения при чтении трактатов Гобино, Мэдисона Гранта, Отто Амнона, Хьюстона Чемберлена. Однако, читая основоположников итальянской криминалистической антропологии — Ломброзо, Ферри, Гарофало, — Педро Аршанжо уже просто хохотал, ибо прошло время, и накопленные знания придали ему спокойствие и уверенность, и теперь он мог видеть глупость там, где раньше видел лишь оскорбление и злобу.

Он прочитал друзей и врагов, французов, англичан, немцев, итальянцев, американца Бойса, открыл для себя горький смех Вольтера, от которого пришел в восторг. Читал бразильцев, в том числе баиянцев, начиная с Алберто Торреса, Мануэла Бернардо Калмона до Пин-и-Алмейды и Жоана Батисты де Ca Оливейры и кончая Эваристо де Мораисом и Aурелино Леалом. А кроме того, еще многих-многих других, которым несть числа.

Полюбив книги, Педро Аршанжо не разлюбил жизнь; изучая трактаты, продолжал изучать людей. Он находил время не только для чтения и раздумий, но и для веселья, праздника, любви — всего, что служило ему источником познания. Был одновременно и Педро Аршанжо, и Ожуобой. Став ученым, он не перестал быть человеком из народа, не отводил каждой своей ипостаси определенного времени. Он отказался подняться чуточку выше по лестнице успеха и занять место над тем полуподвалом, где родился, над миром переулков, лавок, мастерских, террейро, где бьется сердце простого люда. Он шел не в гору, а вперед, только так и мог поступать местре Аршанжо Ожуоба, единый и цельный.

До последнего дня своей жизни учился он у народа, исписав не одну тетрадь. Незадолго до смерти Педро Аршанжо договорился со студентом Оливой, одним из пайщиков типографии, о публикации своей новой книги и, шагая по Пелоуриньо, повторял слова, услышанные от некоего кузнеца: «С народом сам господь бог не совладает». Жаль только, библиотеку свою он потерял почти целиком, это было неоценимое сокровище, скопленное понемногу ценою собственных отчаянных усилий и благодаря помощи многих людей, бедных и темных, удел которых — тяжкий труд и кашаса. Большинство книг погибло во время налета на типографию, остальные разошлись туда-сюда при переездах и передрягах, перекочевали к книготорговцу Бонфанти в дни острого безденежья. Педро Аршанжо удалось сохранить лишь немногие, самые фундаментальные труды. Даже когда он их не читал, ему доставляло удовольствие взять книгу в руки, полистать, задержаться на какой-нибудь странице, повторить по памяти какую-нибудь мысль, фразу, слово. Среди книг, которые он хранил в железном ящике для керосина в задней комнатушке заведения Эстер, были старое издание эссе Гобино и первая брошюра профессора Нило Арголо де Араужо. Так от ненависти Педро Аршанжо пришел к знанию.

В тысяча девятьсот восемнадцатом году Педро Аршанжо обзавелся очками и издал свою вторую книгу. Если не считать утомленного зрения, то никогда еще он не чувствовал себя так хорошо физически, никогда не ощущал такой бодрости духа и уверенности в себе и был бы совершенно счастлив, если б рядом был Тадеу. Первые экземпляры «Африканских влияний на народные обычаи Баии» были напечатаны в канун его пятидесятилетия. Праздничная суета и шум не затихали целую неделю, кашаса лилась рекой, гремели барабаны самбы, репетировались пасторилы и афоше, школа капоэйры местре Будиана вся была изукрашена флажками, ориша танцевали на террейро под стук атабаке, Розалия заливалась счастливым смехом на койке в мансарде.

### 5

Вот оно, чудо, любовь моя: в «Лавке чудес», на празднике в честь новоиспеченного инженера Тадеу, танцуют бабушки. Самые настоящие бабушки, просто прелесть, одна другой древней — матушка Маже Бассан и графиня Изабел Тереза Гонсалвес Мартинс де Араужо-и-Пиньо, для друзей — просто Забела.

Тадеу восседает в кресле с высокой спинкой, хранимом для особо почетных гостей, под картиной, где изображено несостоявшееся чудо, принимает приветствия, он — виновник торжества. На нем полосатые брюки, меланжевый пиджак, рубашка со стоячим воротничком, лаковые ботинки, на пальце — кольцо с синим сапфиром, символ Корпорации инженеров. Он готов обнять всех разом; счастье и тревога, улыбка и слезы на бронзовом лице, увенчанном черной как смоль шевелюрой, ни дать ни взять — романтический портрет кисти художника-ирредентиста, вот наш новоиспеченный инженер Тадеу Каньото. Сегодня у него великий праздник, который начался в актовом зале Политехнической школы, где он получил кольцо инженера и диплом доктора, и еще предстоит выпускной бал в «Красном кресте», клубе богачей. А пока что — торжество и веселье в «Лавке чудес», где его окружает тепло дружеских сердец, где танцуют бабушки.

Молодой человек в долгу у всех присутствующих. За многие годы каждый из них внес свою долю в этот его праздник. Речь идет не только о костюме, кольце, лаковых ботинках, групповой фотографии выпуска и памятном портрете, что были оплачены их деньгами, собранными по грошу. Тадеу — доктор, взращенный помощью друзей, они шли ради него на многие жертвы, отказывали себе во всем. Никто об этом не упоминает, но молодой инженер, глядя на изборожденные морщинами лица, пожимая мозолистые руки, представляет себе, какой ценой оплачен за десять лет его ученья этот час веселья и радости. Но игра стоила свеч, сегодня все эти люди отпразднуют свою победу под грохот барабанов и звон гитар.

Начинают барабаны. Педро Аршанжо на руме, Лидио Корро — на румпи́, Валделойр — на лэ. Звучит ритм батуке, и голос старой Маже Бассан молодеет в благодарственной песне богам-ориша.

Женщины становятся в круг: и старухи, и зрелые красотки, умеющие подать себя, и молоденькие иаво, неискушенные в исполнении обряда и в кокетстве. Красивей всех — не имеющая себе подобных, несравненная Роза де Ошала, время не коснулось ее красоты, лишь добавило благородства ее осанке. Ритуальную песнь подхватывают мужские голоса.

Вот даже Маже Бассан поднимается, и все встают. Приветствуют ее, хлопая в ладоши. Она — любимая дочь Иеманжи, владычицы морей, поэтому в ее честь повторяют здравицу, предназначенную Матери Очарованных: одойя, Ийя оло ойон оруба́! Да здравствует Мать с влажной грудью!

Она оправляет юбки, улыбается, неспешно идет через зал под возгласы, одойя, одойя, Ийя! Склоняется перед Тадеу, поздравляет его. Гремят атабаке, Маже Бассан начинает танец и запевает хвалебную песнь. Славит внука словами кантиги, в такт музыке движутся ее неутомимые ноги.

— Она — Мать, Ийя, извечная, изначальная, первозданная, — только что прибыла из земель Айока, пролетев над бурями, сквозь бешеные ветры и над мертвой зыбью, над гибнущими кораблями и тонущими моряками, избранниками Иеманжи, прибыла, чтобы почтить младшенького сына, внука, правнука, праправнука, потомка, вернувшегося с битвы победителем. Да здравствует Тадеу Каньото, он восторжествовал над угрозами, преградами, препонами, болезнями, он завоевал диплом доктора, одойя!

Нестареющая старуха, ласковая и грозная матушка Бассан, как она точна в изящных и замысловатых фигурах танца, как легка и быстра, как молода — юная иаво! Это изначальный танец бытия, в нем — страх, неведомое, опасности, битва, победа, общение с богами. Магический танец, вселяющий бодрость: человек борется против темных сил и побеждает. Вот как танцевала для Тадеу матушка Маже Бассан в «Лавке чудес». Древняя бабушка танцевала для внука — доктора и дипломированного инженера.

Торжественно и просто, величественно и по-родственному нежно остановилась она перед Тадеу и раскрыла объятия, а все вокруг хлопали в ладоши, подняв руки над головой. На необъятную свою грудь приняла она голову юноши, укрыла на груди все его волнение, пыл, сомнения, честолюбие, гордость, горечь, любовь, добро и зло, трепет юношеского сердца, самое судьбу Тадеу: всему хватило места на бескрайней материнской груди — она потому так обширна, что вмещает всю радость и всю боль мира. Старуха, пребывающая в лоне первобытной магии, заключила в объятия юношу, ступившего на корабль познания, завоевавшего себе свободу.

Потом к нему подходили по одному все остальные, танцевали для него, причем мужчина сменял женщину, а женщина мужчину. Лидио Корро, обняв Тадеу, почувствовал, как сердце его заколотилось — «вот так я когда-нибудь и умру от радости». Тетушка Теренсия много лет бесплатно кормила Тадеу завтраками, обедами и ужинами. Дамиан получил диплом в школе жизни раньше него, стал адвокатом и теперь спасает бедняков от тюрьмы и каталажки. Розенда Батиста дос Рейс — «благослови, тетушка, благодаря твоей ворожбе, твоим травам и примочкам не трясет меня лихорадка и на пальце у меня — кольцо инженера». Местре Будиан на уроках капоэйры научил его быть скромным и спокойным, презирать наглость и самонадеянность. Малютка Дэ, потупив миндалевидные глаза, обнимает его дрожащими руками, грудь ее трепещет — «что же ты не отведаешь меня, как глоток нектара за праздничным столом, что ж не оборвешь лепестки с цветка?» Огромный Мануэл де Прашедес, шкипер парусника, открыл ему, что такое море и корабль. Роза де Ошала, таинственная тетушка: она и хозяйка в «Лавке чудес», и гостья, заглянувшая туда на минутку, самая главная из тетушек.

И другие подошли: Валделойр отбил на барабане ритм собственного сочинения, Аусса спел, Манэ Лима оглушительно расхохотался, каждый сделал одно-два танцевальных па и, заключив Тадеу в объятия, разделил радость доктора, который еще вчера был всего лишь дерзким и настырным темнокожим парнем.

Последним подошел Педро Аршанжо, и все снова встали и, приветствуя Ожуобу, захлопали протянутыми к нему руками. Лицо его было загадочным: то расцветало доброй улыбкой, то затуманится раздумьем, в душе сменяют друг друга образы и воспоминания. Доротея в последний вечер, мальчишка, склонившийся над книгой, Ожуоба, глаза и уши Шанго, впитывает тревогу и восторг, написанные на лице Тадеу. Вспоминает белокурые локоны, с трудом сдерживаемое волнение девушки.

У кого ключ к разгадке? Танцуя, Педро Аршанжо заново проживает жизнь и в какое-то мгновение слышит, как по залу разносится крик Иансан. На каждый вопрос есть много неверных ответов, а верный — один, Педро Аршанжо, пусть хоть ненадолго, удерживает Тадеу у своего сердца.

Вот и все как будто, пора молодому доктору, сдерживая слезы признательности, поблагодарить гостей, исполнить танец для богов-ориша, что ему покровительствовали, и для друзей, что подготовили час его торжества, для отцов и братьев, для тетушек и сестер, для всех членов большой семьи.

Тут-то и вышла из темноты, будто сойдя с афиши «Мулен Руж», графиня Агуа-Бруска, бабушка Забела, и ступила в круг, чтобы станцевать для Тадеу. Не ритуальный танец, нет, это не по ее части.

Придерживая юбку, показывая туфельки, чулки и кружево панталон ниже колен, она танцует в «Лавке чудес» парижский канкан, и она молода, эта потерявшая счет годам старушка, она ровесница Дэ, едва достигшей девичества. Оживает плакат Тулуз-Лотрека, Табуан заполняют темнокожие француженки: женщины в кругу пританцовывают, тут же переняв па заморского танца, и движутся в непривычном для них ритме. Стоя, мужчины приветствуют графиню Изабел Терезу движениями воздетых рук, поклонами и возгласами, предназначаемыми женским божествам-ориша: «Ора Йейево!», ибо по обольстительному изяществу ее движений сразу видно: Забела — дочь Ошуна, соблазнительница.

Так Забела станцевала парижский канкан в «Лавке чудес» в честь внука. Потом расцеловала его в обе щеки.

Вот оно чудо, любовь моя: бабушки, две древние бабушки, танцуют для своего внука, доктора, и у каждой свой танец.

### 6

— Идут... — объявил Валделойр.

Аусса, Манэ Лима и Будиан принесли потешные огни, горящая сигара мастера капоэйры послужила запалом. В небо взметнулась огненная стрела, рассыпалась мириадом искр над небольшой процессией. Полдюжины мужчин в черных воскресных костюмах об руку с дамами медленно шли вниз по улице, приноравливая шаг к фигуре котильона, которую выделывала графиня Изабел Тереза. Она шла с Тадеу во главе группы: белая бабушка и темный внук.

Взлетали ракеты, шипели шутихи, в небе расцветала радуга, шел серебряный дождь — друзья, собравшиеся под вывеской «Лавки чудес», освещали путь инженеру Тадеу Каньото, только что удостоенному этого звания в актовом зале Политехнической школы. И в этот вечер чудес было светло, как днем.

Опираясь на трость, матушка Маже Бассан выходит навстречу процессии. Ей бросаются на помощь — нет-нет, не надо, она сама.

Еще года два тому назад врачи, осмотрев матушку Бассан, сказали, что пора ей на отдых. Года уже не те, и не годится ей выступать в роли главной жрицы, надо, мол, скипетр и бритву отдать кому помоложе. Гулять — не дальше угла квартала, петь и танцевать — боже упаси, сердце изношено, расширено, не успеет она запеть — песенка ее уже будет спета. Хочет пожить — пусть сидит себе в кресле, болтает о том о сем. Ни в коем случае не горячиться, не уставать, не переутомляться. Она согласилась: хорошо, доктор, неужто я не понимаю, сделаю, как велите, о чем тут разговаривать. И тут же за спиной у врачей Маже Бассан взялась за прежнее: бритва, раковины, скипетр, целый ковчег иаво, круговая самба, действа, праздники. Однако воспользовалась запрещением врачей, чтоб отказываться от многих приглашений, дальше своего террейро не ходила. Когда она объявила, что пойдет поздравить внука, молоденькие иаво попытались удержать ее: сердце ведь слабое, врачи не велят... Уперлась: пойду — и никаких, спою и станцую, ничего не случится. И вот она тут, его вторая бабушка, идет к нему, опираясь на палку, сама, никто ее не поддерживает.

Тадеу предлагает ей руку и в обществе двух бабушек подходит к дверям типографии. С треском рвутся ракеты и хлопушки.

Лишь немногие избранные получили пригласительные билеты и присутствовали на торжественном акте присуждения степени, слушали речи, реагируя каждый по-своему. Педро Аршанжо в новом костюме, ладно сидевшем на его статной фигуре, сиял безмятежной радостью. Лидио Корро кричал «Браво!», когда ораторы (профессор и выпускник) осуждали предрассудки и отсталость. Он не спускал с Тадеу глаз и пребывал в бесконечном умилении, видя среди молодых докторов юношу, выросшего в «Лавке чудес», ученье которого, по сути, было оплачено им. Дамиан де Соуза в элегантном белом костюме — начинающий адвокат без университетского диплома: эх, дали бы ему слово, уж он-то расшевелил бы публику! Мануэл де Прашедес в вечернем костюме, слишком тесном для его огромного тела, тем более что шкипера прямо-таки распирало от восторга. Из женщин — только Забела, явление старомодного щегольства в стиле рококо: парижское платье, перчатки, драгоценности, запах духов, в глазах — лукавство. Профессора, богачи, представители власти подходили к ней, целовали руку:

— Кто-нибудь из ваших родственников получает диплом, графиня?

— Да, вон тот мальчуган, взгляните. Правда, он красивей всех?

— Что? Вот тот... смуглый?.. — в замешательстве переспрашивал собеседник. — Это ваш родственник?

— Да, притом близкий. Он — мой внук. — И графиня смеялась так задорно и весело, что вокруг нее праздник наступил задолго до окончания торжественной церемонии.

Многие ужаснулись, а некоторые вознегодовали, когда Тадеу, направляясь за дипломом, прошел через весь зал об руку с Забелой («У этой негодницы — ни стыда ни совести!» — прохрипела дона Аугуста дос Мендес Арголо де Араужо), и, поскольку у Тадеу не было ни матери, ни невесты, старая Забела надела ему на палец кольцо с сапфиром, символ профессии.

Педро Аршанжо, по виду невозмутимый несмотря на все возрастающее волнение, проводил Тадеу глазами и увидел, как тот на ходу поднял гвоздику и сунул в петлицу. При этом юноша гордо вскинул голову и торжествующе улыбнулся. Случайно выпал цветок из девичьих рук или его бросили нарочно, когда молодой доктор шел мимо? Светлые локоны, большущие глаза, других таких во всей Баие не сыщешь, опаловая кожа, белая до голубизны. Педро Аршанжо с любопытством разглядывает девушку. Поднявшись с кресла, она аплодирует, у нее длинные и тонкие пальцы, на лице смятение, губы сжаты. И вот Тадеу — доктор! Он улыбается, стоя рядом с Забелой, когда декан факультета вручает ему диплом и знаки отличия, а губернатор штата пожимает ему руку. Глазами ищет девушку, бросает ей пламенный взор, потом смотрит на друзей из «Лавки чудес».

«Господи боже! Мой мальчик так еще юн!» Педро Аршанжо, аплодируя, задумывается, радость его уже не безмятежна, к ней примешана тревога. «Во всяком случае, я тебя одобряю, Тадеу, полностью одобряю. Что бы ни было, как бы ни получилось, к чему бы это ни привело, не отступайся. Мы хорошей породы, в нашей смешанной крови хватает перца, нас не запугаешь, мы не откажемся от своих прав, без них нам жизни нет».

Немного погодя на трибуну поднимается куратор, профессор Таркинио, он желает выпускникам успехов в их деятельности и счастья в жизни. Перед ними Бразилия, ее надо учить, ее надо строить, ее надо освободить от предрассудков и вековой отсталости, от косности и политиканства. Надо залечивать раны во всем мире, потрясенном войной. Эту великую и благородную задачу предстоит решать молодым, инженерам в особенности: мы живем в век машин, индустрии, техники, науки, инженерной мысли.

Молодой инженер Астерио Гомес от имени всех выпускников отвечает на этот благородный призыв.

— Да, на руинах, оставленных войной, мы будем строить новый мир, мы вырвем Бразилию из той многовековой отсталости, в которой она пребывает. Мы построим мир прогресса и свободы, где не останется места болезням, предрассудкам, угнетению и беззаконию. Это будет Бразилия шоссейных дорог, заводов, машин, это будет пробужденная страна, идущая вперед. Мы построим мир с равными возможностями для всех под эгидой науки и техники. Рабочие далекой и неведомой России уже рушат бастионы самовластья!

В актовом зале Политехнической школы были встречены аплодисментами слово «социализм» и странно звучащее имя Владимир Ильич Ленин, произнесенные выпускником из богатой семьи, сыном крупного фазендейро. Октябрьская революция только что разделила мир и время на прошлое и будущее, но тогда никто еще не осознавал этой перемены, никто не испугался, Ленин был абстрактным и далеким политическим лидером, а социализм — словом, лишенным содержания. Сам оратор понятия не имел о важности события, о котором упомянул.

На мгновение Педро Аршанжо увидел их рядом, Тадеу и девушку, когда она подбежала к сошедшему с трибуны Астерио Гомесу, своему брату, и поцеловала его. Товарищи тоже подошли обнять оратора, выступавшего от их имени. Бок о бок — светлая, прозрачная красота девушки и темная, мужественная стать юноши.

В «Лавке чудес» после ритуального приветственного танца, когда смолкли барабаны, захлопали пробки бутылок. На столе, где раскладывали литеры при верстке страниц, грудами лежала еда, разнообразная и аппетитная: мокека, омлеты с креветками, шиншины, абара, акараже, ватапа и каруру, эфо из листьев. Много заботливых и умелых рук смешивали кокосовый орех с пальмовым маслом дендэ, отмеряли соль, перец, имбирь. С раннего утра на многих террейро их разноплеменные обитатели резали козлят, ягнят, петухов, черепах. Маже Бассан погадала на ракушках, трижды выпало одно и то же: хлопоты, дальняя дорога и сердечная тоска.

В небе лопались ракеты, возвещая: на Ладейра-до-Табуан отныне проживает настоящий доктор в шапочке и мантии, первый мулат, окончивший Политехническую школу. На стене типографии, между картиной, изображавшей чудо, и репродукцией Тулуз-Лотрека, Лидио Корро повесил фотографию выпуска: Тадеу в мантии среди своих однокурсников. Никогда еще не собиралось столько народу в «Лавке чудес».

Встает Дамиан де Соуза с рюмкой кашасы в руке, откашливается, просит тишины, хочет предложить тост. «Минутку!» — останавливает его графиня Изабел Тереза. Для нее тост за что-либо стоящее на приличном празднике немыслим без шампанского, вернее — французского шампанского, единственного напитка, который положено пить за здоровье настоящего друга. К Новому году профессор Силва Виража прислал ей три бутылки из своего погреба, одну из них она сберегла для праздника Тадеу.

Маже Бассан лишь пригубляет благородный напиток, ей известны правила хорошего тона. Лидио и Аршанжо делают то же самое, Забеле так и не удалось приучить их к тонким винам, они верны кашасе и пиву. Блеснув фигурами пламенного красноречия, излившегося бурной рекой, Дамиан де Соуза залпом осушил свой бокал — ну и шибает в нос! В результате почти всю бутылку шампанского выпила сама дарительница. Тадеу и Дамиан обнялись, они вместе выросли, вместе гоняли по переулку и по пляжу, а теперь расстаются, у каждого свой путь.

Педро Аршанжо смотрит на обоих глазами Ожуобы, он тоже так думает: пути их различны. Дамиан — открытая душа, с ним все ясно: он не получил степени доктора в институте, его титулы и дипломы вручил ему народ. Как бы ни обошлась с ним судьба, он не переменится, останется тем же — твердо стоящим на ногах, непреклонным. Тадеу начал восхождение по общественной лестнице еще на факультете, выделившись из среды сокурсников. Решил пройти все ступеньки и отвоевать место наверху. «Мне нужно стать кем-то, крестный», — сказал он ему утром того дня: честолюбия ему не занимать. Едва ли он теперь долго пробудет в «Лавке чудес».

Лидио Корро берет флейту, передает Педро Аршанжо гитару, танцоры становятся в круг, начинается самба. Где вы, Кирси и Доротея, Ризолета и Дедэ? Сабина дос Анжос перебралась в Рио-де-Жанейро, к сыну, он у нее моряк. Ивона вышла замуж за шкипера парусника, живет в Муритибе. А здесь — лишь юные невесты, которые напрасно пожирают глазами новоиспеченного доктора Тадеу.

Веселье затянулось за полночь, но хозяин праздника, виновник торжества, адресат поздравлений, доктор Тадеу Каньото, инженер по гражданскому строительству, механик, географ, архитектор, астроном, инженер по строительству мостов и каналов, железных и шоссейных дорог, инженер-политехник, — извинился перед гостями и ушел довольно рано. В гостиных «Красного креста», клуба местной аристократии, знаменитый и богатый профессор Taркинио дает выпускной бал для новоиспеченных инженеров.

— Мне надо идти, крестный. Бал давно начался.

— Разве уже так поздно? Может, побудешь еще немного? Тут все тебя любят, они ведь ради тебя и пришли.

Не хотел Аршанжо говорить этого, зачем все-таки сказал?

— Мне очень хотелось бы остаться, но...

Забела хлопает веером по руке Аршанжо:

— Отпустите мальчика, старый ворчун.

Эта шустрая старушенция знает, видно, секрет Тадеу. Может, она сродни и этим разжиревшим и зазнавшимся Гомесам?

— Вы, местре Педро, развратник, прелюбодей. Вы ничего не понимаете в любви, вам лишь бы была женщина. — Тут экс-принцесса Реконкаво и экс-королева канкана вздохнула. — Как и я, сколько у меня было мужчин, а знала ли я любовь?

Она помолчала, провожая глазами Тадеу, идущего к двери.

— Его звали Эрнесто Арголо де Араужо, и он приходился мне двоюродным братом, а я была совсем еще глупая девчонка, и я любила его, так любила, что стала причиной его гибели от руки одного бретера, мне, видите ли, вздумалось заставить его ревновать, захотелось проверить, насколько сильна его любовь.

Тадеу исчез в темноте, но еще слышались его шаги, стук каблуков.

— Теперь его не удержишь. И я не стану этого делать, Забела, зачем? Ему придется одолевать ступеньки лестницы, одну за другой, а времени у него мало. Прощай, Тадеу Каньото, мы отпраздновали твои проводы.

### 7

Судья Саутос Крус, чьи ум и порядочность, а также знание жизни и чувство юмора признавали все, был не на шутку раздосадован, когда к нему в кабинет, где он дожидался установленного часа начала заседания, вошел секретарь суда и сообщил, что защитника ex oficio[[52]](#footnote-52) не будет. Этот законник прислал наспех нацарапанную записку, где приносил свои извинения.

— Заболел... грипп... Скорей всего, сидит пьяный в каком-нибудь кабаке. Это его обычное занятие. Смех один. А этого беднягу сколько раз уж привозили сюда и тут же увозили обратно, даже от камеры не отдохнул...

Секретарь, стоя у стола, ждал распоряжений. Судья спросил:

— Там, в коридоре, есть кто-нибудь из адвокатов?

— Когда я проходил, никого не было. Хотя нет, видел доктора Артура Сампайю, но он шел к выходу.

— Может, студенты?

— Только Кастинья, тот самый, с четвертого курса...

— Нет, этот не годится, подсудимому лучше уж остаться вовсе без защитника. Кастинья засадит в тюрьму самое Пресвятую деву, коль возьмется ее защищать. Значит, некому взять на себя дело этого несчастного? Еще раз откладывать суд? Это никуда не годится.

Как раз в этот момент в кабинет судьи вошел молодой человек в белом костюме и рубашке со стоячим воротничком — Дамиан де Соуза, личность, известная всем, кто связан с судопроизводством: судьям, адвокатам, секретарям, судебным исполнителям, что-то вроде помощника всех и каждого. Не раз и не два поступал он в Коллегию защитников секретарем, но ненадолго, предпочитал разнообразные мелкие поручения во Дворце правосудия, дававшие ему верный заработок. В коридорах и канцеляриях, на судебных заседаниях, в тюрьмах и полицейских участках этот молодой человек изучил все, что связано с правонарушениями и правонарушителями, судопроизводством и судебными постановлениями, прошениями, кассациями. В свои девятнадцать лет этот юнец сделался незаменимым помощником молодых адвокатов, только что покинувших студенческую скамью, напичканных теорией и беспомощных на практике. Его буквально разрывали на части.

Дамиан вошел, улыбаясь, и протянул судье бумагу:

— Сеньор доктор Сантос Крус, вы не могли бы дать ход этому прошению доктора Марино?

Судье вспомнился разговор с этим юношей, когда тот был у него на приеме в канун дня святого Иоанна.

— Оставьте мне прошение, потом посмотрю. Скажите-ка, Дамиан, сколько вам лет?

— Девятнадцать исполнилось, сеньор доктор.

— Вы по-прежнему тверды в своем намерении соискать звание адвоката без университетского образования?

— Тверд как скала, сеньор. Надеюсь получить его с божьей помощью.

— Как по-вашему, вы готовы к тому, чтобы взойти на трибуну и защищать обвиняемого?

— Готов ли я? При всем уважении к вам, сеньор доктор, позволю себе сказать, что могу сделать это лучше любого студента-юриста, которые только и знают, что отправлять подзащитных на отсидку. Скажу вам больше: я мог бы сделать это лучше многих адвокатов.

— Вы знакомы с делом, которое слушается на сегодняшнем заседании? Хотя бы в общих чертах?

— По правде говоря, с делом я не знаком, о составе преступления слышал краем уха. Но если вы хотите поручить мне защиту, напишите соответствующее постановление, дайте мне полчаса на ознакомление с делом, свидание с подзащитным, и тогда, клянусь вам, я добьюсь его оправдания. Хотите в этом удостовериться — рискните.

Поддавшись искушению, судья повернулся к секретарю:

— Тейшейра, заготовьте, как положено, назначение Дамиана защитником ex oficio обвиняемого, за неимением других. Вручите ему дело, чтобы он ознакомился с материалами следствия, и соберите присяжных ровно через час, а я пока что займусь другими делами. Распорядитесь, чтобы мне принесли горячий кофе. Если вы выиграете дело, Дамиан, считайте, что удостоверение недипломированного адвоката у вас в кармане.

Зе да Инасия совершил тяжкое преступление и при первом слушании дела был приговорен к тридцати годам тюремного заключения за преднамеренное убийство. Апелляционный совет не нашел смягчающих вину обстоятельств и не принял во внимание безупречное поведение кассанта до совершения преступления.

Зе да Инасия таскал по улицам чемодан с товарами некоего бродячего торговца сирийского происхождения и получал за труд сущие гроши, на которые едва мог прокормить свою подругу Касулу, с которой жил много лет; по воскресеньям неизменно напивался вдрызг, так что с трудом добирался до дома. В понедельник снова брался за чемодан, шагал за сеу Ибрагимом из дома в дом, молча, покорно, не возражая и не споря, под палящим солнцем или под дождем.

Как-то в воскресенье познакомился в кабаке с неким Афонсо Матюгальщиком, распили вдвоем бутылку беленькой. Вторую решили распить у Зе да Инасии дома, в обществе Касулы. Матюгальщик, на первый взгляд душа-человек, оказался задирой и хамом, и Зе в какой-то момент просветления понял, что тот кроет его последними словами: сукин сын, получишь в морду, так твою мать. Когда в полиции стали допытываться, из-за чего вышла ссора, Зе ничего не мог ответить. Предмет спора утонул в кашасе, однако у Зе оказался в руке кухонный нож, сточенный и острый, а его противник замахнулся поленом: «Я тебя припечатаю, дерьмо собачье!» В одну сторону свалился Матюгальщик, убитый на месте ударом ножа, в другую — Зе, оглушенный поленом и выпитой водкой. Когда пришел в себя, был уже убийцей, схваченным на месте преступления, и в полицейском участке его для начала как следует отдубасили.

На первом судебном процессе, состоявшемся после того, как обвиняемый целый год протомился в тюрьме, прокурор говорил о врожденной порочности, ссылался на Ломброзо. «Обратите внимание, господа присяжные заседатели, на форму черепа обвиняемого: типичная линия убийцы. Я уже не говорю о темной коже: новейшая теория, разрабатываемая известным профессором судебной медицины нашего достославного факультета доктором Нило Арголо де Араужо, непререкаемым авторитетом, — эта теория исходит из констатации высокого процента преступности у метисов. Здесь, на скамье подсудимых, вы видите еще одно доказательство справедливости этого положения».

Убитого, Афонсо да Консейсана, он описал как бедного труженика, уважаемого соседями, неспособного причинить зло кому бы то ни было. «Афонсо зашел в дом обвиняемого на минуту поболтать о том о сем и пал жертвой этого сидящего перед вами маньяка. Взгляните на его лицо: никакого намека на раскаяние». Прокурор потребовал высшей меры наказания — тридцати лет тюремного заключения.

Нанять адвоката бедняге Зе было не на что. В тюрьме он мастерил из рога гребешки, заколки, выручал за них мелочь, только на сигареты. Касула поступила служанкой к племяннице покойного майора Пестаны, в поместье которого она родилась. Майор был для нее символом доброты и великодушия: «Пока жив был майор, я беды не знала, он такой был хороший человек!» Видно, и Зе да Инасия был не так уж плох, ведь она не бросила его, ходила по воскресеньям на свидание в тюрьму, подбадривала его, обнадеживала: «Вот будет суд, и ты, бог даст, выйдешь на волю». — «Да, но где взять денег на адвоката?» — «Судья мне сказал, что он сам тебе назначит защитника, так что можешь об этом не беспокоиться».

Защитник ex oficio, доктор Алберто Алвес, сидя за столом защиты, в нетерпении грыз ногти. Дела он даже не раскрыл, а все его мысли были о том, что свою жену, кокетливую Одету, он вынужден был оставить в компании Феликса Бордало, этого скота, с которым она явно флиртовала. Сейчас, видно, уже вовсю целуются, а он ничего не может предпринять, они ему наверняка наставят рога, пока он торчит здесь, в суде, и защищает преступника. Достаточно взглянуть на лицо подзащитного, на форму черепной коробки, чтобы согласиться с прокурором: такой зверь на свободе опасен для общества. Неужто Одета?.. Ясное дело, так оно и есть, не первый раз, вспомнить хотя бы Дилтона. Ее клятвы в верности — все равно что утверждение о невиновности этого изобличенного преступника, убийцы, который сидит понурившись: ни она, ни он не в силах совладать с собственной природой. Дерьмовая жизнь!

Защита была совершенно бездоказательна и беспомощна. Доктор Алвес ничего не отрицал, ничего не оспаривал, просил только снисхождения при определении меры наказания. «Он будто помощник обвинителя», — подумал про себя судья, доктор Лобато, вынося приговор — тридцать лет тюремного заключения: присяжные потребовали высшей меры наказания.

— Разве вы не намерены подавать апелляцию? — спросил судья защитника, возмущенный безразличием последнего. — Мне кажется, это ваша обязанность.

— Апелляцию? Да, разумеется. — Если бы не замечание судьи, адвокат об этом и не вспомнил бы. — Я обжалую приговор в Верховном суде.

И вот вторичное слушание дела, трижды откладывавшееся из-за отсутствия официального защитника, началось. За столом защиты — Дамиан де Соуза.

Прокурор был другой. Бакалавр Аугусто Лейвас, подобно доктору Алберто Алвесу на первом процессе, входя на трибуну обвинения, думал о женщине, но не как ревнивый муж-рогоносец, а как счастливый любовник. Марилия уступила наконец, и прокурор видел весь мир в розовом свете. Темная кожа Зе да Инасии не навела его на мысль о предрасположенности к преступлению, он не стал измерять череп обвиняемого по системе Ломброзо. Обязанность обвинителя он выполнил, но думал в это время совсем о другом — о прелестях Марилии: как хороша она в своем бесстыдстве, когда сидит обнаженная на кровати!

Судья, который совсем не был уверен в способностях назначенного на скорую руку официального защитника, облегченно вздохнул, услышав вялую обвинительную речь, и решил, что срок можно будет сократить до восемнадцати или даже двенадцати лет, а то, чего доброго, и до шести, какой бы слабой ни оказалась защита в лице юного Дамиана.

Однако случилось так, что дебют Дамиана де Соузы на трибуне защиты стал самой крупной сенсацией года, об этом событии еще долго толковали в юридических сферах, на следующий день о нем сообщили газеты. В дальнейшем газетные заметки неизбежно сопровождали выступления Дамиана де Соузы до конца его жизни.

Мануэл де Прашедес шел мимо Дворца правосудия, увидел толпу, спросил, в чем дело, ему сказали, что выступает новый адвокат, совсем молоденький, а на трибуне сто́ит всех остальных! Мануэл зашел послушать. Дамиан как раз достиг апогея своей речи. Добродушный гигант в конце концов не удержался, зааплодировал, крикнул «Браво!» и был выдворен из судилища.

Впрочем, судье не раз пришлось браться за колокольчик, требовать тишины, угрожать, что прикажет очистить зал, но он и сам улыбался. Давно не было такого шумного и бурного заседания.

Что можно сказать о речи Дамиана в защиту Зе да Инасии? В ней смешалось все: любовный роман, греческая трагедия, комикс и Библия: в нужном месте защитник упомянул и одно из постановлений «достопочтенного судьи, корифея права, доктора Сантоса Круса». Содержание речи сводилось к тому, что добрейший Зе да Инасия совершил вынужденное преступление, спасая честь семьи и свою собственную жизнь от посягательств вероломного злодея Афонсо Матюгальщика. Перед вами на скамье подсудимых — жертва несчастного стечения обстоятельств, любящий супруг, человек трудовой в подлинном смысле этого слова, несший тяжкий крест в виде чемодана под палящим солнцем, дабы в поте лица своего — и не только лица, господа советники, но всего тела, ибо чемодан турка весит полтонны, — снискать пропитание обожаемой супруге. В один прекрасный день этот честный и благородный гражданин открыл врата своего сердца и своего дома ядовитой змее Афонсо Матюгальщику, прозвище говорит само за себя, господа присяжные заседатели; у кого скверна на языке, у того она и в душе. Хищная гиена, отъявленный пьяница, этот развратник и насильник задумал украсть у Зе да Инасии любовь жены, запятнав позором его домашний очаг. Чем не греческая трагедия, господа, вы только вообразите себе: возвратившись домой после дня тяжкого труда — он трудился даже в воскресенье, — Зе да Инасия видит сцену, достойную пера Данте: несчастная Касула отбивается от злодея, который, схватив кухонный нож, пытается силой овладеть ею, поскольку эта достойная женщина с гневом отвергла его гнусные притязания. Зе да Инасия бросается на помощь жене. Завязывается борьба, и Зе да Инасия, защищая честь семьи и собственную жизнь, убивает ядовитую змею.

Дамиан разводит руками и вопрошает:

— Господа члены Кассационного совета, вы сами мужья и отцы, люди чести, ответьте мне: кто из вас остался бы безучастным, если бы, придя домой, увидел, что жена бьется в руках злодея? Кто? Я уверен, никто!

Тут он указал на Касулу, сидевшую в зале:

— Вот она, господа присяжные заседатели, главная жертва! У несчастной чувствительная душа, и перед тем как идти на суд, она выпила рюмку-другую кашасы, дабы найти в себе силы выслушать оскорбительные обвинения в адрес своего мужа, ведь первый процесс был для нее сплошным кошмаром. Вот она, господа присяжные заседатели, несчастная святая супруга, утопающая в слезах, она взывает к вашей справедливости. А я прошу свободы моему подзащитному, свободы!

Вот тут Мануэл Прашедес и крикнул «Браво!». Ущемленное самолюбие и боязнь утратить едва завоеванную репутацию заставили прокурора потребовать у секретаря материалы дела и выступить в прениях сторон. Ссылаясь на статьи законов, на юридические труды и материалы следствия, он взялся за обвинение всерьез, не мог же он уступить этому юнцу, который не был даже студентом юридического факультета, посыльному стряпчих, мальчику на побегушках у секретарей, бог знает кому! Он попытался восстановить истину, опровергнув нелепую версию, но было слишком поздно. Все присяжные уже были во власти Дамиана, аптекарь Филомено Жакоб плакал навзрыд. В зале — море слез, как отметила на другой день газета «Тарде».

Кассационный совет единогласно постановил освободить обвиняемого. Судье Сантосу Крусу осталось лишь сформулировать решение суда и выпустить обвиняемого на волю. «Я и сам чуть не расплакался, со мной такого еще не бывало, — сказал достопочтенный судья обескураженному прокурору. — Я выправлю ему аттестат адвоката без университетского образования, и у бедных всегда будет защитник».

Вот как Дамиан получил диплом. Не было ни кольца, ни диплома, ни групповой фотографии, ни портрета, ни мантии, ни шапочки, ни куратора, ни сокурсников — один он, и никого больше. Когда заседание суда было закрыто, многострадальная Касула, которая, как бы там ни было, любила своего мужа и уже не чаяла увидеть его на свободе, подошла к безусому защитнику и поблагодарила:

— Храни вас господь, сеу майор!

Почему «майор»? То было ведомо ей одной, но только с тех пор и остался за ним этот титул — майор Дамиан де Соуза.

### 8

— Можно войти, крестный?

Услышав знакомый голос, Педро Аршанжо сунул типографские гранки под книги.

— Это ты, Тадеу? Входи.

За окном сыпал дождь, мелкий, бесконечный, нагоняющий тоску.

— Какими судьбами? Случилось что-нибудь?

По окончании института Тадеу сразу же поступил на строительство железной дороги Жагуакуара — Жекие младшим инженером. Скромный оклад, работа в трудных условиях. Юноша, однако, предпочел отправиться в глушь на практическую работу, вместо того чтобы протирать штаны в Техническом управлении и дожидаться теплого местечка в муниципалитете столицы штата. Не для того он учился.

— Мне надо с вами поговорить, крестный.

С кровати доносилось похрапывание Розалии. Аршанжо встал со стула и пошел прикрыть пышную наготу молодой женщины. Она заснула с улыбкой на устах, согретая теплом нежных слов, таких желанных, таких нужных ей. Десять с лишним лет назад, когда ей едва минуло семнадцать, нахальный Роберто, сын полковника Лоурейро, взял ее за подбородок и сказал: «Красавица, ты уже годишься в постель». После сына был отец. Полковник купил ей платье и дал немного денег. Она поселилась в Алагоиньясе, в пансионе, и пошла по рукам. В Баию приехала с каким-то коммивояжером. Педро Аршанжо встретил ее на Террейро Иисуса, где она покупала апельсины. Только сойдясь с ним, Розалия поняла, что она человек, а не вещь, не подстилка.

— Мне надо поговорить с вами, крестный, — повторил Тадеу. — Я пришел просить вашего совета.

— Пойдем погуляем, — Аршанжо ощутил тяжесть на сердце. Ему вспомнилось гаданье в день выпуска Тадеу: хлопоты, дальняя дорога и сердечная тоска.

Они медленно пошли по переулку в гору, мимо «Лавки чудес», мельком увидели Лидио Корро, занятого набором и наставлением ученика. Тадеу говорил, Аршанжо слушал понурившись. Совет? Какой тут совет, если ты все уже решил и даже заказал билет на пароход?

— Советовать тебе я не стану, да ты не за тем и пришел. Но думаю, ты правильно делаешь. Мне тебя будет не хватать. Очень. Но удерживать тебя я не могу.

Тадеу решил уйти со строительства железной дороги и ехать в Рио-де-Жанейро, где он войдет в группу инженеров, которая под руководством Пауло де Фронтина занимается реконструкцией столицы страны, ее превращением в современный город. Приглашением туда он был обязан профессору Бернару, который дружен с Фронтином. Будучи в Рио, профессор рассказал, что есть у него молодой протеже, который талантлив, прилежен и честолюбив и мог бы принести немалую пользу, работая в группе знаменитого инженера. «Присылайте парня, мне нужны молодые и способные работники».

— Для меня это шанс, крестный. В Рио есть где развернуться. А здесь, в конце концов, не пойдешь дальше Управления дорожного строительства. Я же не для того учился, чтобы стать чиновником, торчать за письменным столом ради мизерного жалованья да мечтать о местечке потеплее. Другое дело — юг, там можно сделать настоящую карьеру, тем более если работать с таким человеком, как Фронтин. Не каждому выдается подобный случай. Профессор Бернар доказал, что он настоящий друг.

— И это все, Тадеу? Тебе не о чем больше рассказать, нечем поделиться? — Местре Аршанжо знал, что главное еще не сказано. Тадеу подбирал нужные слова, нужный тон.

— Говори, сынок.

Педро Аршанжо почти всегда называл Тадеу по имени, порой даже присовокупляя и фамилию: Тадеу Каньото. Не имел обыкновения в разговоре с ним употреблять свои излюбленные словечки: «мой милый», «дружище». Редко, крайне редко говорил ему «сынок».

— Крестный, я люблю сестру моего соученика. Вы его знаете, я как-то его вам представлял, это Астерио, тот, что выступал от имени выпускников, помните? Сейчас он в Соединенных Штатах, поехал на два года стажироваться при каком-то университете. Семья очень богатая.

— Белокурые локоны, прозрачная кожа и большие глаза.

— Вы знаете ее, крестный?

— А как смотрит на вашу любовь эта семья белых богатеев?

— Никто ничего пока не знает: только я да она, теперь еще и вы. То есть...

— Забела...

— Она вам сказала?

— Не беспокойся, ничего не говорила. Она им родственница?

— Нет, не родственница, но они знакомы. Ну, в общем, бабушка моей Лу — ее имя Луиза, но все зовут ее Лу — в молодости была подругой Забелы и иногда заходит к ней вспомнить прошлое. Через нее и Лу знакома с Забелой, навещает ее. Но в семье никто ничего не знает, и я не хочу, чтоб знали, по крайней мере сейчас.

— А почему ты не хочешь? Боишься, что родители не согласятся?

— Из-за того, что я мулат? От ее родичей всего можно ожидать, не знаю, что будет, когда они все узнают. Пока они со мной хороши. А вот как будет дальше, предсказать не берусь. Мать Лу кичится благородным происхождением, бабушка, подруга Забелы, — еще того пуще. Забавно иногда получается, когда дона Эмилия, мать Лу, обзовет служанку «черномазой свиньей», и тут же — бестактный взгляд в мою сторону, мол, это к вам не относится. Но я не потому хочу пока держать свои намерения в тайне, вы научили меня гордиться цветом моей кожи. Просто я не хочу идти с пустыми руками в дом богачей просить в жены их дочь. Если мне откажут из-за того, что я мулат, я буду знать, что мне делать. Но если они отвергнут меня под предлогом, что я не в состоянии содержать семью, какие у меня основания протестовать? Никаких, верно ведь?

— Ты прав.

— Уеду в Рио, примусь за работу. Я не тупица и сумею стать хорошим специалистом. Меня берут в группу, составленную из лучших инженеров страны. Думаю, года через два, максимум — через три, у меня будет солидное положение. Вот тогда-то я и смогу постучаться в дом Лу, у меня будет что ей предложить. К тому времени и Астерио вернется из Соединенных Штатов, он может оказаться сильным союзником, поддержать в нужный момент. Вы ведь знаете, я часто ходил к нему домой, занимался с ним. Астерио говорит, что без моей помощи не осилил бы курса. Он мне друг.

— Сколько девушке лет?

— Скоро будет восемнадцать. Когда я на первом курсе познакомился с Астерио и он привел меня в их дом, Лу было всего двенадцать лет, подумать только. Мы давно уже полюбили друг друга, но только в прошлом году объяснились и поклялись.

— Поклялись?

— Да, крестный! Настанет день, когда мы поженимся. Непременно! — почти с угрозой вымолвил юноша сквозь зубы.

— Почему ты думаешь, что она станет тебя дожидаться?

— Потому, что она любит меня, а породы она упрямой. Такие люди когда чего захотят — от своего не отступятся. Лу вся в отца, никогда назад не повернет. Знаете, полковник Гомес чем-то напоминает мне вас. Во многом вы совсем разные, но в чем-то схожи. Когда-нибудь я вас с ним познакомлю.

— Чувствуешь ли ты себя готовым к тому, чтобы твердо стоять на своем, что бы ни случилось? Возможно, тебе придется трудно, Тадеу Каньото, да и опасности не миновать.

— Разве я не ваш воспитанник, ваш и дяди Лидио?

— Когда уезжаешь?

— Сегодня же. Пароход отходит вечером, билет я уже взял.

Вечером Педро Аршанжо и Лидио Корро пришли на пристань проводить Тадеу. Юноша заходил попрощаться к Гомесам, и они оставили его обедать. Потом он обежал всех друзей. Маже Бассан подарила ему ожерелье из гладких бусинок и амулет, снятый с фигурки Шанго. Забела, измученная ревматизмом, уже едва могла двигаться, но изъявила желание проводить его на пристань. Тадеу воспротивился: оставайтесь в постели, читайте себе своих поэтов. Забела состроила гримасу: вот как приходится доживать век женщине, у ног которой был весь Париж. В последнюю минуту на пристань пришли Мануэл де Прашедес и Манэ Лима, они только что узнали об отъезде Тадеу. Второй гудок поторопил отъезжающих.

Прощание было торжественным — путь такой дальний, трудный, Рио-де-Жанейро бог знает где. Аршанжо не выдерживает, открывает свой секрет:

— Я не хотел тебе говорить, хотел сделать сюрприз. Книга почти напечатана, скоро выйдет.

По взволнованному лицу юноши разливается радость, такая же, как десять лет назад, в годы ученичества, тени исчезают.

— О, крестный, вот это новость! Пришлите мне сразу же, как выйдет, несколько экземпляров, я их распространю в Рио.

Третий гудок, стюард звонит в колокольчик: провожающие — на берег, отъезжающие — на борт, пароход отходит. Минута объятий и слез, трепещущих платков. Четверо друзей спускаются на причал, стоят группкой среди гигантских кранов. Вдруг они видят, как Тадеу стремительно сбегает по трапу. Грустная девушка с белокурыми локонами пытается разглядеть кого-то на юте, но как это сделать, если большие глаза отуманены слезой, а вокруг столько народу? «Тадеу!» — жалобно зовет она, голос ее тонет в прощальных приветствиях. Он подбегает к ней, запыхавшись. Бесконечную и мимолетную секунду они молча смотрят друг на друга, окруженные любопытной толпой, потом он целует ей руку и делает шаг к пароходу. «Тадеу!» — кричит она в тоске и, забыв про окружающих, приникает к нему в поцелуе. Разомкнув ее объятия, Тадеу прыгает на трап — прощай!

Пройдя песчаный бар[[53]](#footnote-53), пароход выпускает белое облачко пара — прощальный гудок. Трепещет на ветру платок, прощай, любовь моя, не забывай!

Мало-помалу причал пустеет, в тени сгустившихся сумерек — только Аршанжо и Лу.

— Педро Аршанжо? — Девушка протягивает тонкую руку с голубыми прожилками и длинными пальцами. — Я — Лу, невеста Тадеу.

— Невеста? — улыбается Педро Аршанжо.

— Пока это тайна. Он сказал, вы знаете.

— Вы совсем еще девочка.

— Мама каждый день предлагает мне женихов, говорит, мне пора замуж. — Девушка — страстный порыв, неудержимое пламя, смех ее звенит, как ручей в горах, светлый и чистый. — Когда я представлю ей моего жениха, она упадет в обморок, самый глубокий в ее жизни.

Еще шире раскрыв свои большие глаза, девушка смотрит в глаза Педро.

— Не думайте, что я не представляю себе, как трудно нам будет. Кому это знать, как не мне, это моя семья, но все равно вы не бойтесь.

— Я никогда таких вещей не боялся.

— Я хотела сказать: за меня не бойтесь.

Аршанжо в свою очередь пристально смотрит ей в глаза:

— Ни за вас, ни за него, ни за обоих вместе. — Тут лицо его расплывается в улыбке. — Не буду бояться, мое золотко.

— Завтра я уезжаю в поместье, можно повидать вас, когда вернусь?

— Когда захотите. Стоит только сказать Забеле...

— Вы и про это знаете? Мне говорили, что вы чародей, колдун, это правда? Тадеу столько говорил о вас, рассказывал прямо чудеса. Прощайте, не сердитесь на меня.

Она потянулась к нему и поцеловала в щеку, на горизонте золотом и бронзой отливала полоска заката. «Тебя ожидает настоящий ад, моя девочка, готовься к этому. Ты вся — сгусток чувств, пылающий костер».

### 9

Проходя по Ларго-да-Се мимо витрин испанского книжного магазина, что принадлежит Леону Эстебану, и книжного магазина «Данте Алигьери», как пышно именует свою лавку Джузеппе Бонфанти, Педро Аршанжо косится краешком глаза на переплеты «Африканского влияния на народные обычаи Баии», выставленные доном Леоном среди бразильских и иностранных новинок. Без малого двести страниц, заглавие — красивыми синими буквами посередине обложки, а выше — имя автора курсивом, имитирующим факсимиле, местре Лидио называет этот шрифт курсивом-экстра. Возникшее тщеславное чувство перебивается потоком нахлынувших воспоминаний, и местре Аршанжо в задумчивости продолжает путь: книга эта стоила ему десяти лет труда и ученья; чтобы написать ее, ему пришлось измениться самому, он теперь уже не тот, что прежде.

Дон Леон позволил себе роскошь выбросить деньги на ветер и купить по себестоимости пять экземпляров книги, два из них выставил на витрине — «Para ellos lo más importante es ver el libro en la vidreria»[[54]](#footnote-54), — один экземпляр послал в Испанию другу, изучавшему антропологию. Так просто, для коллекции, а не ради ее научной ценности, откуда ей взяться, если книгу написал педель, зараженный вирусом научных изысканий. Этот вид помешательства гораздо более распространен, чем кажется на первый взгляд, в городе Баии полным-полно поэтов и философов, у дона Леона богатый опыт общения с такого рода авторами. Они каждый день приходят к нему в магазин, бледные, воинственные, небритые, а под мышкой у них рукописи: сонеты и поэмы, рассказы и романы, философские трактаты о существовании бога и предназначении человека на земле.

Изредка случается, что тот или другой из этих гениев раздобудет денег и изыщет способ издать свое «бессмертное творение» и тогда уж тотчас приносит его дону Леону для продажи. Из носителей бациллы литераторства и жертв вируса наукомании дон Леон предпочитал поэтов, они обычно тихи и мечтательны, а вот философы — те легко возбуждаются, жаждут спасти мир и человечество своими оригинальными неопровержимыми теориями. Аршанжо потерял разум в постоянном общении с учеными мужами и помешался на антропологии и этнологии, но что-то в нем есть и от поэта, к тому же он — один из наиболее симпатичных представителей этой диковинной породы, бедняга достоин лучшей участи.

Дон Леон, будучи человеком знающим, начитанным, деликатным и любезным в обращении, нередко рекомендовал нужные книги литераторам и студентам. Его стараниями в моду вошли такие авторы, как Бласко Ибаньес, Варгас Вила, аргентинец Инхеньерос, уругваец Хосе Энрике Родо. Инхеньерос и Родо — для профессоров, Варгас Вила — для студентов, среди которых он был особенно популярен, Бласко Ибаньес — для самых благородных семей. Клиентура у дона Леона была разнообразна, отсюда и эклектичность его вкуса.

Судьи, высшие чиновники, профессора различных факультетов, видные журналисты — все сливки местной интеллигенции приходили к нему за книгами и за справками: дон Леон получал каталоги из Аргентины, Соединенных Штатов, из всех европейских стран. Выступал он и посредником в приобретении книг, которых не было в Бразилии, принимая на них заказы. Педро Аршанжо тоже пользовался его услугами, чтобы получить книги из Франции, Англии, Италии, Аргентины. Не раз случалось, что заказанная книга прибывала в момент столь частых для него денежных затруднений, и испанец всегда отдавал ее, не торопя с оплатой: «Quede con los libros, paque quando le sea más cómodo»[[55]](#footnote-55). — «Не беспокойтесь, дон Леон, до субботы заплачу». Дон Леон уважал мулата за аккуратность в платежах, опрятность в одежде, чистоплотность, вежливость в обращении — все это выгодно отличало его от большинства доморощенных философов, этих неотесанных мыслителей, шумных, плохо одетых, грязных и назойливых.

«Говорит, не повышая голоса, и выглядит прилично, а ведь тоже наукоман, тратит деньги, да еще какие, на зарубежные издания, которые неизвестны даже профессорам медицинского факультета», — подумал дон Леон, когда Педро Аршанжо принес ему свою книгу. «Muy bien, mis felicitaciones»[[56]](#footnote-56). В порыве великодушия купил пять экземпляров, два выставил на витрину, но листать злосчастную книжицу не стал, ибо не располагал ни досугом, ни настроением, чтобы читать смеха ради подобные компендиумы бредовых идей.

В противоположность порядку, царившему в испанском книжном магазине — книги расставлены на полках сообразно с предметом и языком, авторы — по алфавиту, в глубине зала стоят плетеные кресла для почетных покупателей, продавец — в крахмальном воротничке и при галстуке, — в лавке Бонфанти царил кавардак: груды книг на полу или завален прилавок, помещение слишком мало для шумных студентов, живописной литературной богемы, стариков — любителей фривольной литературы. Два нахальных, голодных на вид мулата, отпуская товар, позволяют себе разные шуточки. За кассой — Бонфанти, одетый в заношенный до лоска синий кашемировый костюм, он продает и покупает, голос у него пронзительный:

— Десять тостанов, если вас устроит.

— Но, сеу Бонфанти, я у вас же купил эту «Геометрию» в прошлый понедельник и заплатил за нее пять мильрейсов, — напоминал студент книготорговцу.

— Вы покупали новую книгу, а продаете подержанную.

— Подержанную? Я ее даже не открыл ни разу, какую взял, такую и принес. Дайте хоть два мильрейса.

— Книга, покинувшая прилавок, — это уже подержанная книга. Десять тостанов и ни винтема[[57]](#footnote-57) больше.

У Аршанжо Бонфанти не приобрел за наличные ни одного экземпляра, так далеко его дружелюбие к автору не простиралось. Он взял на комиссию двадцать книг, и пять из них разложил среди новых поступлений на своей маленькой витрине. Большую он приберегал для старых книг, основного предмета его торговли. Он подружился с Аршанжо на почве кулинарии, обмениваясь с ним рецептами блюд на воскресных обедах в «Лавке чудес» и у себя дома, в Итапажипе, где за столом царила толстая и словоохотливая дона Асунта, мастерица готовить макароны. Как только речь заходила о еде, Бонфанти преображался, становился любезным и щедрым хлебосолом. Еда была его слабостью.

Тщеславное созерцание автором своей новой книги в витринах магазинов длилось недолго: Педро Аршанжо был отвлечен от него праздничной суетой по поводу собственного пятидесятилетнего юбилея, это были беспрерывные каруру́ («Дона Фернанда и сеу Манэ Лима приглашают Вас в воскресенье на каруру в честь сеу Аршанжо»), круговые самбы под стук барабанов, встречи, вечера, пирушки и попойки, — все хотели его чествовать. Местре Аршанжо под всеобщее ликование утопал в море кашасы среди пляшущих женщин. Казалось, он хотел разом наверстать время, потраченное на ученье, на писание книги. Ощутив прилив энергии, он жадно, с азартом окунулся в веселье, не отказывался от приглашений, появлялся там, куда не заглядывал с молодых лет, открывал заново знакомые места, шагал по проторенным когда-то тропкам. Он снова стал свободным и праздным, заразительно хохотал, не отказывался пропустить стаканчик, танцевал в кругу женщин и при этом наблюдал и делал заметки карандашом в маленькой черной книжечке. Старался впитать в себя все поспешно, жадно.

Книга значила для него не только десять с лишним лет серьезного труда и воздержания, ему пришлось поплатиться и какими-то верованиями, мнениями, суждениями, правилами, он на многое теперь смотрел иначе, в том числе и на свои поступки, — словом, стал другим, не тем, каким был раньше. Когда он это заметил, он уже был как бы вывернут наизнанку, он переоценил ценности.

— Кум Педро, ты теперь похож на важного господина, — сказал как-то Лидио Корро, встретив Аршанжо, направлявшегося с книгой в руке в сторону медицинского факультета.

— Господина над кем и над чем, мое золотко? Когда это я чем-нибудь владел, дружище, а?

Слова кума, его близнеца, заставили Педро Аршанжо задуматься. Лидио Корро боялся, что он уедет от них. Не в путешествие развлечения ради или чтобы сменить обстановку. Уедет совсем, навсегда. И все они останутся без него. Пожалуй, один Лидио Корро почуял перемену в нем, увидел нового человека, проросшего изнутри прежнего Педро Аршанжо, который был бесшабашен и в чем-то безответствен, который был дерзким, но непоследовательным бунтарем, ибо ему не хватало широты кругозора. Для простого люда Табуана и Пелоуриньо, для пасторила и гафиейры, для ритуального действа, для капоэйры и кандомбле он остался прежним местре Педро, его окружали все те же почет и уважение: с ним никому не сравняться, даже книги пишет, знает побольше любого доктора с дипломом, и он — наш. «Благословите, дядюшка», — просят оганы. «Благословите, отец Ожуоба, — слышатся голоса жриц. — Благословите!» Заметила ли Маже Бассан перемену в нем? Если и заметила, никто об этом не узнал, даже сам Аршанжо.

В пятьдесят лет Педро Аршанжо бросился в круговорот жизни очертя голову, словно юноша. Быть может, кроме всего прочего, ему надо было чем-то восполнить отсутствие Тадеу?

Книгой занимался Лидио Корро с полной верой и преданностью: для него книги кума были чем-то вроде новой Библии. Рисовальщик чудес догадывался о важности трудов Аршанжо, потому что познал истинность сказанного в них на своей собственной шкуре — притеснения и борьбу, ложь и правду, зло и добро. Без устали хлопотал он о распространении и продаже книги. Разослал по экземпляру критикам, профессорам, в редакции газет и журналов, в университеты юга и севера, за границу, отправил две партии в Рио-де-Жанейро, чтобы Тадеу распространил их там.

«Диарио да Баия» посвятила выходу книги в свет несколько строк, назвав Педро Аршанжо «уважаемым автором», «Тарде» квалифицировала книгу как «сокровищницу наших обычаев». Лидио пришел в восторг от такой характеристики, показывал заметку всем и каждому. Два-три критика кратко упомянули о книге, похвалив ее в осторожных выражениях. Этих любителей классики, душой пребывающих в Греции и Франции, этих интеллектуальных читателей Анатоля Франса не увлекали «забавные первобытные обряды Баии» и тем более «смелые, но не бесспорные тезисы по расовой проблеме», похвала смешению рас — скользкая тема.

Имели место, однако, и некоторые весьма знаменательные факты. Прежде всего стали поступать — хотя, надо сказать, крайне редко — сведения из книжных магазинов о продаже одного-двух экземпляров книги, причем не только в Баие, но и в Рио. Некий молодой книготорговец из столицы мало того что заказал по рекомендации Тадеу пять экземпляров за наличный расчет, еще предложил взять на комиссию пятьдесят экземпляров для распределения их по книжным лавкам Рио-де-Жанейро, «если издатель сделает ему скидку в 50 процентов». Лидио Корро, которому польстил титул издателя, послал на радостях в два раза больше — сто экземпляров и предоставил книготорговцу исключительное право продажи книг на всем Юге. Сколько экземпляров было продано, Лидио Корро не знал, поскольку отчет не присылался. Зато молодой книготорговец стал закадычным другом Тадеу, и тот часто упоминал о нем в своих письмах крестному: «Не раз виделся с Карлосом Рибейро, моим другом-книготорговцем, он распространяет вашу книгу очень успешно».

На медицинском факультете книга также не прошла незамеченной. Не говоря уже о студентах — друзьях Аршанжо, которым Лидио Корро вручал экземпляры книги, взимая плату по скользящему тарифу, в зависимости от достатка покупателя, надо же было хоть оправдать бумагу, — книга вызвала споры и в преподавательской. Арминдо, педель кафедры паразитологии, рассказал Аршанжо о горячей перепалке между профессором Арголо и злоязычным Исайасом Луной. Дело чуть не дошло до рукопашной.

Профессор Луна, состроив сочувственную мину, спросил заведующего кафедрой судебной медицины, правда ли то, о чем толкуют студенты на террейро. Студенты толкуют? О чем? Глупости какие-нибудь, вздор, разумеется. У профессора Арголо нет времени заниматься ерундой. О чем же они там болтают?

Да болтают, будто бы педель Аршанжо в своей вышедшей на днях книге доказал, что на террейро для кандомбле племени же-же существует культ змеи, бога-ориша Дань-гби, в просторечии — Дана. А профессор Арголо категорически отрицал в свое время сохранение этого культа в штате Баия: не осталось, мол, даже следа. И вот, представьте себе, этот темнокожий Аршанжо, проявив полное неуважение к авторитетам, взял да и описал этого несуществующего ориша, Змею, Зме́я, Дань-гби, его алтарь, его место среди других божеств, одежды и знаки, назвал день праздника, когда целый сонм жриц танцует на Террейро Бонго в его честь. А взять вопрос о кукумби́? Студенты говорят, он освещался еще в первой книге этого самого мулата, и тот еще тогда оспаривал мнение Арголо, а теперь поставил точку в этом споре, приведя столько фактов, что...

Нет, в расовую проблему Исайас Луна, белый баиянец, предпочитает не углубляться, лезть в пекло не станет, он не сошел с ума, но говорят, сеу Арголо, этот педель ссылается в своих рассуждениях на самые высокие авторитеты, проявляет такую эрудицию...

Профессор Нило Арголо побагровел и, хотя ратовал за старомодный высокий стиль, в бешенстве выпалил на ужасающем жаргоне: «Вы звонарь, пустобрех и к тому же бабник!» Он намекал на всем известную слабость Исайаса Луны к негритянкам — «они горячие и ласковые, они просто бесподобны, сеу Арголо!»

Скептически настроенный дон Леон в скором времени дважды был озадачен. В первый раз это случилось сразу же после того, как он выставил в витрине книгу педеля, страдающего манией величия. Один из наиболее именитых его клиентов, доктор Силва Виража, идя домой, заглянул, по обыкновению, в магазин справиться, «нет ли у любезного дона Леона чего-нибудь новенького». Увидев на полке «Влияния...», взял томик в руки и сказал:

— Вот книга, дон Леон, которой суждено стать классическим трудом по антропологии. Когда-нибудь на нее будут ссылаться, цитировать все корифеи в этой области, она получит всемирную известность.

— Do que libro habla usted, Maestro?[[58]](#footnote-58)

— Об этой самой, о книге Педро Аршанжо, педеля моей кафедры, большого ученого.

— Ученого? Usted bromea[[59]](#footnote-59).

— А вы послушайте, дон Леон.

Профессор раскрыл книгу и прочел: «Сформируется смешанная культура, такая полнокровная и близкая каждому бразильцу, что она станет неотъемлемой частью национального самосознания, и даже дети иммигрантов, бразильцы в первом колене, вырастут носителями афро-бразильской культуры».

Недели четыре спустя дон Леон получил письмо от своего соотечественника, занимавшегося антропологией. Тот благодарил за присылку книги Педро Аршанжо: «Этот великолепный труд открывает новые горизонты исследователям, разрабатывает захватывающе интересные темы фактически на пустом месте. Какой, должно быть, чудесный город эта Баия, я ощущал ее колорит и аромат на каждой странице». Просил прислать опубликованную ранее книгу того же автора, на которую имелась ссылка во «Влияниях...». О том, что одна книга уже была издана, дон Леон и не подозревал.

Будучи человеком честным, книготорговец всполошился и пошел разыскивать Педро Аршанжо. На факультете его уже не было, рабочий день кончился. Дон Леон продолжил поиски на Пелоуриньо, долго плутал по улочкам и проулкам квартала. Стал спрашивать, и повсюду ощущал незримое присутствие мулата в роли пастыря, патриарха. Вот тебе и бедняга, помешанный на философии, подумать только, так ошибиться в человеке! Зажглись фонари, и дон Леон понял, что в первый раз опоздал на трамвай, отправлявшийся в 18.10 на Баррис, где книготорговец проживал.

Когда он нашел наконец дом Ayccы в лабиринте грязных улочек, куда прежде не отваживался заходить, наступил вечер и взошла луна над домом, где куруру[[60]](#footnote-60) было в разгаре, сильно пахло кашасой, пивом и оливковым маслом. Дон Леон помедлил на пороге, оглядывая комнату, и увидел своего коллегу Бонфанти: тот усердно жевал, и усы его пожелтели от дендэ[[61]](#footnote-61). Местре Педро Аршанжо, сидевший между Розалией и Розой де Ошала, брал пищу руками, — что может быть лучше! — лицо его сияло благодушием и безмятежностью.

— Добро пожаловать, дон Леон. Садитесь за стол.

Аусса подал кружку пива, красивая мулатка принесла на блюде каруру и мокеку из крабов.

### 10

Педро Аршанжо в нарядном костюме, сшитом два года тому назад, когда Тадеу окончил институт, ждал ее у входа в собор, сдерживая волнение: за эти несколько минут в памяти его промелькнули мысли и образы целой жизни. Наконец она появилась на площади и пошла к собору, провожаемая взглядами, восклицаниями, говорящими о пробужденной чувственности. «Почти двадцать лет прошло, точнее, семнадцать, — думает Педро Аршанжо, — и с каждым годом красота Розы де Ошала зрела, обретала новые черты. Когда-то — непостижимая тайна, неодолимый соблазн, властный зов. Теперь — просто Женщина, Роза де Ошала, эпитеты не нужны».

Она не надела свой обычный наряд баиянки — белую блузу и несколько пышных белых юбок одна на другую, одеяние жрицы. Когда, перейдя площадь, Роза подошла к Педро Аршанжо и взяла его под руку, она выглядела как знатная дама: платье, сшитое у лучшей портнихи, драгоценности, золотые и серебряные подвески, врожденное благородство осанки, словно у принцессы. Она оделась так, будто хотела занять место, принадлежавшее ей по праву рядом с отцом невесты, слева от священника.

— Ты давно ждешь? Миминья только сейчас управилась, я из дома ее теток, она вот-вот придет. Ох, Педро, как хороша моя дочка!

Они вошли в церковь, где еще царил полумрак, горели, мерцая, лишь две свечи. Вечерние сумерки окутывали цветы, в которых утопал алтарь: лилии, хризантемы, георгины, пальмовые ветви. От двери к алтарю вела красная ковровая дорожка, по ней пройдет об руку с отцом невеста в платье со шлейфом, в венке и под фатой, с трепетной радостью в сердце.

Идя сквозь тишину и полумрак, Роза жалуется:

— Мне-то больше по душе церковь в Бонфине, только я и рта не раскрыла, чтоб сказать об этом, не мне распоряжаться на этой свадьбе. Промолчала, лишь бы дочери было хорошо.

Пока Роза, преклонив колени, читает «Отче наш», Педро Аршанжо идет поискать Анисио — ризничего, с которым знаком уже много лет, встречались на Террейро Иисуса. Не то чтобы человек этот был его другом по куруру и самбе, как, например, Жонас из негритянской церкви Пречистой девы, но все же, когда неделю назад Педро обратился к Анисио за помощью, тот без колебаний согласился, выказав понимание и сочувствие:

— Подумать только, что за люди! Как еще она на это пошла!

Ризничий повел их к лестнице за алтарем, по которой они поднялись на хоры, и там усадил на скамью в укромном уголке, откуда можно было видеть все, что делается в церкви, не будучи замеченным. Прежде чем оставить их и пойти зажигать свечи, ризничий, светлый мулат, не удержался и заметил, слегка гнусавя:

— Что мать уступила, это еще можно понять, но дочь-то как могла?

На лице Розы появилась торжествующая улыбка:

— Тут вы не угадали: мне пришлось самой ее долго уговаривать. Она-то хотела, чтоб я все время была с ней рядом, грозилась даже, что иначе не пойдет к венцу.

— Отчего же тогда вы прячетесь?

— Я одно вам скажу: отсюда, из этой тараканьей щели, я благодаря вам все-таки увижу, как будет венчаться моя дочь. Она же войдет в церковь под руку с отцом как его настоящая дочь и наследница, такая же законная, как и две другие, которых родила ему жена. Кто скажет, что за это заплачено слишком дорогой ценой, если я, мать, считаю, что оно того стоит?

— В семейных делах каждый сам себе хозяин, сеньора. Вы уж меня простите.

— Да что там, я вам очень благодарна, ведь это вы устроили, что я здесь.

Ризничий ушел. Роза прижала к губам кружевной батистовый платок, сдерживая рыдания. Педро Аршанжо стиснул зубы и смотрел прямо перед собой. Меж алтарями и фигурами святых густели тени.

— Ты, я вижу, тоже меня не понимаешь, — сказала Роза, когда вновь овладела собой. — Ты же знаешь, что мне давно пришлось сделать выбор. Он тогда сказал: «Миминья — моя любимая дочь, и я хочу, чтоб она была моей наследницей, как и две другие. Я уже сказал об этом всем моим домашним, и Марии-Амелии тоже...» Это жену его так зовут... «Я уже уладил все у нотариуса, есть только одно условие...» Я не стала спрашивать, какое условие, а спросила только, что на это сказала его жена. Он не стал мяться, ответил сразу: «Она сказала, что против Миминьи она ничего не имеет, чем виновато бедное дитя, но вот тебя она разорвала бы на части». Я посмеялась над злостью этой женщины, а он тут меня огорошил: «А условие, чтобы мы удочерили Миминью, такое: она будет жить у моих сестер, а не у тебя». — «Как, и я больше не увижу свою дочь?» — «Будешь видеться с ней, сколько захочешь, только жить она будет у них, а к тебе наведываться. Ну как, согласна, или ты не хочешь добра своей дочери?» Вот тогда мы и заключили договор, правда, на словах, но он свое слово сдержал, зачем же мне теперь его нарушать. Из того, что я негритянка, не значит, что я бесчестная и не держу слова. Понимаешь теперь, в чем дело? Я это сделала, чтоб Миминье было хорошо, только ради ее счастья. Нет, ты не понимаешь. Ты думаешь, мне надо было скандал устроить, разве не так?

Внизу ризничий зажег уже все свечи, в церковный зал, засиявший великолепием огней и цветов, входили первые гости. Педро Аршанжо сказал только:

— Как это ты можешь знать, о чем я думаю?

— Про тебя, Педро, я знаю все, знаю больше, чем даже про себя... Для кого я танцевала всю жизнь? Ну-ка скажи! Только для двоих: для отца моего Ошала и для тебя, который меня не захотел.

— Ты забываешь об отце Миминьи и о куме Лидио...

— Ну зачем ты так говоришь? Что я тебе сделала? Жеронимо избавил меня от той жизни, какую я вела. Когда он предложил мне уехать с ним, я из рук в руки переходила — катилась все ниже и ниже... Он дал мне кров и пищу, одел и приласкал. Он был добрый со мной, Педро. Все его боятся, особенно женщины, его жена тоже. Но со мной он поступал всегда честь по чести: взял с панели, обеспечил, ни разу не поднял на меня руку. Удочерил Миминью, заявил открыто: «Она — моя дочь, такая же, как и те две».

— Только нет у нее матери... — Голос Педро Аршанжо донесся откуда-то из убегающей тени, огонь лампад гнал ее прочь.

— А на что ей такая мать, как я: на что ей родня, которой надо стыдиться, бывшая потаскуха, негритянка, каких полно на самбе, мастерица отплясывать батуке? Когда он забрал Миминью, я ему сказала: святого своего не брошу, когда я должна служить ему, ты на меня не рассчитывай. Разве не была я всю жизнь такой, скажи, не была?

— Была. Такой ты была на кандомбле и в «Лавке», с кумом Лидио.

— Вот то-то и оно. Он забрал мою дочку, поселил ее у своих незамужних сестер, ко мне отпускал раз в неделю. Так было лучше для Миминьи, и я на это согласилась, только на душе у меня кошки скребли: я ему разве что в постели хороша, а дочь воспитывать не гожусь. Когда девочку увели, я будто ума лишилась, Педро, в глазах потемнело и мысли спутались. Назло всем пошла на улицу, утешения искала. Встретила Лидио...

Голос ее, тихий и надтреснутый, не разносится по церкви — он возникает и затухает в темной нише, едва достигая ушей Аршанжо.

— О, Лидио — лучший человек из всех, кого я знаю! Рядом с ним ты — нахальный бандит, Педро. Но все-таки в одном я ошиблась: в тот вечер мне надо было повстречать не Лидио, а тебя. Для кого я плясала всю жизнь? Клянусь, только для Ошала и для тебя, мой Педро. Это правда, ты знаешь, и если танцами все и кончилось, то потому только, что ты так захотел.

— Если б кто другой, а то Лидио... Ты сама сказала и причину.

Подходили новые гости, и церковь понемногу заполнялась. Женщины в изысканнейших нарядах по случаю свадьбы, самой пышной в сезоне, рассаживались по скамьям, шелестя шелком. Слышался тихий смех. Мужчины вполголоса беседовали, собравшись в глубине нефа. Избранные гости — свидетели, родственники новобрачных, представители власти — занимали места в двух первых от главного алтаря рядах кресел, где обычно заседал капитул. Роза узнавала то одного, то другого и обращала на них внимание Педро:

— Гляди, вон родители Алтамиро! Теперь они — моя родня, у меня куча богатых белых родственников, — засмеялась Роза, но смех ее звучал печально.

Мать жениха — полная, неторопливая женщина с добродушным выражением лица. Отец — полковник, владелец какаовых плантаций, худой, нервный и светловолосый, ему не хватало только коня и плетки. Он шел, высоко подняв голову, губы под пшеничными усами сложились в высокомерную улыбку, ни дать ни взять — иностранец.

— Гринго? — спросил Аршанжо.

— Он-то нет, отец его был вроде бы француз, фамилия у него Лавинь. Человек он что надо, Педро. Хоть и глядит иностранцем да к тому же богатей, каких мало, а пришел ко мне с визитом и жену привел. «Дона Роза, говорит, ваша дочь будет женой моего сына, невесткой мне. Мой дом к вашим услугам, мы с вами — родня». По его нраву, я была бы там, у алтаря. Да и сын его такой же.

— Жених?

— Да, Алтамиро. Они хорошие люди, Педро. Но если б я навязалась, родственники отца Миминьи не пришли бы, а тетки заменяли ей отца и мать. Разве плохо я сделала, что не пошла на скандал? Я же и отсюда все увижу.

Церковь заполнялась оживленным гулом голосов, праздничным волнением. Педро Аршанжо узнал профессора Нило Арголо под руку с доной Аугустой. Улыбнулся, единственный раз за все время церемонии. Роза крепче сжала его руку:

— Вот и тетушки. Они пришли, значит, и Миминья уже здесь.

Две седые старушки чопорно уселись в кресла у алтаря, против родителей жениха. Появился народ и на хорах, кто-то попробовал орган.

— Вон Алтамиро с посаженой матерью, женой сенатора.

Молодой человек понравился Педро: он вышел в отца цветом волос и кожи, а выражением лица, немного наивным, напоминал мать. В церкви собралось все высшее общество Салвадора, приехали гости из Ильеуса и Итабуны, Лавинь собирал тысячи арроб какао, а сын его, будто ему не хватало средств, занимался еще адвокатской практикой. Отец невесты выращивал и экспортировал табак, был вспыльчив, благороден, горяч, решителен, наживал, терял, снова обретал целые состояния. А ее мать, шептались женщины, — негритянка, вся в золоте и драгоценностях, его подружка, колдунья, приворожила его двадцать лет тому назад, разве устоишь против волшбы! Говорят, хоть он отъявленный бабник, по-настоящему любил за всю свою жизнь одну-единственную женщину, эту самую негритянку, мать невесты. Девушка чудо как хороша, загляденье...

Орган гремит торжественной мелодией, шум в нефе усиливается, хор запевает свадебный марш. Роза де Ошала сжимает руку Педро Аршанжо, грудь ее вздымается, на глазах выступают слезы. Об руку с отцом на красный ковер ступает Миминья, вся в белоснежной пене кружев, дочь самой красивой в Баие негритянки и последнего неистового властителя Реконкаво. Отец уже дважды прошел по этой самой ковровой дорожке среди огней и цветов, под звуки органа ведя к алтарю двух других дочерей. Тех он тоже любил, потому что они были кровь от крови его. Но в этой он видел не только родную кровь и плоть, в ней воплотилась, обрела зримые черты его любовь.

Не счесть женщин, принадлежавших доктору Жеронимо де Алкантаре Пашеко; были среди них и содержанки, и похищенные девственницы, и чужие жены. Женился он на девушке из благородный семьи. Но любил он только негритянку Розу. Даже когда их уже не связывало ничего, кроме дочери, и Роза, раненная насмерть разлукой с нею, уже не была на его содержании, он то и дело прибегал к ней под вечер как безумный, не помня себя, искал ее незабвенного тела и, чтобы получить его, готов был на все, даже на убийство, если бы кто-то стал на его пути. Роза никогда ему не отказывала и до конца его дней признавала за ним это право.

Она закусывает платок, рвет его зубами, лишь бы не зарыдать в голос, прячет лицо на груди Педро Аршанжо: «Ax, девочка моя!» Священник читает молитву, потом с пылом произносит проповедь, говорит о таланте жениха, о красоте невесты, о высокой чести семейств, соединяющихся ныне священными, неразрывными узами брака. И для Розы Ошала наступает момент последнего выбора.

Мало-помалу церковь пустеет, ушла Миминья с мужем, ушли ее тетки, родители новобрачного, посаженые отцы и матери, гости, гордый Алкантара. Ризничий гасит огни: сначала свечи, потом лампы. Тени густеют, и уже лишь две свечки вырывают из ночи одинокие фигуры святых.

— Лидио сказал тебе?

— Что?

— Я не приду больше в «Лавку» ни на ночь, ни на минуту. С этим покончено, Педро. Навсегда.

Он догадывается о причине, но все же спрашивает:

— Почему?

— Я теперь мать замужней женщины, супруги доктора Алтамиро, я родственница Лавиней. Хочу иметь право видеть мою дочь, бывать в ее доме, встречаться там с людьми. Я хочу нянчить своих внуков, Педро. — В тишине голос ее звучит твердо, решительно: — Я позволила разлучить себя с дочерью, когда она была еще маленькая. Осталась одна на свете и была вольна жить той жизнью, какой хотела. Теперь этому конец, нет больше Розы де Ошала.

Она взяла руку Педро Аршанжо и задержала ее в своих ладонях.

— А как же твой бог Ошала?

— Его я перевезла к себе домой, Маже Бассан разрешила. Она сама встала с постели и сделала все, что надо, — Роза взглянула на Педро, который сидел понурив голову и глядел в темноту. — Ты так меня и не захотел, хоть я все время тебе себя предлагала. Теперь уже поздно.

На лестнице слышатся шаги, это ризничий идет за ними. Они обнимаются, один-единственный поцелуй, первый и последний. Поздно теперь, местре Педро, ничего уж не поделаешь. Роза де Ошала растаяла в полумраке церкви. Как пришла, так и ушла. Целая жизнь — одно мгновение.

### 11

Когда наконец пришел Педро Аршанжо, оганы и иаво в слезах выбежали ему навстречу:

— Скорей, скорей, она все вас зовет, только и спрашивает: «Где Ожуоба? Пришел Ожуоба?»

Заслышав шаги, Маже Бассан открывает глаза:

— Это ты, сын мой?

Рука, иссохшая и дрожащая, как осенний лист, слабым движением указывает на стул. Педро Аршанжо садится, берет эту руку, целует ее. Старуха, собрав последние силы, начинает говорить. Голос ее еле слышен, она путает слова, сбивается на язык йоруба́, это ее последнее наставление, прощальный завет.

«Умбре ошире фон инако то Иженан, был праздник на Террейро Иженана. Большой был праздник, праздник Огуна, и много-много людей пришли посмотреть, как Огун будет танцевать. Огун Айяка танцевал как мог лучше, чтоб порадовать свой народ, который устал от страданий. В самый разгар танца к нему подошел сара-пебе-гонец и сказал, что видел солдат с ружьями и саблями, они хотят разогнать народ, который пришел на праздник, а террейро сровнять с землей. Они скачут на лошадях, чтобы скорей добраться сюда и всех побить. Огун выслушал гонца, — это Ошосси его предупреждал, — пошел в заросли, что были неподалеку, и свистом позвал двух змей, одна другой длиннее и опаснее. Принес и сложил обеих на середину зала, там они свернулись, подняли головы и глядели на дверь, высовывая ядовитые жала. Потом он продолжал свой танец возле двери, ожидая солдат. Те скоро прискакали, слезли с лошадей и с ходу взялись за сабли и ружья, чтоб устроить побоище. Тогда Огун с порога им и говорит: „Коли пришли с миром, войдите на террейро, потанцуйте на моем празднике. Для друзей сердце мое — мед, а враги пусть остерегутся, для них оно — смертельный яд“. И он показал на двух змей, а те так и брызгали ядом, свернувшись в кольцо. Солдаты испугались, но приказ есть приказ, а военный или полицейский приказ — самый строгий и грозный, ослушаться его нельзя. Солдаты пошли на Огуна с ружьями. Огун капе́ дан межи́, дан пелу́ онибан. Огун позвал змей, и змеи поднялись против солдат. Огун сказал: кто хочет ссоры, тому будет ссора, кто хочет войны, получит войну, змеи будут кусать, убивать ядом, не оставят в живых ни одного солдата. Змеи высунули ядовитые жала, солдаты с воплями вскочили на лошадей и пустились наутек, скоро их и след простыл, потому что Огун, не переставая танцевать, позвал двух змей, Огун капе дан межи, дан пелу онибан».

Педро Аршанжо повторил: «Огун капе́ дан межи́, дан пелу́ онибан». Старинное заклятье, страшная угроза, накликающая все беды на свете, ворожба, злое колдовство, последний дар богини Ийи. Комиссар городской полиции Педрито Толстяк дал полную свободу банде карателей: врываться на террейро во время праздника, разрушать алтари-пежи́, избивать старших и младших жрецов и жриц, хватать и бросать в тюрьму всякого, кто участвует в кандомбле. Я, мол, очищу Баию от этой мерзости. Он отдал строгий приказ полицейским, организовал в помощь им настоящих бандитов — вышел на священную войну.

Маже Бассан, ласковая и грозная, осторожная и мудрая, закрыла глаза. Вдали послышался крик Иансан, которая вела огунов, на террейро вошел в танце Шанго, Педро Аршанжо ощутил боль в груди и сказал:

— Наша Мать умерла.

### 12

Еще с порога Педрито увидел страх на лицах агентов, четырех молодцов из его знаменитого «бандитского эскорта», о котором оппозиционные газеты писали так: «Эта банда убийц, возведенных в ранг агентов полиции нынешним руководством штата, грозится разгромить нашу редакцию».

Педро Толстяк, грозный и ненавистный всем комиссар полиции, бакалавр права, носил тройку из английского твида, панаму, закалывал галстук булавкой с жемчужиной, курил из длинного мундштука, красил ногти и всегда был выбрит до синевы — прямо-таки денди, чуточку полноватый и не такой уж молодой, но все еще легкомысленный и взбалмошный. Он выбросил окурок сигареты, продул мундштук: струсили, негодяи!

Посреди комнаты стоял Энеас Голубь, король лотереи и хозяин города, перекинувшийся в оппозицию и впавший в немилость; сжимая револьвер, он твердил:

— Кто сделает еще один шаг, уложу на месте!

Агенты переглянулись: Кандиньо Фингал, Самуэл Коралловая Змея, Закариас да Гомейя и Мирандолино, костолом из Ленсоиса. Длинный список кровавых дел и легенд о храбрости Энеаса Голубя, меткого стрелка, щедрого поставщика клиентов для похоронного бюро, держал полицейских агентов на почтительном расстоянии.

— Паршивые трусы! — сказал Педрито и пошел вперед, вооруженный лишь камышовой тростью, тонкой и гибкой. Голубь, подняв револьвер, предупредил:

— Не подходите, доктор Педрито, а то получите пулю!

Трость свистнула в воздухе, подобно хлысту, на щеке лотерейщика появилась красная полоса, еще удар — брызнула кровь. Ослепленный жгучей болью, Голубь в отчаянии пальнул наугад, комиссар оказался проворнее. И ростом он невысок, и полноват, а вот справился с головорезом. При виде крови агенты пришли в себя, снова стали бесстрашными воителями и накинулись на Голубя.

— В тюрьму его! — распорядился Педрито.

Самуэл Коралловая Змея направился к письменному столу, где лежали лотерейные билеты и деньги. Трое остальных повели лотерейщика, подбадривая его тычками и пинками. Комиссар презрительно бросил:

— Заячьи души, трусливые бабы, в штаны наклали, тьфу!

Педрито Толстяк вышел на улицу, толпа любопытных расступилась, пропуская его. Он подмигнул официанточке из кафе на другой стороне улицы, сел в машину и рывком взял с места — в Баие равных ему за рулем, говорят, де было.

В кулуарах Управления полиции, где к четырем героям облавы присоединились столь же благородные собратья по профессии — Феррейра Блажной, Мамин Сосунок, Иносенсио Семь Смертей, Рикардо Огарок и Зе Широкая Душа, — обсуждался арест Голубя и конец его царствования. Во дворце идет с молотка вакантный трон. Кто даст больше?

Четырем молодцам не по себе: доктор Педрито сказал ясно, а он словами не бросается. Одной только тростью низверг с пьедестала легендарного Энеаса Голубя, не побоялся ни его револьвера, ни меткого глаза, ни славы душегуба, а молодцы в это время стояли столбом.

— Мокрые курицы! — Зе Широкая Душа в сердцах сплюнул и встал, чтобы пойти выполнить задание, переданное ему полицейским, надо было сопровождать во дворец доктора Педрито и губернатора.

Герои смолчали, ни один даже головы не поднял: лучше уж Энеас Голубь с револьвером, чем Зе Широкая Душа без всякого оружия. Зе не обсуждал приказы начальника, исполнял их без колебаний. Не нашлось еще никого, кто бы револьвером и угрозами помешал бы ему выполнить приказание Педрито. Бить, убивать стало для него делом простым, привычным. И умереть — когда придет его час. Зе, негру ростом под потолок, доверенному лицу Педрито, неведомо было, что такое страх или хотя бы тень страха.

Четыре соратника подавлены стыдом, им не дает покоя отзыв начальника, а еще их обругал свой же товарищ, и они вопрошают друг друга, что теперь делать, как вернуть расположение шефа. С Педрито Толстяком шутки плохи, ведь стоит ему потерять доверие к подчиненному — суд будет скорым и окончательным: гроб с крышкой и полтора метра земли, с бандитом можно не церемониться. Разве мало народу он уже отправил к праотцам? Жусто да Сеабру, Изалтино, Криспина да Бойю, Фулженсио Поножовщика и многих других, не таких известных. А ведь и они прежде делали в городе что хотели, во имя закона и вопреки закону, не платили за выпивку, отбирали деньги у испанцев, избивали и хватали кого надо и кого не надо, а потом вдруг сами оказались распростертыми на каменном полу покойницкой, «погибли при исполнении служебных обязанностей», как сообщалось в бюллетене Управления полиции в правительственных газетах. Чем-то не угодили они всемогущему заместителю начальника полиции.

Надо было незамедлительно показать служебное рвение, как-то восстановить свой авторитет, покачнувшийся под дулом револьвера. Хорошо бы что-нибудь эдакое... Но что?

— Давайте разгоним одно-другое кандомбле, — предложил Кандиньо Фингал.

— И верно. Доктору Педрито это будет по душе, — поддержал его Мирандолино.

— Сегодня праздник Шанго, на многих террейро будут сборища.

Сведения были вполне надежными, они исходили от Закариаса да Гомейи, который знал толк в таких делах. Этот субъект приписывал колдовству на макумбе обезобразившую его лицо болезнь, которую на самом деле он подцепил у какой-то шлюхи. Так что помимо идейных и высоконаучных обоснований комиссара полиции у Закариаса да Гомейи были, как мы видим, и свои личные причины вести беспощадную войну против кандомбле.

В кабинете Педрито Толстяка, на этажерке, теснились книги и брошюры. Некоторые из них сохранились со времен студенчества, другие он прочел уже после окончания университета, делая отметки красным карандашом. Были там и совсем недавние публикации. «Три школы криминалистики: классическая, антропологическая и критическая» Антонио Мониза Содре де Арагона, приверженца итальянской антропологической школы; Мануэл Калмон ду Пин-и-Алмейда — «Дегенераты и преступники»; Жоан Батиста де Са Оливейра — «Сравнение краниометрических данных представителей различных рас, проживающих в Баие, с точки зрения эволюции и судебной медицины»; Аурелино Леал — «Семена преступления». Из этих книг, а также из работ Пины Родригеса и Оскара Фрейры студент Педрито Толстяк в часы, свободные от изучения домов терпимости, узнал, что негры и мулаты обладают врожденной склонностью к преступлениям, которая усугубляется такими дикарскими играми, как кандомбле, круговая самба, капоэйра, это школа усовершенствования для тех, кто рожден вором, жуликом, убийцей. Комиссар Педрито, белый баиянец с белокуро-рыжеватыми волосами, считал подобные ритуалы оскорблением порядочных семейств, вызовом романской культуре и расе, принадлежностью к которым так кичились интеллигенты, политические деятели, коммерсанты, фазендейро, — словом, все избранное общество.

Из новых работ у Педрито были брошюры профессора Нило Арголо и Освалдо Фонтеса: «Преступность среди негров», «Метисация, дегенерация и преступность», «Психическая и умственная дегенерация метисов в тропических странах», «Расовая принадлежность и уголовные преступления в Бразилии», «Метисы — патологическая антропология». Когда какие-нибудь демагоги, заискивающие перед чернью, плебсом, быдлом, принимались рассуждать о подавлении народных традиций и грубом насилии, к которому прибегает полиция в борьбе с атабаке, ганзами, беримбау, агого и кашиши, с танцами жриц, впадающих в транс, с капоэйрой, — помощник начальника полиции Педрито Толстяк блистал антропологической и юридической ученостью, взятой с полки в готовом виде: «Не я, а светила науки говорят об опасности, которую несут обществу дикие обряды негритни: не я, а сама наука объявляет им войну». К этому он добавлял, скромно потупившись: «Я же всего-навсего пытаюсь пресечь зло на корню, не дать этой заразе расползтись. Как только мы покончим со всем этим свинством, уровень преступности в Салвадоре резко упадет, и лишь тогда мы сможем сказать, что живем в цивилизованном городе».

Если оппозиционные газеты обвиняли комиссара полиции в расовых предрассудках, в разжигании расовой ненависти, Педрито ссылался на статьи, опубликованные ранее в тех же самых газетах и призывавшие к энергичным мерам против кандомбле и афоше, капоэйры и праздника Иеманжи. А теперь, мол, оказавшись в оппозиции и нападая на руководство штата и полицию, «беспамятные писаки солидаризируются с явными или потенциальными преступниками».

В беседе с корреспондентом правительственной газеты профессор Нило Арголо по достоинству оценил кампанию полицейских репрессий, не скупясь на похвалы: «священная война, крестовый поход во спасение столпов цивилизации на нашей поруганной земле». В порыве восторга он сравнил Педрито Толстяка с Ричардом Львиное Сердце.

Священная война: в тот вечер, когда гремели барабаны в честь Шанго, паладины выступили против неверных. В рядах защитников романской цивилизации, кроме неустрашимой четверки участников облавы на лотерейщика, шли «благородные рыцари»: Мамин Сосунок, прозванный так за то, что поколачивал собственную мать, и Феррейра Блажной, великий мастер отвешивать удары плашмя увесистой саблей, причем доставалось и полномочным представителям той самой романской культуры, которую заместитель начальника полиции насаждал огнем и мечом.

Вышли пораньше, каждый захватил с собой крепкую дубинку, незаменимое оружие в доброй свалке, современное копье наших доблестных крестоносцев. Потрудились на славу. В первых трех «домах святого», куда они ворвались, работа была легкая: террейро средней величины, участников мало, празднество только началось. Пошли гулять дубинки, раздались вопли и стоны женщин и стариков, которые услаждали слух воинов, любителей подобной музыки, вдохновляли на новые подвиги во исполнение цивилизаторской миссии. Когда стало некого дубасить, позабавились с атабаке, пежи и прочими предметами культа — разнесли их на куски.

Слух об усердии и рвении агентов стал упреждать их приход, умолкали барабаны, рассыпа́лся хоровод жриц и иаво, гасли огни, прекращалось действо, праздник замирал. Понурившись, расходились по домам мужчины и женщины, боги-ориша возвращались в горы, в лес, в море, откуда они пришли на террейро, чтобы петь и танцевать.

Рыцари креста вдруг обнаружили, что колотить некого, и вынуждены были прервать это приятное занятие. Упоенные победами и надеждой вернуть себе расположение грозного начальника, они требовали в кабачках не только бесплатной выпивки, но еще и сведений о том, где в этот вечер состоится кандомбле. «А ну-ка, выкладывай, да поживей! Будешь отмалчиваться — отведаешь дубинки, скажешь — за нами не пропадет». Так они узнали о большом празднестве на террейро Сабажи, расположенном за городом.

В зале танцевало не менее дюжины ориша в богатых одеждах. В середине круга — Шанго на могучем коне, которого изображал Фелипе Верзила. Танец был — загляденье. Шанго Фелипе Верзилы слыл одним из лучших во всей округе. Огаи-распорядитель Мануэл де Прашедес, ответственный за порядок в зале и прием гостей, заслышав грубую брань и взрывы хохота подходивших paтоборцев, сразу понял, что нагрянула банда громил. Закариас да Гомейя, явив собравшимся свое жуткое лицо, изрытое оспой, безносое и безбровое, крикнул с порога:

— Теперь плясать будет Закариас да Гомейя; он вам исполнит танец волшебной дубинки.

Самуэл Коралловая Змея, покачиваясь от выпитой кашасы, сунулся в дверь. Мануэл де Прашедес, помня о своих обязанностях, потребовал уважения к святому. «Катись ты к чертовой матери!» — ответил Самуэл и хотел войти. Мануэл де Прашедес одной оплеухой отбросил полицейского агента на руки его безносому приятелю, завладев при этом дубинкой. В руках грузчика она стала грозным оружием, завертелась вихрем. Тут и началась свалка.

Мирные люди и веселые ориша, собравшиеся на праздник, поняли, что им хотят помешать, что им угрожают. Мужчины из тех, кто посмелее, пришли на подмогу Мануэлу де Прашедесу. Об этой потасовке до сих пор ходят легенды: Шанго поражал полицейских агентов незримыми затрещинами, гигант Прашедес разросся до таких размеров, что походил на Ошосси, и его дубинка повергала бандитов наземь, словно копье Георгия Победоносца. Сбитый с ног Закариас да Гомейя вытащил револьвер, хлопнул первый выстрел.

Из плеча Фелипе Верзилы, коня Шанго, потекла кровь, но он не струсил и продолжал танцевать. По примеру Закариаса да Гомейи остальные крестоносцы тоже взялись за оружие. Только пули помогли им войти в барак.

В опустевшем зале остались лишь окровавленный конь с Шанго, продолжавший танец, да Мануэл де Прашедес, крутивший дубинку на просторе. Агенты сгрудились и пошли на Мануэла скопом: отведем этого сукина сына в участок, а там уж он свое получит сполна. Героев возглавлял мстительный кабра[[62]](#footnote-62) Коралловая Змея: «В полиции я с него шкуру спущу, он у меня потеряет охоту к драке и к макумбе, я тебя, подлюга, буду колошматить до тех пор, пока ты не станешь вот такусеньким, пока из великана не превратишься в карлика». Сделав неимоверный прыжок — не иначе Шанго сотворил это чудо, — Мануэл де Прашедес выскочил в окно. Перед тем успел, однако, ткнуть Самуэла Коралловая Змея в лицо и лишить его трех зубов, один из которых, с золотой коронкой, был предметом гордости полицейского агента.

Шанго верхом на коне нырнул в кусты, плясал танец хлыста. Громилы бросились в погоню. Ну как поймают Фелипе Верзилу вместе с его Шанго! Ну как схватят Мануэла де Прашедеса, вот будет здорово. Молчат темные кусты, только совы ухают.

Разрушение предметов культа не смирило ярости крестоносцев, их священной ненависти. Этого им было мало. Подожгли барак, и пламя пожрало террейро Сабажи. В назидание.

Много лет шла священная война, крестовый поход во имя цивилизации в царствование Педрито Толстяка, полицейского комиссара — денди, бакалавра права, читавшего книги и вооруженного теориями, насилие творилось ежедневно, жаловаться было некому. Доктор Педрито взял на себя миссию — покончить с самбой, колдовским шабашем, с черномазыми. «Я очищу город Баию».

### 13

Через несколько дней Мануэл де Прашедес, выйдя после обеда из своего дома в переулке Баронесс, получил в спину всю обойму из револьвера Самуэла Коралловая Змея. Одну за другой шесть пуль. Упал ничком, не успев и охнуть.

Убийца пояснил сбежавшимся отовсюду людям:

— Не будет задираться. Ну-ка, дайте пройти.

Но ему не дали пройти. Его окружили, послышались призывы воздать убийце по заслугам, возмущение было так велико, что самодовольство победоносного матадора сменилось смертельным страхом. А вдруг они возьмут да убьют его прямо здесь, на улице! Бросив оружие, он стал на колени, запросил пощады. Пришли полицейские, раздвинули толпу, увели задержанного. Некоторые из свидетелей пошли с ними в Управление полиции. Преступник и орудие убийства были переданы блюстителям закона, после чего свидетелей выпроводили. Один из них, администратор кинотеатра на Байша-дос-Сапатейрос, заявил комиссару:

— Он был взят на месте преступления, когда совершил убийство.

— Мы разберемся, будьте покойны.

В тот же вечер, около шести, агент вспомогательной полицейской службы Самуэл Коралловая Змея, убийца, взятый с поличным на месте преступления и отведенный в полицию, дабы его предали суду, прошел со смехом и бранью в компании Закариаса да Гомейи, Зе Широкая Душа, Иносенсио Семь Смертей, Рикардо Огарка и Мирандолино по переулку Баронесс мимо дома, где друзья и знакомые совершали бдение у тела Мануэла де Прашедеса.

Комиссар Педрито Толстяк спросил только:

— Как это случилось?

— Этот макумбейро накинулся на меня на улице, сеньор начальник, поминал вашу мать худыми словами и все к моему лицу тянулся своими ручищами. Ну я в него и выстрелил, не терпеть же побои от колдуна.

«Война есть война», — сказал себе помощник начальника полиции. Компания агентов прошлась туда и обратно по переулку, завернула в какой-то кабачок, там агенты выпили и не заплатили. Война есть война, солдату на священной войне положена награда.

### 14

Скованную ревматизмом Забелу мучили приступы боли и возмущения:

— Тадеу — образованный юноша, а эти Гомесы — неотесанная деревенщина, бандиты из ceртана. Почему они ему отказали? Потому что они богаты?

— Потому что они белые.

— Белые? Да разве в Баие кто-нибудь может всерьез утверждать, что он белый? Не смешите меня, местре Аршанжо, мне больно смеяться. Сколько раз я вам говорила, что белый в Баие — как сахар на энженьо: всегда с примесью. И в Реконкаво то же самое, a уж про сертан и говорить нечего. Эти Гомесы не заслуживают такого зятя, как Тадеу. Если бы это была не Лу, милая девочка, она навещает меня, мы с ней болтаем часами... Если бы не она, то я бы посоветовала Тадеу поискать семью получше. Гомесы, по правде говоря... Я их прекрасно знаю, бабка нашей Лу, mon cher[[63]](#footnote-63), старая Эуфразия, что теперь не вылезает из церкви, в свое время маху не давала...

Педро Аршанжо не скрывал огорчения:

— Все они одним миром мазаны. У них что на уме, то и на языке: мол, негру да мулату место — в сензале или в каморке для прислуги. Другие на словах — либералы, толкуют о равноправии и прочая и прочая, но куда только все девается, едва речь зайдет о свадьбе? Уж как сердечно и радушно принимали Тадеу в их доме! Пока был студентом, он каждый день к ним ходил. Обедал, ужинал, ночевал в комнате своего однокашника, его считали чуть ли не сыном. Но вот он заговорил о женитьбе — и все пошло по-другому. Скажите откровенно, Забела, если бы у вас была дочь, вы отдали бы ее за негра, за мулата? Только правду.

Превозмогая боль («В меня будто свора собак вцепилась и грызет все мои косточки»), старуха выпрямилась в кресле:

— Педро Аршанжо, как вам не стыдно! Если б я прожила свою жизнь в Санто-Амаро, Кашоэйре или здесь, в обществе Гонсалвесов, Арголо, Авила и прочих, вы вправе были бы задать мне этот вопрос. Вы что же, забыли, что большую часть жизни я прожила в Париже? Если б у меня была дочь, местре Педро, она пошла бы за кого захотела: за белого, черного, китайца, турка-магометанина, некрещеного еврея — ну за кого угодно. А не захотела бы ни за кого — пусть оставалась бы в девицах. — Забела застонала от боли, откинулась на спинку кресла. — Скажу вам по секрету, местре Педро, в постели никто не сравнится с хорошим негром, это говорила еще моя бабушка Виржиния. — Забела округлила глаза и лукаво подмигнула. — Виржиния Арголо, что была замужем за полковником Фортунато Араужо, Черным Араужо. Бойкая была на язык, тыкала дедушкой Фортунато в нос этим неумытым баронессам с плантаций: «Моего негра я не променяю на дюжину ваших белых мужиков!» — Тут Забела снова возмутилась: — Отказать Тадеу, такому чудному мальчику! Какая глупость!

— Я не отказала Тадеу и, если богу будет угодно, стану его женой! — откликнулась Лу из коридора.

Восторженные возгласы Забелы — ma chérie, ma pauvre fille, mon patit[[64]](#footnote-64), улыбка на грустном лице Аршанжо.

— Так это вы, Лу?

— Здравствуйте, Забела. Благословите, отец мой.

Отец! Так девушка зовет его уже давно. Вместе с подругами она отправилась однажды на кандомбле, под охраной Аршанжо, Лидио и фрея Тимотео. Увидела, как жрицы, иаво и даже мужчины, причем иные с седой головой, целуют руку Аршанжо: «Благословите, отец!» «Почему „отец“?» — спросила она Лидио Корро. «Из уважения и доверия, которые они питают к Ожуобе; все эти люди — дети Педро Аршанжо, и не только они». С тех пор Лу и стала говорить ему «отец» и просить благословения — может, в шутку, а может, и всерьез.

Еще на пристани, провожая Тадеу в первый раз, Лу сравнила черты лица своего избранника с чертами Педро Аршанжо: «Боже мой, как они похожи — отец и сын, а не крестный и крестник!»

Тадеу неохотно говорил о своей семье, держался настороженно, никогда не упоминал об отце, он не знал, кто такой таинственный Каньото, подаривший ему имя. О матери он помнил только, что она была красива. «Мой отец умер, когда я был совсем маленьким, я его не помню; мать была хороша собой; когда поняла, что я хочу учиться, отдала меня крестному. Когда она умерла, я еще только готовился поступить в школу». Вот и все, больше ни слова.

Лу из любопытства еще некоторое время обиняком заводила речь о таинственном семействе Каньото. Но скоро почувствовала, что разговоры эти ранят самолюбие Тадеу.

— Милая, ты идешь за меня или за моих предков?

Лу больше к этой теме не возвращалась, но как знать, может, в первый раз она сказала «отец» не без намека или задней мысли. Аршанжо и бровью не повел, улыбкой утвердив такое к нему обращение. Благословил девушку и, отвечая на этот знак уважения и симпатии в таком же полушутливом тоне, сказал: «Моя маленькая дочь, аше́», как если бы она была юной участницей кандомбле.

Лу, опустившись на колени возле кресла Забелы, рассказывает:

— Дома у нас все еще тяжко. Сегодня отец куда-то ушел, а я скорей сюда, чтоб хоть немного прийти в себя. Теперь, когда Тадеу снова уехал в Рио, мама хоть не следит за каждым моим шагом, а то она все боялась, что я сбегу и обвенчаюсь с Тадеу тайно.

— Так и надо было поступить, вы имеете на это полное право. Он — тоже.

— Лучше все-таки подождать, ведь осталось всего восемь месяцев, не так много для тех, кто ждал годы. В тот день, когда мне исполнится двадцать один год, я стану совершеннолетней, и уж никто мне помешать не сможет.

От кого исходило решение ждать — от Тадеу или от Лу? Интересно бы узнать. Впрочем, так ли уж это важно?

— Тем временем обстановка в семье может измениться. Тадеу считает, что это вполне вероятно. Что ни говорите, лучше выйти замуж с согласия родителей и остаться с ними в хороших отношениях...

Чье это упорство — девушки или Тадеу? Ах, инженер Тадеу Каньото, хотя ты и быстро шагаешь вверх по лестнице, но все же смотришь, куда ставить ногу.

Тадеу начал свою карьеру успешно, получал хорошее жалованье, пользовался авторитетом, начальник к нему благоволил, товарищи по работе стали его друзьями. Впервые за три года он получил отпуск и отправился в Баию, заручившись письмом к полковнику Гомесу от Пауло де Фронина: «Глубокоуважаемый сеньор Гомес! Мне стало известно о намерении доктора Тадеу Каньото просить руки Вашей уважаемой дочери, по поводу чего я прошу Вас заранее принять мои поздравления и наилучшие пожелания. Жених Вашей дочери работает со мной уже три года, он — один из наиболее одаренных и знающих инженеров, занятых преобразованием старого Рио-де-Жанейро в большой современный столичный город». Далее шли похвалы молодому человеку, упоминались «безупречный моральный облик, твердый характер, яркий талант»; перед Тадеу открыты все пути, успех ему обеспечен. Затем автор письма снова поздравлял семью Гомес с предстоящим бракосочетанием и выражал уверенность, что лучшего зятя полковник и его почтеннейшая супруга не могут и желать.

Не помогло хвалебное письмо знаменитого инженера. Встретили Тадеу радостно: «Смотрите-ка, кто явился, Тадеу, совсем нас забыл, проказник!», однако настроение хозяев тут же изменилось, когда Тадеу, попросив разрешения переговорить с полковником наедине, вручил ему письмо своего начальника и попросил руки Лу.

Фазендейро поначалу так оторопел, что не только дочитал письмо до конца, но и выслушал, не прерывая, краткие пояснения молодого инженера:

— ...просить руки вашей дочери Лу.

Только теперь улыбка сошла с губ полковника.

— Ты хочешь жениться на Лу? — Голос его был ровным, ничего не выражал, кроме изумления и смущения.

— Вот именно, полковник. Мы любим друг друга и хотим пожениться.

— Так ты... — Здесь произошла внезапная перемена, голос загремел гневными металлическими нотками: — Так вы хотите сказать, что Лу поддерживает это ваше нелепое намерение?

— Я не посмел бы обратиться к вам, полковник, не получив на то ее разрешения, и мы не считаем наше намерение нелепым. — Он сделал нажим на слове «наше».

Словно яростный вопль раненого могучего зверя, разнесся по дому крик полковника Гомеса:

— Эмилия, иди сюда, живо! Приведи Лу! Скорей!

Полковник смерил Тадеу враждебным взглядом, будто увидел его впервые. Вошла дона Эмилия, отирая руки о передник: она на кухне показывала кухарке, как приготовить любимые пирожки Тадеу, ведь он, конечно, поужинает с семьей своего друга и однокашника. Почти одновременно вошла Лу с нервной и напряженной улыбкой на лице.

Фазендейро спросил ее:

— Дочь моя, господин, которого ты здесь видишь, поразил меня немыслимой просьбой и сказал, что делает это с твоего согласия. Он солгал, не правда ли?

— Если вы хотите этим сказать, что Тадеу пришел просить моей руки, то все, что он сказал, — правда. Я люблю Тадеу и хочу быть его женой.

Полковник сделал явное усилие, чтобы сдержаться и не отхлестать дочь по щекам. Задать бы ей хорошую трепку!

— Ладно, ступай. Потом поговорим.

Лу послала жениху ободряющую улыбку и вышла. Дона Эмилия, услыхав потрясающую новость, издала какой-то слабый стон: «О господи!»

— Ты что-нибудь знала об этом, Эмилия? И мне ничего не сказала?

— Я знала столько же, сколько ты, ровным счетом ничего. Для меня это как гром среди ясного неба. Ничего не говорила, даже не намекала.

Полковник не стал спрашивать, что жена думает о создавшемся положении, то ли потому, что считал сферой ее забот хозяйство, а не серьезные дела. Он обратился к Тадеу:

— Вы злоупотребляли доверием, которое мы вам оказывали. Мы принимали вас в доме как товарища нашего сына, невзирая на цвет кожи и происхождение. Говорят, вы умный человек, как же вы не сообразили, что мы вырастили дочь не для того, чтобы отдать ее негру? Теперь идите и никогда больше не переступайте порога этого дома, не то вас спустят с лестницы.

— Хорошо еще, что вы меня обвиняете только в цвете моей кожи.

— Вот отсюда! Убирайтесь!

Тадеу не спеша пошел к выходу, а дона Эмилия в изнеможении упала в кресло. Яростные крики полковника все еще доносились до юноши, когда он вышел на улицу. Его невесте предстоит встретить поток звериной ярости. Она готова к этому, она сильная. Накануне, встретившись у Забелы, они обсудили все подробности, перебрали все возможные обороты дела, подыскивали решение каждого вопроса. Тадеу Каньото любил математический расчет, обоснованный выбор решений на основе изучения и анализа данных.

Педро Аршанжо, хотя и предполагал отказ, возмутился, вышел из себя, потерял голову, что случалось с ним крайне редко. Он сам не раз замечал: «Я теряю голову только из-за женщины».

— Лицемеры! Глупые невежды! Белое дерьмо!

Тут уж пришлось Тадеу его успокаивать:

— Да что с вами, крестный? Успокойтесь, не оскорбляйте моих родственников. Это семья богатых фазендейро, они все с предрассудками. Для полковника выдать дочь за мулата — немыслимое дело, трагедия, он предпочел бы, чтобы она жила и умерла истеричной старой девой. Но это вовсе не означает, что они дурные люди, и я думаю, этот предрассудок не укоренился в них глубоко, со временем они его изживут.

— Ты же их еще и защищаешь, оправдываешь! Ну, Тадеу Каньото, теперь моя очередь удивляться!

— Я их не защищаю и не оправдываю, крестный. Я убежден, что нет ничего отвратительней расовых предрассудков и нет ничего лучше взаиморастворения рас, вы меня в этом убедили своими книгами и собственным примером. Только я из-за этого не хочу делать из Гомесов чудовищ, они — неплохие люди. Я уверен, что Астерио нас поддержит, я ему еще не писал, хочу сделать сюрприз. В письмах он только и пишет о североамериканском расизме, который «для бразильца неприемлем», это его слова.

— «Для бразильца неприемлем». Но как дойдет до того, чтоб отдать руку дочери или сестры мулату, негру, эти люди ведут себя точь-в-точь как североамериканские расисты.

— Крестный, это вы меня удивляете. Не вы ли всегда говорили, что расовая проблема и ее решение не только различны в США и в Бразилии, но и прямо противоположны, что у нас, несмотря на трудности, имеется тенденция к смешению, слиянию рас? И что же? Стоило возникнуть одной из таких трудностей, вы уже отступаетесь от своей концепции?

— Я просто разозлился, Тадеу, разозлился сильнее, чем сам того ожидал. Так что же ты теперь будешь делать?

— Женюсь на Лу, разумеется.

Этих слов было достаточно, чтобы гнев Педро Аршанжо уступил место деловитости:

— Я тебе в два счета разработаю план похищения и побега.

— Похищения и побега? Это не так просто.

— Я делал вещи и потрудней.

Взору Аршанжо уже рисовалось романтическое приключение: на улице дежурят мастера капоэйры, Лу перед рассветом тайком выходит из дома, закутанная в черный бурнус, рыбачья лодка на всех парусах уносит влюбленных в какой-нибудь укромный уголок залива Реконкаво, затем — тайное венчание, Гомесы в ярости. По всему видать: Педро Аршанжо читал не только научные трактаты, но и романы Александра Дюма, «кстати, он — мулат, сын француза и негритянки, превосходное сочетание!».

— Нет, крестный, не будет ни похищения, ни побега. Мы с Лу уже решили. Через восемь месяцев Лу достигнет совершеннолетия, станет хозяйкой своей собственной судьбы. Если к тому времени сопротивление стариков не будет сломлено — тут я надеюсь на помощь Астерио, — то в день своего рождения Лу покинет отчий дом, чтобы стать моей женой. Так будет лучше.

— Ты думаешь?

— Мы оба так думаем, Лу и я. Даже если полковник не соизволит дать свое согласие, тот факт, что мы дождались совершеннолетия Лу, облегчит впоследствии устройство наших дел. Для меня это тоже будет в некотором отношении удобнее. Завтра я еду в Рио, через восемь месяцев вернусь.

Педро Аршанжо не сказал ни «да», ни «нет», впрочем, никто его согласия и не спрашивал. В «Лавке чудес» Лидио Корро поражал друзей, повествуя об успехах Тадеу в столице: Пауло де Фронтин, разрабатывая грандиозный план урбанизации Рио, ничего не решает даже в мелочах, не выслушав мнение молодого инженера, и назначает его на самые ответственные работы. Собственно говоря, новую столицу строит Тадеу.

И вот в доме Забелы Педро Аршанжо слышит, как девушка повторяет те же слова, что он слышал от Тадеу.

— Быть может, за эти месяцы я уговорю стариков.

— Думаете, это возможно?

— Я вам скажу, что мама уже наполовину согласилась. Вчера, например, она сказала мне, что Тадеу — славный мальчик, и если б он только не был...

— ...черным...

— Вы знаете, о Тадеу она никогда не говорит «черный»: «Если б он только не был таким жгучим брюнетом...»

Теперь Педро Аршанжо наконец рассмеялся. Что ж, он не станет навязывать свое мнение, Тадеу и Лу поступили как сочли нужным, в любом случае они могут рассчитывать на его поддержку. Их решение ждать, придерживаясь закона, было не в его духе, не в духе Александра Дюма-отца, мулата, сына Наполеона и черной красотки с Мартиники (или, может, с Гваделупы, Педро не помнил); если бы спросили его или Александра Дюма, тот и другой без всякого раздумья отдали бы предпочтение побегу.

Забела, пользуясь присутствием внимательных слушателей, пустилась в воспоминания о семье Арголо де Араужо.

— Вот вы послушайте-ка. Фортунато де Араужо, по прозванию Черный Араужо, ставший полковником во время войн за независимость, герой битв под Кабрито и Пиражой, через спальню бабушки Виржинии Гонсалвес Арголо вошел в благородное семейство Арголо и стал его главой и руководителем. Это был красивый мулат, из всех внучек меня он любил больше всех, часто сажал перед собой в седло, и мы галопом носились по горам и долам, это он прозвал меня принцессой Реконкаво. Местре Педро, вы мастер отгадывать загадки, скажите же мне, почему достославный профессор Нило д’Авила Арголо де Араужо, эта инфузория, le grand con[[65]](#footnote-65), что так кичится знатными предками, — почему он упорно не желает пользоваться честным именем Араужо? Почему не рассказывает о подвигах полковника Фортунато в боях двадцать третьего года, почему не вспоминает, что Черный Араужо трижды был ранен в борьбе за независимость Бразилии? В нашем славном роду не было мужа достойнее Фортунато, ему мы обязаны всем добром, какое имеем, даже теми жалкими крохами, что остались у меня. Сто раз права была бабушка Виржиния, когда гордо заявляла баронессам, графиням и toutes les autres graces[[66]](#footnote-66): «Мой черный Фортунато стоит в десять раз больше, чем toute cette bande de cocus[[67]](#footnote-67), ваши мужья и любовники, les imbeciles»[[68]](#footnote-68).

### 15

Воспоминания Забелы пробудили у Педро Аршанжо интерес к генеалогии знатных семейств, и скоро он знал о происхождении Гимараэнсов, Кавальканти, Авила и Арголо не меньше, чем о родственных связях тех, кто прибыл в Баию в трюме невольничьего корабля. Знал, кто были деды аристократов и с какого колена влилась в род негритянская кровь.

Перевалив на шестой десяток, Педро Аршанжо продолжил свои штудии: учился, читая книги у себя в мансарде или в «Лавке чудес» (там, в комнате Тадеу, он хранил большую часть своей библиотеки), учился, живя полной жизнью в самой гуще народа. Жил он жадно, как молодой человек, никто не дал бы ему его пятидесяти лет. Занимался капоэйрой, проводил ночи без сна, бражничал, не знал удержу в любовных утехах. После Розалии, а может, еще при ней, он снял комнату для Коле, семнадцатилетней девчонки, и вскоре она родила сына. Мужчину, как всегда. Дочерей у Аршанжо не было ни одной, если не считать «дочерей святого» на террейро.

Женщины навещали его в «Лавке чудес», где с уходом Розы де Ошала прекратились представления и праздники. Лидио, так и не примирившийся с разлукой, невыносимо страдал. Эта боль рассасывалась у него медленно, до конца не прошла никогда. Прожив с Розой пятнадцать лет, рисовальщик чудес так и не нашел женщины, которая изгнала бы из его тоскующей души образ Розы де Ошала.

Стоящая в спальне деревянная статуэтка, вырезанная сантейро Мигелом, другом Дамиана, мало похожа на Розу. Она изображена голой, у нее высокая грудь и округлые бедра. Самому Лидио, единственному, кто видел ее без одежды, не удалось запечатлеть на холсте великолепие ее тела, этого чуда из чудес, а уж попытка воплотить в дереве красоту, постигнутую лишь воображением, была со стороны ваятеля святых слишком большой дерзостью. Куда девались алчущие поцелуя губы? Где сладострастный огонь линий ее тела? В бессоннице ночей Роза отделяется от холста и дерева, танцует в лунном свете.

В «Лавке чудес» и на улице, в веселых домах и меблированных комнатах кумовья смеялись и пели в кругу молодых женщин на танцевальных вечерах и пасторилах, на праздниках и пирушках; с ними по-прежнему были гитара и флейта, Розы — не было. Как бы ни ублажали Лидио, тоска его не исчезала: кто обладал Розой, никогда не сможет ее забыть, заменить другой. А для Педро Аршанжо любовная тоска началась много раньше. «Не знаешь ты, милый мой кум Лидио, чем я заплатил за то, чтоб сохранить твою дружбу».

В «Лавке чудес» многое изменилось. Типография разрослась, захватила большой зал и старую пристройку. Работы прибавилось настолько, что теперь у местре Лидио не хватает времени даже на рисование чудес. Когда он получает заказ, выполнять его приходится по воскресеньям, неделя и так коротка для типографских дел.

Но как бы там ни было, «Лавка чудес» оставалась центром народной жизни, шумным собранием, где делились мыслями, заботами, свершениями. Здесь скрывались от преследования «отцы и матери святого», здесь было хранилище ценностей, спасенных от погрома во время налета полиции на террейро, здесь жрец Прокопио залечивал спину, исполосованную в полиции ударами хлыста. На дверях «Лавки чудес» теперь уже не висит афиша, возвещающая вечера декламации и танца, самбы и матчиша. Манэ Лима и Толстая Фернанда блистают на других площадках. И театр теней уже много лет не существует. В последний раз Толстячок и Лысый обменивались оплеухами из-за Лили Соски, когда Забела пожелала посмотреть «назидательное ауто о мнимой дружбе».

— Quellе horreur![[69]](#footnote-69) Это же свинство, вы просто des sales cochons[[70]](#footnote-70)! — восклицала старуха, до колик насмеявшись бесстыдству балаганного представления.

— Мы долгое время только на этих куклах, на их бесстыдстве и держались, — пояснил Аршанжо. — Они нас кормили.

— Все же сказывается, что вы из самых низов, — заметила графиня.

— А в верхах разве не то же самое? Или там в таких делах чистота да благородство?

Забела пожала плечами: он прав, грязь — везде грязь, дружба продается за медный грош.

Сам он не то что за грош, за бесценное сокровище — любовь Розы де Ошала — друга не предал. «На том стоял и стою. Если я в чем-то изменился — а это так и есть, — тут и говорить нечего, если какие-то ценности для меня обесценились и их место заступили другие, если какая-то часть прежнего меня отмерла, — вере своей я не изменил и от того, чем я был, не отрекаюсь. В том числе от грязи и непристойностей, что показывает театр теней. В груди моей слилось и перемешалось все. Эй, послушайте меня, Лидио, Тадеу, Забела, Будиан, Валделойр, Дамиан де Соуза, заступник народный и мой сын! Я хочу только одного: жить, понять жизнь, любить людей, всех, весь народ».

Годы идут, нет-нет да и появится седой волосок, ляжет морщинка на гладкой коже. Педро Аршанжо в ладно сидящем на его фигуре отглаженном костюме идет своей обычной походкой — слегка вразвалку — по Пелоуриньо в направлении Террейро Иисуса. В лаборатории паразитологии медицинского факультета профессор Силва Виража изучил и описал шистозому, стал всемирно известным. Здесь, в этом зале, ученый работает, вносит свой вклад в изучение дизентерии, тугументарного лейшманиоза, микозов, тропических болезней. Педро Аршанжо идет просить Силву Виража оказать ему честь: вместе с профессором Бернаром из Политехнической школы быть свидетелем на венчании Тадеу.

Приближается день рождения Лу, ее совершеннолетие. Несколько месяцев девушка провела в изгнании, на фазенде, вдвоем с матерью. Потом ее привезли обратно в город, надеясь, что она заинтересуется каким-нибудь достойным претендентом на ее руку. В долгих беседах с Аршанжо, Лидио, Забелой она обсудила свой план действий в целом и мелочах.

— Раз уж они не хотят уступить, другого выхода нет. Впрочем, противится по-настоящему только папа. Если б дело было за мамой, я бы ее уговорила, но она на все глядит глазами нашего старика, а уж полковник Гомес умеет стоять на своем. — В голосе Лу чувствовались любовь и восхищение. — Он того и гляди лишит Астерио тех денег, что посылает ему ежемесячно, только из-за того, что тот — за нас.

Астерио написал отцу, что одобряет брак, и тепло отозвался о Тадеу, которого он уважает и любит как брата. «Кто просил твоего совета? — в сердцах вопрошает фазендейро в ответном письме. — Моя дочь выйдет за того, кого ей выберу я по своему вкусу».

Кстати, уж и выбрал, судя по частым приглашениям к обеду или ужину доктора Руя Пассариньо. Преуспевающий адвокат, представляющий крупные фирмы, человек солидный и уважаемый, Руй Пассариньо до тридцати шести лет не успел влюбиться, погрязнув со студенческого возраста в деловых бумагах и тяжбах, так что его считали безнадежным холостяком. Как-то на мессе в церкви Святого Франциска увидел огромные глаза и светлые локоны Лу, и образ этот стал тревожить его сны. Потом ему случилось увидеть девушку еще два-три раза. Рассказал о юной красавице своей матери-вдове. Дочь Гомесов? Да, она хорошенькая, но не такая уж юная, сынок, ей минуло двадцать, в самой поре девица. Семья неплохая, денег — девать некуда, огромное поместье, тысячи голов скота, целые улицы доходных домов в Канеле, Барбальо, Лапинье, — словом, если разобраться, девочка Гомесов — идеальная невеста для непристроенного сына.

Мать доктора Руя Пассариньо рассказала доне Эмилии об увлечении сына, и они договорились свести молодых людей, устроив совместный ужин. Ужин, обед, еще ужин, еще обед — почтенные матроны подвели доктора Руя, чуть ли не без его участия, к порогу сватовства. А как же Лу? Вежлива, любезна, но не более. Чтобы позабавить Забелу, она изображала, как незадачливый претендент на ее руку ищет лазейку для решительного объяснения и ничего не может поделать, не знает, как подойти. Какой удар ждет беднягу!

На последней неделе перед приездом Тадеу были обговорены все возможные осложнения, подтянуты все винтики. Педро Аршанжо посетил профессора Бернара, передал приглашение. Долго совещался в крытой галерее монастыря с фреем Тимотео; у того борода поседела, но смех по-прежнему звенел молодо. Через посредничество Дамиана, майора Дамиана де Соузы, Аршанжо получил аудиенцию у судьи Сантоса Круса, который пригласил его к себе домой. Беседовали долго. Осталось только поговорить с Силвой Виража.

Педро Аршанжо ходит по канцеляриям и ризницам, добывая свидетельства о рождении, о крещении, наведывается то к одному другу, то к другому с приглашением и разговором, изучает законы о браке — готовит свадьбу. Свадьбу вопреки желанию родителей, но по закону, эх, жаль, не будет яркой романтики похищения и бегства на рассвете, не будет бурнуса, парусника, бешеной скачки, погони и схватки! Дело того стоило, это было бы и развлечение, и хороший урок самодовольным упрямцам родителям. Педро Аршанжо совещается с Будианом и Валделойром, вместе они отбирают надежных людей, виртуозов капоэйры, одно имя которых бросает в дрожь даже самых бравых полицейских агентов. На всякий случай — мало ли что может произойти.

### 16

У профессора Вилвы Виража он застал какого-то худощавого мужчину лет тридцати, с рыжими усами и эспаньолкой; нервные пальцы, открытое лицо, проницательный взгляд.

— Здравствуйте, Педро Аршанжо. Позвольте представить вам доктора Фрагу Нето, который будет заведовать кафедрой после моего отъезда. Он приехал из Германии, а я туда еду, такова жизнь. — Профессор обернулся к коллеге. — Это Педро Аршанжо, мы о нем уже говорили, это человек, которого я уважаю, очень уважаю. У нас на факультете он числится педелем по кафедре паразитологии, но фактически это большой эрудит в антропологии, лучше его народные обычаи Баии не знает никто. Впрочем, вы же читали его книги.

Педро Аршанжо смущенно пробормотал:

— Профессор слишком добр ко мне, я всего-навсего любитель...

— Да, читал, и они мне очень понравились, особенно последняя книга. Наши взгляды во многом совпадают. Уверен, мы будем друзьями.

— Для меня это большая честь, доктор Фрага. А когда вы, профессор, уезжаете?

— Месяца через два. Сперва в Сан-Пауло, потом — в Германию.

— Надолго, профессор?

— Там и останусь, Аршанжо. Нет, не в Германии, туда я еду, чтобы приобрести оборудование для лаборатории, которую буду строить в Сан-Пауло, где и обоснуюсь. Условия отличные, там я смогу продолжать мои исследования. А здесь это невозможно, средств не хватает даже на самые необходимые материалы. Доктор Фрага был настолько любезен, что оставил превосходное место в Германии и из чистого патриотизма принял мое предложение участвовать в конкурсе на должность доцента и обеспечить продолжение нашей работы. Здесь он может рассчитывать на сотрудников кафедры, таких как вы и Арлиндо, а также на студентов.

— В том случае, разумеется, если я пройду по конкурсу.

Ученый рассмеялся:

— Пройдете, голубчик, даже если придется схватиться врукопашную.

Конкурс на замещение должности приват-доцента не предполагал диспута между претендентами и обычно не вызывал столько шума и волнений, как конкурс на заведование кафедрой. Однако на этот раз актовый зал медицинского факультета был переполнен, и получилась настоящая баталия: крики возмущения, аплодисменты, свист, ругань, толчея, неразбериха и даже драка.

Дело в том, что молва о Фраге Нето, молодом враче и ученом, к моменту его приезда из Европы разошлась уже довольно широко. Сам профессор Силва Виража, авторитет которого был непререкаем, пригласил Фрагу Нето участвовать в конкурсе и заменить его на кафедре. Будучи сыном состоятельных родителей, Фрага Нето после окончания университета уехал в Европу. Проведя по нескольку месяцев в Париже и Лондоне, он обосновался в Германии и занялся исследованиями в той же области и в таком же направлении, что и Силва Виража, «я — рядовой ученик великого учителя».

На конкурсе разгорелись страсти, давно уже здесь не видели такого напористого и крамольного кандидата на должность приват-доцента. Члены конкурсной комиссии оторопели от поистине неожиданных посылок и тезисов соискателя. Не был шокирован лишь один человек — сам заведующий кафедрой паразитологии профессор Силва Виража. Он потирал руки в полном удовольствии, слушая, как воинственный соискатель громит устарелые идеи, привычные концепции и даже социальные устои. Фрага Нето стоял, гордо вздернув рыжую бородку, воздев перст, и казался торжествующим исчадием ада.

Шум и скандал были вызваны не диспутом по медицинским вопросам — речь шла о тропических болезнях, — а тезисами социологического и политического характера, один другого ужасней, которые кандидат в доценты пачками бросал в лицо членам комиссии и Корпорации медиков.

Начал он с того, что объявил себя материалистом, хуже того — материалистом-диалектиком, последователем Карла Маркса и Фридриха Энгельса — «величайших философов нашего времени, открывших новую эру в истории человечества». Ссылаясь на этих корифеев, он требовал для полного искоренения тропических болезней немедленных радикальных преобразований в экономическом, общественном и политическом строе Бразилии. «Пока мы остаемся полуфеодальной аграрной страной, экономика которой зиждется на латифундиях и монокультуре, не может быть и речи о серьезной борьбе с тропическими болезнями. Наш главный недуг — отсталость, он-то и порождает все остальные». Многим профессорам сделалось не по себе: ведь они совмещали служение науке с землевладением, работу на кафедре — с выращиванием какао и разведением скота.

Дебаты достигли невиданного накала, дело дошло чуть ли не до оскорблений. С одним из членов конкурсной комиссии случился нервный припадок, он в истерике кричал: «Вздор! Вздор!»

Студенты, разумеется, взяли сторону соискателя, образовали шумную клаку, бурно аплодировали смелым выпадам Фраги Нето: «Отсталость нашей экономики — вот главный источник проказы, черной оспы, тропической лихорадки, всех эндемий и эпидемий в нашей многострадальной стране. Без радикального изменения строя нельзя всерьез говорить о мерах по искоренению ряда болезней, о профилактике, о систематической борьбе с заболеваниями, с недугами, терзающими наш народ, — нельзя говорить о здравоохранении вообще. Обещать, что такие меры будут приняты, — глупость, если не насмешка и издевательство. Пока мы не перестроим нашу Бразилию, наши исследования, какими бы оригинальными и глубокими они ни были, так и останутся разрозненными усилиями немногих талантливых энтузиастов, готовых на жертвы во имя науки. Все остальное — пустая схоластическая болтовня. Такова правда, нравится она нам или нет».

Но самая главная сенсация ждала публику во время защиты диссертации. Соискателю было мало шума, поднятого его дерзкими утверждениями, он стал ссылаться на одного из факультетских педелей как на авторитетного ученого. Величал его «эрудированным антропологом с широким социологическим кругозором», процитировал целую страницу из книжонки, которую не так давно тиснул этот самый Педро Аршанжо, черномазый, лезущий в ученые: «Условия жизни народа в Баие ужасны, нищета его чудовищна, медицинская помощь и санитарная гигиена отсутствуют вовсе, но ни правительство, ни местные власти не обращают на это ни малейшего внимания. Выжить в таких условиях может лишь народ, наделенный необычайной силой и выносливостью. A раз это так, сохранение обычаев и традиций, организация обществ, школ, процессий, раншо, терно и афоше, создание танцевальных и песенных ритмов, всего, что свидетельствует об обогащении культуры, — это настоящее чудо, возможное лишь благодаря метисации, ничем другим объяснить его нельзя. От смешения кровей рождается порода людей настолько талантливых, выносливых и сильных, что они побеждают нищету и отчаяние, творя повседневно красоту, утверждая жизнь». С кресел, отведенных членам Корпорации, послышалось яростное рычание: «Я протестую!» Это поднялся багровый от злости профессор Нило Арголо:

— Эта цитата — оскорбление высокому собранию, всему факультету!

Профессор Арголо не ограничился этим кратким заявлением: в прениях он произнес уничтожающую речь, полную благородного гнева. Да вот беда, никто его не слушал: студенты кричали «Браво!» Фраге Нето, профессора говорили, перебивая друг друга, каждый твердил свое, слышались ругательства, шиканье, свистки — сущий ад. Конкурс закончился полной победой кандидата — лишь два-три профессора снизили ему балл, — и студенты, ликуя, подняли его на руки.

Профессор Силва Виража без колебаний согласился быть свидетелем на гражданском бракосочетании Тадеу. Он знал молодого инженера еще мальчиком — тот не раз дожидался крестного в лаборатории паразитологии — и был осведомлен обо всех трудностях, которые Тадеу пришлось преодолеть на пути к диплому. Профессор не раз давал мальчику денег на трамвай, на мороженое, на кино. Знал он и семью Гомесов: «Неотесанные фазендейро из сертана, дикие и отсталые, по интеллекту намного ниже Тадеу. Но если юноша и девушка любят друг друга, остальное не имеет никакого значения. Пусть женятся и плодятся».

### 17

Славный был скандал, не одну неделю об этом событии судили-рядили в Баие все, кому не лень; только Второго июля празднества в честь столетия независимости Бразилии отвлекли от него всеобщее внимание. Велись жаркие споры, порой доходившие до ругани, будто это был первый случай, когда мулат и белая девушка сочетались браком. Невеста — белая баиянка, то есть не без капельки негритянской крови, по мнению знающей толк в этом деле графини Изабел Терезы, большого друга венчающихся — Забелы. Жених — темный мулат, «совсем жгучий брюнет», если воспользоваться миролюбивым выражением доны Эмилии.

Такие браки становились уже заурядным явлением. Черно-белые и бело-черные пары, вступавшие в церковь об руку с родителями, уже не вызывали иных чувств, кроме обычного умиления союзом любящих сердец. На этот раз, однако, не отец вел под руку невесту, неф и алтарь не сияли огнями. Обе церемонии — гражданская и церковная — состоялись в доме друзей при малом числе приглашенных, в атмосфере нависшей над молодыми опасности. Свадьба Тадеу и Лу разожгла споры и пересуды в Баие.

Могущественные Гомесы, владельцы крупной латифундии в сертане, видные представители баиянской элиты, сочли сватовство Тадеу оскорблением, наотрез отказали черному и небогатому претенденту. Закрыли перед ним двери своего дома, ранее столь гостеприимного, запретили видеться с дочерью, не признав заслуживающим внимания капитал жениха: талант и упорство, поэтический дар, умение делать труднейшие математические расчеты, диплом с отличием, блестящую карьеру в Рио, где он стал правой рукой Пауло де Фронтина.

Браво, полковник Гомес! Давно пора главам порядочных семейств положить конец преступному смешению кровей, вырождению белой расы в Бразилии, пора дать отпор негритне! Так ликовали Нило Арголо, Освалдо Фонтес и их воинствующие приспешники, рукоплеща полковнику.

Прискорбный и бесполезный поступок, расовая ненависть не даст урожая на земле Бразилии, любая стена предрассудков рухнет под натиском жизни — отвечали им те, кто думал как Силва Виража, Фрага Нето, профессор Бернар.

Такие споры да еще красота невесты, блистательная карьера жениха, их верность запретной любви — все это окружило свадьбу ореолом волнующей романтики. О ней говорил весь город.

Тадеу приехал заранее, но почти нигде не показывался, о том, что он в Баие, знали немногие. С невестой он встретился в доме Забелы, вместе обсудили все до последних мелочей, «в таком согласии, ну просто прелесть», как объявила местре Аршанжо старая графиня, которая все меньше могла двигаться, но зато все больше говорила.

Лу рассказала жениху о настойчивых ухаживаниях доктора Руя Пассариньо, постоянного гостя и собеседника ее отца. Адвокат держался скромно, внимание к ней проявлял деликатно, с тактом. Не навязывался, не торопился с объяснением, ограничивался намеками и долгими взглядами. Вести свое дело он доверил доне Эмилии, и та рассыпалась в похвалах претенденту. «По уши влюблен, дочь моя, ждет твоего слова, жеста, знака согласия выслушать его предложение. Тебе, в конце концов, вот-вот стукнет двадцать один. Все твои подружки по коллежу давно замужем, растят детей, а Марикота — та успела и мужа оставить, вот ужас-то, прости господи! Лучшего мужа, чем доктор Пассариньо, тебе не найти, он и отцу по душе, и мне, просто счастье подвалило, ну, будь умницей, не упрямься». День за днем одна и та же материнская песня, один и тот же вопрос в глазах адвоката.

Накануне для рождения Лу доктор Пассариньо пришел после ужина и, вместо того чтобы расположиться в гостиной с полковником да побеседовать о политике и ценах, попросил девушку уделить ему минутку-другую для разговора наедине. Они вышли в сад и сели на скамью под развесистым манговым деревом. В небе — луна, окруженная звездами, внизу — воды залива, старый форт, темные силуэты кораблей. Ночь для влюбленных. Бакалавр понятия не имел, как нужно делать предложение, и чувствовал себя не в своей тарелке, но наконец, после неловкого молчания, превозмог свою робость:

— Не знаю, говорила ли вам что-нибудь дона Эмилия, у которой я просил разрешения обратиться к вам. Я уже не мальчик...

— Доктор Руй, мама мне сказала. Я польщена и питаю к вам дружескую симпатию — вы вели себя безупречно. Именно поэтому прошу вас не продолжать. Я уже дала слово, у меня есть жених, и скоро, очень скоро будет наша свадьба.

— Дали слово? Жених? Дона Эмилия мне ничего такого не говорила! — Пораженный адвокат смог наконец посмотреть в ее большие, с поволокой глаза.

— Неужели никто не рассказал вам? Папа и мама не в счет, они об этом никогда не упоминают. Но о сватовстве было много разговоров.

— Ничего я не слыхал, я живу уединенно, пересуды — не моя стихия.

— Тогда я расскажу вам все, это лишний раз подтвердит мое к вам уважение. Часть из того, что я скажу, — тайна.

— Я порядочный человек, сеньорита, и адвокат, я ношу в себе немало тайн.

— Почти год тому назад, точнее, восемь месяцев, моей руки просил доктор Тадеу Каньото, инженер того же выпуска, что мой брат Астерио. Мы любим друг друга с детства.

— Тадеу Каньото, слыхал.

— Тадеу отказали, потому что он — мулат. К тому же бедный, вышел из низов, учился на деньги, что собирали его друзья. Отец ему отказал, а я люблю Тадеу и считаю себя его невестой. Не прерывайте меня, слушайте дальше. Завтра мне исполняется двадцать один год, и завтра же я выйду из дома, вот через эту дверь, и отправлюсь под венец. Думаю, что, рассказав вам всю правду, я отблагодарила вас за честь, которую вы оказали мне вашим предложением. Излишне говорить, что это должно остаться между нами.

Адвокат посмотрел на море в лунном свете. Откуда-то доносились стук барабана в ритме самбы и песня, что поют на капоэйре:

Тико-тико-ток, платок с кружевами,

Милого нет, не останусь я с вами,

Не ищи лимон в траве под ногами,

Тико-тико-ток, платок с кружевами.

— Не тот ли это Тадеу Каньото, что написал десятисложным стихом всю экзаменационную работу по математике?

— Тот самый.

— Я много о нем слышал. Говорят, у него огромный талант, а недавно один из моих друзей, вернувшись из Рио, рассказал, что инженер Каньото пользуется особым расположением доктора Пауло де Фронтина. — Адвокат остановился, издалека донеслась песня: «Милого нет, не останусь я с вами». — Не скажу, что я рад, я надеялся иметь честь просить вашей руки, чтобы назвать вас своей женой и подругой. Вернусь к моим бумагам, книгам и консультациям, я привык к холостой жизни, не знаю, был ли бы я для вас хорошим мужем. Позвольте заранее поздравить вас с бракосочетанием и выразить восхищение вашей смелостью. Не думаю, что смогу быть вам чем-нибудь полезен, вам и доктору Тадеу. Если все же мои услуги вам понадобятся, располагайте мною.

— Большое спасибо. Другого отношения я от вас и не ожидала.

— Все в порядке, доктор? — спросила дона Эуфразия, когда адвокат, любезный и корректный, как истинный джентльмен, поцеловал ей на прощание руку.

— В полном порядке, дона Эуфразия, все в полном порядке.

Адвокат, хотя и был обескуражен, вместе с тем чувствовал какое-то облегчение: что ж, видно, он и впрямь прирожденный холостяк.

— До завтра, доктор. Приходите ужинать с Лу.

— Спасибо. Доброй ночи.

Лу засыпали вопросами, она отвечала уклончиво, нервно улыбалась. Дона Эмилия доложила полковнику: все в порядке, завтра ждем новостей.

Дождались новостей, больших да нежеланных. С утра пораньше Лу, которая достигла совершеннолетия и стала сама себе хозяйка, ушла из дома и не вернулась. Родителям оставила убийственно лаконичную записку: «Не сердитесь на меня, я выхожу замуж за человека, которого люблю, прощайте». Полковник Гомес бросился в контору доктора Пассаринто, полный решимости любым способом не допустить бракосочетания, вернуть дочь, а Тадеу засадить за решетку.

Какое бы то ни было судебное преследование исключено, ответил полковнику бакалавр. Лу — совершеннолетняя, по закону вправе поступать как ей заблагорассудится, в том числе выйти замуж, за кого пожелает. Жених не устраивает родителей? Жаль, конечно, но ничего сделать нельзя, лучше всего — помириться с женихом, презрев разногласия, наверняка несущественные.

Ну уж нет! Полковник зашагал из угла в угол крупными шагами. Подлый негр! Его пустили в дом как однокашника Астерио, частенько подкармливали, а он этим воспользовался, чтобы вскружить голову девочке, ребенку. Безродный мулат, ни отца, ни матери, ничтожество — вот что такое этот Тадеу Каньото!

— Простите, полковник, но доктор Тадеу Каньото вовсе не ничтожество. Это крупный инженер с отличной репутацией и большим будущим. С другой стороны, Лу — не девочка, ей двадцать один год, и если уж она покидает отчий дом, чтобы повенчаться с доктором Тадеу, значит, любит его по-настоящему.

— Метиса!

— Извините меня, полковник, не далее как вчера я сам домогался руки Лу и не скрывал этого ни от вас, ни от доны Эмилии, вы оба одобрили мою кандидатуру, чем я весьма горжусь. Меж тем, полковник, я ведь тоже метис, но это не...

— Метис? Вы?

— Вас пугает не раса, а цвет кожи. Моя бабка по отцу была мулатка, причем очень темная, полковник. Я получился белым, но мой брат, врач в Сан-Пауло, пошел в бабушку — он очень миловидный смуглый брюнет. Кстати, женат на дочери очень богатого итальянца. В Баие, полковник, трудно сказать, кто из нас не метис.

— В моем роду...

— Полковник, если уж ваша дочь любит доктора Тадеу, откажитесь от предрассудков и благословите молодых.

— Никогда! В тот день, когда моя дочь станет женой этого черного, для меня она умрет, погибнет безвозвратно.

— Но появятся внуки...

— Доктор, не говорите мне таких ужасных вещей. Я помешаю свадьбе, чего бы мне это ни стоило. Я пришел предложить вам быть моим поверенным, чтобы вы помогли мне упрятать негодяя в тюрьму, а Лу поместить в монастырь.

— Я уже сказал вам, полковник, что ничего сделать нельзя, закон...

— Да что мне закон! Вы же адвокат, вы знаете, что законы писаны не для всех. Тот, у кого есть средства, может обойти закон. Я даю вам полномочия тратить, сколько потребуется.

— Это невозможно, полковник. Закон здесь недвусмыслен. Но главное — тут есть обстоятельство, которое вам неизвестно. С сего дня я — адвокат вашей дочери Лу, она доверила мне защиту ее прав совершеннолетней дееспособной гражданки от любых действий, направленных против ее бракосочетания с доктором Тадеу Каньото. Следовательно...

Полковник обратился к влиятельным друзьям, угрожал расправой, осаждал прошениями власти. Агенты получили приказ отыскать Тадеу и доставить в полицию. Они нашли его в «Лавке чудес» за беседой с адвокатом Пассариньо, который обегал полгорода, чтобы сообщить ему о намерениях фазендейро.

— Вы, кажется, мой соперник? — улыбнулся Тадеу, пожимая руку адвокату.

— Думаю, теперь я ваш защитник. Не так-то просто вас найти, доктор.

Во время разговора появились полицейские агенты. Тадеу отказался идти с ними:

— Я не совершил никакого преступления, в полиции мне делать нечего.

— Добром не пойдете — поведем силой.

Адвокату удалось разрядить обстановку, он изъявил готовность самому пойти к начальнику полиции: «Я с ним хорошо знаком, вместе учились и сейчас поддерживаем дружеские отношения».

Явившись в кабинет начальника полиции, доктор Руй осведомился, какова функция полицейского аппарата: обеспечивать выполнение закона или нарушать его, содействуя актам беззакония и произвола?

— Не горячитесь, дорогой мой. Я получил десяток прошений, полковник Гомес требует засадить своего обидчика в каталажку и как следует проучить, я же велел привести этого субъекта сюда лишь затем, чтобы он дал объяснения. В конце концов, речь идет о похищении несовершеннолетней девушки из весьма уважаемой семьи.

— Похищение! Несовершеннолетней! Лу сегодня исполнился двадцать один год, юридически она такая же совершеннолетняя, как вы или я. Из дома ушла сама, оставила записку. С этим ясно, а теперь хочу спросить: вы знаете, кто этот «субъект»? Нет? Так я вам скажу. Это инженер Тадеу Каньото из группы Пауло де Фронтина, его правая рука. У профессора Бернара из Политехнической школы лежит в кармане поручение Пауло де Фронтина представлять его как посаженого отца на свадьбе доктора Тадеу Каньото с дочерью полковника Гомеса.

— Да что вы говорите! Я-то думал, это заурядный соблазнитель.

Адвокат продолжат сыпать вопросы: вы знаете, где сейчас девушка? В доме профессора Силвы Виража. Вы пошлете забрать ее оттуда? Начальнику полиции мало неприятностей и нареканий в связи с произволом комиссара Педрито Толстяка? Надо еще какой-нибудь мороки? Он, Пассариньо, адвокат инженера, отсоветовал доверителю посылать телеграмму Пауло де Фронтину, чтобы сообщить об угрозах полиции.

— Я вовсе не угрожал. Послал пригласить его сюда...

— Послали двух головорезов, приказав привести его в полицию. Не окажись там меня, они притащили бы к вам доктора Тадеу Каньото волоком. Представляете себе последствия? Стоит ли рисковать должностью, потакая капризам полковника из сертана? Стоит Пауло де Фронтину шевельнуть пальцем — сам губернатор вам не поможет. Бросьте это дело, дружище.

Начальник полиции велел сообщить полковнику, что сожалеет, но он бессилен, дело не подлежит компетенции полицейских органов. Отозвал агентов. Должностью он дорожил — на проценты от лотереи уже успел приобрести дом в Грасе.

В отчаянии полковник грозился, что будет действовать сам, что вместо свадьбы будут похороны, что он «исполосует хлыстом черную рожу». Но не сделал ничего, уехал на фазенду, когда о предстоящем бракосочетании объявили муниципалитет и церковь Святого Франциска. До плантаций и пастбищ не доносилось пересудов, сплетен, хихиканья и аханья кумушек. Дело получило огласку, в Баие ни о чем другом не говорили. Бабка невесты, мать доны Эмилии, старая Эуфразия, уже сильно одряхлевшая, отказалась ехать с дочерью и зятем в добровольное изгнание, в сельскую глушь. Она не переносит усадебную жизнь, ее последнее и единственное удовольствие — потолковать с людьми. Так и осталась в городском доме с прислугой и шофером, в поместье ее силком не затащишь.

Бракосочетание совершилось через несколько дней в самом тесном кругу. Не в доме Забелы, как было намечено раньше. Приютив Лу по просьбе Педро Аршанжо, супруги Виража предложили также свой особняк и винный погреб для свадебного торжества. Лу боялась обидеть старую графиню, но Тадеу ее убедил: «Дорогая, так будет лучше во всех отношениях». А Забела зато уж разоделась по высшему классу и казалась картинкой из журнала мод конца XIX века. Венчал молодых фрей Тимотео, а доктор Сантос Крус, как раз в то время ведавший регистрацией браков, узаконил их союз. Оба выступили с краткими речами.

Аббат, твердо выговаривая португальские слова — словно тесал камни, — восхвалил союз любящих сердец, благословенное единение рас, различных по крови и культуре. Не отстал от него и судья, блестящий оратор, автор сонетов, опубликованных в журналах: в высоких лирических тонах воспел он любовь, ломающую расовые и социальные барьеры, чтобы создать мир красоты и гармонии. Прослезившаяся Забела сказала, что речь судьи — это «гимн любви, поэма, une mervelle»[[71]](#footnote-71).

На подступах к дому Силвы Виража, в дверных нишах и на углах, внимательно и настороженно несли дежурство лучшие в Баие мастера капоэйры. Оба корифея, Будиан и Валделойр, охраняли вход в дом. Хоть полковник и отбыл в сертан, Педро Аршанжо принял необходимые меры предосторожности. Не хотел рисковать.

Из сплетниц на свадьбе была только бабка невесты. Горя желанием посудачить о безумстве внучки — «глупая девчонка, оставить семью из-за черненького голодранца», — дона Эуфразия направилась к Забеле, подруге юных лет, да еще какой подруге!

— Ах, дона Эуфразия, мадам уехала на свадьбу. Вот хоть одним глазком бы глянуть! — Служанка приплясывала от возбуждения.

— На свадьбу? На свадьбу Лу, моей внучки? Так она сегодня? А где? В доме Силвы Виража? Быстрее, шофер, может, успею хоть что-нибудь увидеть!

Когда она вошла, фрей Тимотео благословлял молодых, после чего они обменялись поцелуем.

Забела увидела в дверях знакомую фигуру:

— Non de Dieu[[72]](#footnote-72), никак это Эуфразия! Послушайте, chers amis[[73]](#footnote-73), пришла родственница, la grande-mere[[74]](#footnote-74) желает благословить внучку. Entrez[[75]](#footnote-75), Эуфразия, entrez!

Какую-то долю секунды старуха колебалась. Потом улыбнулась хозяйке дома, шагнула в гостиную и взглянула на внучку: чудо как хороша в подвенечном платье, с фатой и венком на белокурых локонах, улыбаются ее губы, улыбаются огромные глаза, а молодой муж такой представительный, в отлично сшитом фраке, лицом серьезный, темноват немного, ну так что ж! Пошла к новобрачным. «А, прах его побери, этого зануду зятя! В конце концов, Тадеу — не первый мулат в постели у женщины нашего рода. Кому это знать, как не мне, верно, Забела?»

Из-за спин гостей Педро Аршанжо и Лидио Корро увидели, как Тадеу исчез в объятиях бабушки Эуфразии Марии Леал да Пайва Мендес.

### 18

Священная война велась комиссаром Педрито Толстяком из года в год, и понемногу упорное сопротивление жрецов и жриц стало слабеть.

Преследование получило свое отражение в хронике народной жизни Баии: в куплетах круговой самбы, в песнях капоэйры:

Не пойду на кандомбле,

Колдовство не в моде,

Кому нужен заговор,

Тот пускай и ходит.

Многие бабалориша и налориша переправляли аше и фигурки богов куда-нибудь за город, в труднодоступные места, подальше от центра и прилегающих к нему кварталов. Другие собрали ориша, инструменты, одеяния, батикумы[[76]](#footnote-76), ритмы, песни, танцы и отбыли в Рио-де-Жанейро, так вот самба и попала в бывшую столицу — в потоке беженцев из Баии. Террейро поменьше, не выдержав преследований, прекратили свое существование.

Лишь немногие из них продолжали борьбу не на жизнь, а на смерть. На этих крупных террейро, хранивших верность традициям с незапамятных времен, устраивались десятки праздников в году. В дни радений гремели атабаке, призывая богов-ориша, но участникам торжества грозили налет полиции, тюрьма, побои:

Кончайте танец,

Педрито идет,

Вот он споет вам,

Он вам споет.

Полицейские агенты, иногда под предводительством самого Педрито, рыскали всю ночь в поисках кандомбле и батуке, дубинка трудилась вовсю:

Тряси погремушку,

В барабан бей,

Быстрей —

Педрито

У дверей.

С 1920 по 1926 год, в царствование всемогущего комиссара, все без исключения африканские обряды и обычаи, от продажи баиянских яств до поклонения богам-ориша, подвергались постоянному и все более грубому насилию. Комиссар желал покончить с народными традициями с помощью дубинки, сабли, а то и пули. Круговую самбу оттеснили неизвестно куда, в глухие переулки, в царство жалких лачуг. Почти все школы капоэйры закрылись. Будиан какое-то время скрывался, Валделойр попался в лапы гнусной шайке и был избит. С капоэйристами обычно обходились по-особому, агенты не смели нападать на них в открытую, попробуй-ка. Всего верней — издали, выстрелами в спину. По утрам то и дело находили на улицах трупы капоэйристов, изрешеченные пулями, — дело рук шайки головорезов. Так окончили жизнь Неко Дендэ, Свиная Щетина, Жоан Секач, Кассиано Колпак.

Жертвой террора в ту жестокую пору оказался наряду с другими жрец Прокопио Шавьер де Соуза, бабалориша одного из самых крупных террейро в Баие. Он не покорялся Педрито, а тот преследовал и наказывал его без передышки. Много раз Прокопио бросали в тюрьму, спина его была исполосована багровыми рубцами — следами хлыста из сыромятной кожи. Ничто не могло сломить его, он так и не сдался. Народ пел на улицах:

Прокопьо плясал на террейро,

Ждал, чтоб пришел святой,

Пришел комиссар Педрито:

«А ну-ка, пойдем со мной!»

Шпорой петух уколет,

А мул лягнет копытом,

В танце — сила Прокопьо,

В дубинке — сила Педрито.

Прокопио не спрятал атабаке, не бежал в лес или в Рио-де-Жанейро. Круг праздников сузился, из широкого стал крошечным, оганы попрятались в ожидании лучших времен. Прокопио упорствовал:

— Никто не запретит мне славить моего святого.

Стоя перед Педрито Толстяком в полицейском комиссариате, весь в крови, едва прикрытый изорванной в лоскутья одеждой, он дерзко заявляет:

— Я — бабалориша, славлю моего святого, бога Ошосси.

— Ну что ты упрямишься, дуралей? Не видишь разве, боги твои ничего не стоят. Хочешь так и умереть под хлыстом?

— Я должен почитать моих ориша, в день их праздника бить в атабаке, это мой долг. Даже если вы меня за это убьете.

— Слушай, скотина безмозглая, я тебя отпускаю, но имей в виду: если заведешь свое кандомбле еще раз, это будет твое последнее шаманство, последнее!

— Раньше, чем назначено мне богом, я не умру. Ошосси защитит.

— Не умрешь? Всем вашим святым — грош цена, иначе они меня давно бы убили. Я их всех секу хлыстом, а вот живой, не умер. Что же это меня не убило твое колдовство?

— Мое колдовство доброе, я никогда не колдовал во зло.

— Слушай, мерзавец: святой, что в церкви, творит чудеса, на то он и святой. А ваши святые только устраивают безобразие, не святые — дерьмо. В тот день, когда я увижу чудо, сотворенное каким-нибудь из ваших ублюдков ориша, сразу же подам в отставку. — Педрито захохотал, ткнул рукояткой хлыста в истерзанную грудь негра. — На днях исполнится шесть лет, как я начал громить кандомбле, уничтожил почти все, остатки прикончу в два счета. И за все это время не видел, чтобы ориша сотворил чудо. Одна пустая болтовня.

Агенты подхватили его смех, «чудной этот доктор, наш доктор ничего не боится». Напоследок Педрито сказал:

— Слушай мой совет: закрывай террейро, выбрось барабаны, пошли в задницу своего святого — и я возьму тебя в полицию. У нас житье — что надо, спроси вот их. Если застучишь в барабан, тебе крышка. Я слов на ветер не бросаю.

— Никто не запретит мне славить моего святого.

— Попробуй — увидишь. Я тебя предупредил.

Дурной пример упрямства и непослушания, опасный и коварный огонь в ночи. Прокопио непреклонен, такое дерево не согнешь. Педрито обвел взглядом своих людей, «банду головорезов, убийц на службе у комиссара полиции». Командуя ими седьмой год, он знал, чего стоят доблесть и верность каждого из этих воинов славной когорты, паладинов священной войны. Настоящим бойцом, бесстрашным, надежным, как скала, карающей десницей комиссара, его послушным верным псом был только один из них — Зе Широкая Душа.

### 19

От пышных празднеств, которыми славилось когда-то террейро Иле Огунжа, остались каких-нибудь полдюжины старых жриц, до конца преданных своим богам, да десяток оганов. На празднике Ошосси даже не было алабэ[[77]](#footnote-77). Если бы не Ожуоба и Прокопио, некому было бы управлять оркестром. Поговаривали, будто бы комиссар Педрито грозил, если Прокопио откроет праздник, явится на террейро собственной персоной, и тогда берегись каждый, кого он там найдет. Он-де предупредил жреца: «Как застучишь в барабан, так ты и достукался».

В предместных кварталах все считали, что Прокопио пропал. Агенты на этот раз не удовольствуются взбучкой, арестами и разгромом капища. Им приказано покончить с бабалориша. Вопреки советам и предостережениям, упрямый Прокопио решил открыть террейро в день праздника тела Христова, день Ошосси, и почтить своего ориша. «Как же это я не отпраздную день своего святого? — сказал он Педро Аршанжо в „Лавке чудес“. — Даже если меня убьют, я обязан это сделать, иначе зачем было принимать скипетр бабалориша?»

Педро Аршанжо предложил организовать охрану террейро силами капоэйристов, которые заступили бы путь сбирам полицейского комиссара. За годы беспощадной войны агенты полиции убили многих смельчаков, одной из первых жертв был Мануэл де Прашедес. Кое-кто пал духом, бежал, некоторые притихли, бросили капоэйру. Но осталось еще немало бесстрашных, и Педро Аршанжо знал, где их найти. Прокопио от охраны отказался. Если уж придет комиссар, то пусть он найдет на террейро только бабалориша, «дочерей святого» и алабэ. Чем меньше народа, тем лучше.

Публики на празднике и в самом деле было мало, но действо получилось на славу. Святые не заставили себя ждать, пришли скопом: Шанго и Иансан, Ошала и Нанан Буроко, Эуа и Роко, Иеманжа — царица морей, Ошумаре в виде огромной змеи. В центре площадки — Ошосси, повелитель Кету, охотник за дикими зверями с луком и стрелами в правой руке, со скипетром — в левой. Окэ аро́! — приветствовал его Ожуоба Педро Аршанжо. Ошосси-Прокопио протанцевал к двери и там испустил свой воинственный клич. Ожуоба и девушки пели в такт движениям танцующего, все шло как надо, тихо-мирно. Окэ аро́, Ошосси!

Близкий рокот автомобильного мотора возвестил танцующему Прокопио его смертный час. Выполнение заданий определенного рода комиссар полиции Педрито Толстяк доверял только Зе Широкая Душа: в его огромном теле не было места для страха и сомнения, а уста не утруждали себя вопросами. Когда нужно было заставить навеки умолкнуть какого-нибудь смутьяна, Зе Широкая Душа не знал себе равных.

Как правило, Педрито не использовал Зе для расправы с безоружными людьми в несложных операциях, таких как разгон кандомбле, круговой самбы, раншо и батуке. Комиссар приберегал своего верного помощника, сторожевого пса, карающую десницу для самых опасных дел. Всякий раз, как предстояло встретить лицом к лицу заклятого врага, отъявленного убийцу либо политического противника, у которого меткий глаз и твердая рука, без Зе дело не обходилось. Так было, когда брали Зигобара: Зе Широкая Душа свалил бандита одной оплеухой. Когда в Коммерческом клубе журналист Америко Монтейро стрелял в комиссара полиции почти в упор, пистолет из руки стрелявшего выбил не кто иной, как Зе Широкая Душа, и он не задушил журналиста только потому, что Педрито пожелал расправиться с противником собственной тростью. «Отпусти-ка его, Зе, пусть он покажет свою храбрость без оружия!»

Зе поручалось также дежурство у подъезда дома свиданий Висензы в Амаралине: в свободные вечера Педрито выступал в роли соблазнителя замужних женщин, а рогоносцы порой бывают свирепы, доказательством тому служил шрам от удара ножом на животе комиссара полиции.

Сверх того, Зе Широкая Душа выполнял еще тайные приказы, ответственные задания, за которые хорошо платили. В придорожной канаве утром находили труп с размозженной головой или следами пальцев на шее. Когда Зе Широкая Душа поднимал могучую руку, у любого храбреца душа уходила в пятки. Гуга Марото был отчаянная голова, боец, лев. Но когда он ощутил на шее железные пальцы Зе, пал на колени, запросил пощады.

На операцию по разгону кандомбле Педрито взял его впервые. На случай сопротивления, впрочем маловероятного, прихватил еще Самуэла Коралловая Змея и Закариаса да Гомейю, у которых были особые счеты с кандомбле и ориша.

Педрито — в безупречном английском костюме, в панаме, с неизбежной тростью, держа в зубах длинный мундштук с дымящейся сигаретой, настоящий денди, — крикнул с порога:

— Прокопио, я тебя предупреждал!

В тоне комиссара Педро Аршанжо услышал смертный приговор своему другу. Среди агентов, ставших за спиной бакалавра, местре Педро узнал Зе Огуна, которого не видел много лет, с тех пор как Маже Бассан лишила Зе права петь и танцевать на празднике, запретила ему даже появляться на террейро за святотатство: убийство иаво. Когда в Зе вселялся святой, силы его удваивались. Как-то раз, на террейро Консейсан-да-Прайя, разъярившись из-за упрямства одной девчонки, он вошел в транс и положил конец празднику, обратив в бегство целое отделение солдат муниципальной гвардии. Взяли его лишь на другой день, когда он беззаботно спал на откосе у рынка. Тогда-то комиссар Педрито и взял его в телохранители, вызволив из тюрьмы. Агенты прозвали его Широкая Душа за простоту в обращении и легкость, с какой он отправлял людей на тот свет. Ожуоба, узнав Зе Огуна, понял: можно ожидать всего.

— Прекрати, Прокопио, кончай это безобразие! — приказал комиссар. — Сдавайся, и я отпущу всех остальных.

— Я — Ошосси, меня никто не прикончит!

— Я тебя прикончу сию минуту, сучий святой! — и Педрито указал Зе на Прокопио: — Возьми его! Живым или мертвым!

Черная громадина двинулась вперед, но Ожуоба глазами Шанго приметил, что, ступая в магический круг, душегуб словно запнулся. Самуэл Коралловая Змея и Закариас да Гомейя стали по обе стороны площадки, готовые накинуться на всякого, кто вздумал бы оказать сопротивление. Прокопио продолжал танец, ведь он был Ошосси, бог охоты, хозяин сельвы, повелитель Кету.

Говорят, что тут-то и появился Эшу, вернувшись из-за горизонта. Ожуоба сказал: «Ларойе́, Эшу!» Дальше все произошло очень быстро. Когда Зе Широкая Душа сделал еще один шаг к Ошосси, он увидел перед собой Педро Аршанжо, Ожуобу Педро Аршанжо, но многие говорят, что это был сам Эшу. Властным голосом выкрикнул он магические слова страшного проклятия:

— Огун капе́ дан межи́, дан пелу́ онибан!

Услышав колдовской заговор, Зе Широкая Душа, негр ростом под потолок, с руками гориллы и холодными газами убийцы, остановился, замер. Зе Огун издал вопль, подпрыгнул, далеко отшвырнул ботинки, завертелся волчком и обернулся ориша, сила его удвоилась. «Огунье!» — крикнул он, и все присутствующие откликнулись: «Огунье, отец наш Огун!»

— Огун капе́ ман межи́, дан пелу́ онибан! — повторил Педро Аршанжо. — Огун позвал двух змей, и они поднялись и зашипели на солдат!

Взметнулись руки ориша, согнутые в кисти, словно поднявшие головы змеи: Зе Широкая Душа, разъяренный Огун, пошел на Педрито.

— Ты спятил, Зе?!

Самуэлу Коралловая Змея и Закариасу да Гомейе волей-неволей пришлось стать меж гневным божеством и полицейским комиссаром. Зе Широкая Душа правой рукой схватил Самуэла, которым некогда был подло убит Мануэл де Прашедес, добродушный гигант, шкипер и грузчик. Зе поднял убийцу на воздух, перевернул, словно котенка, и бросил оземь головой вниз. Хрустнули шейные позвонки, голова ушла в плечи, агент тотчас испустил дух у ног комиссара. Закариас да Гомейя выхватил револьвер, но выстрелить не успел: получив пинок в пах, взвыл и рухнул без сознания, вышел из строя навсегда.

Педрито Толстяк за всю жизнь испытал страх всего дважды, и об этих случаях никто не знал.

Впервые это произошло в дни его юности, когда Педрито, студент первого курса факультета права, стажировался у опытных проституток. Однажды, после оргии, заснул в постели одной из этих несчастных, худой и чахоточной, и проснулся среди ночи от прикосновения ножа к горлу. Нож разрезал кожу, полилась кровь, у Педрито на память остался шрам. Однако женщина была слишком пьяна, и юный Педрито, в ту же секунду опомнившись от ужаса, схватил ее за руку и тем же ножом исполосовал ей лицо. Свидетелей его испуга, когда он проснулся, почувствовав у горла нож, разумеется, не было.

Второй раз он испугался, когда уже был взрослым и гостил в фазенде отца после окончания университета. Там он крутил любовь с женой одного из батраков, и вот однажды днем, когда все были на работе, а Педрито вкушал блаженство в объятиях распутницы, он вдруг ощутил острие ножа между лопаток и услыхал яростный крик: «Убью сукина сына!» Вот тут он еще раз замер от страха. Спас его чей-то крик под окном, кто-то позвал батрака. Тот на мгновение растерялся, и этого было достаточно, чтобы Педрито пришел в себя, выхватил нож у несчастного рогоносца и всыпал ему как следует. И об этом испуге никто не узнал, разве что женщина почувствовала, как заколотилось сердце у ее любовника. Когда сбежался народ, Педрито вел себя как мужчина: колошматил батрака, уча его уму-разуму.

Но вот теперь, в третий раз, он испугался на людях, это был дикий, панический страх при всем честном народе. Когда Зе Широкая Душа, цепной пес, убивавший по одному его слову, его правая рука, обернулся вдруг Огуном и пошел на своего господина, Педрито понадобилось все его самолюбие, чтобы поднять трость в последней попытке вернуть к повиновению своего агента. Не помогло. Трость хрустнула в железных пальцах — в зубах змей, нацеливших головы на предводителя благословенного крестового похода, полководца священной войны. Пришлось Педрито Толстяку бежать самым постыдным образом, в панике взывая о помощи, к своему автомобилю, который умчал бы его подальше от этого ада, где ориша принялись за чудеса. Но, увы, кто-то из макумбейро проткнул все четыре шины.

И вот по людным улицам всем на удивленье бежит со всех ног комиссар полиции Педрито Толстяк, жестокосердный зверь, предводитель зловещей банды головорезов, паладин священной войны, не ведающий жалости, гроза нищих кварталов, а за ним вдогонку — ориша из кандомбле, воитель Огун, несущий двух взъяренных змей.

Весь город смеялся, оппозиционные газеты потешались вовсю, Лулу Парола написал стишок в ритме народного куплета:

Местре Аршанжо сбил

Разом всю спесь с Педрито.

### 20

Начальник полиции принял от Педрито Толстяка прошение об отставке с нескрываемым удовлетворением. Малоприятное наследие старой администрации штата, неуправляемый исполнитель, поступавший как ему заблагорассудится, не ожидая приказа и не представляя отчета, его, начальника полиции, заместитель, окруженный эскортом бандитов, громил и убийц, Педрито давно уже стал у него бельмом в глазу, и только страх мешал ему уволить ретивого комиссара на благо общественного порядка.

Педрито исчез из Баии на много месяцев, отправился в Европу «для пополнения образования». Что касается Зе Широкая Душа, то полиция обшарила весь город, банда головорезов вышла на последнее задание. Его нашли в зарослях за фазендой Кабула и без всяких разговоров изрешетили пулями. Перед смертью Зе Широкая Душа все же дотянулся до горла Иносенсио Семь Смертей и захватил его с собой туда, где на том свете уготовано место для убийц.

Должность комиссара — заместителя начальника полиции, который был номинально вторым лицом после начальника полиции, но на практике руководил всеми делами, ибо на него возлагались исполнительные функции, — упразднили и ввели должность комиссара — помощника начальника полиции. Бакалавр Фернандо Гоис, первым заступивший на эту должность, остановил крестовый поход, снял запрет со смеха и праздников. Насилие было не по душе бакалавру, любезному и изнеженному молодому человеку, готовившему себя к деятельности банкира.

Двери торрейро опять открылись для участников кандомбле, вновь вышли на улицу афоше, самба проникла на карнавал, заново создавались раншо и терно, бумбамеу-бой и пасторил. Капоэйристы снова взялись за беримбау и снова запели свои песни:

Змеи берегись, ужалит,

Сеньор Сан-Бенто,

Пружиной змея взлетает,

Сеньор Сан-Бенто,

Гляди, куманек!

«А ведь как долго ведем мы с ними спор, кум Аршанжо!» — подумал Лидио Корро в «Лавке чудес», прочтя заметку об отставке комиссара Педрито. Эту борьбу с полицией, с правительством, борьбу с ненавистью они начали более четверти века назад, в конце прошлого столетия, когда впервые задумали, организовали и вывели на улицу первое карнавальное афоше «Африканское посольство». Местом действия был двор Ошала, Послом выступал Лидио, Танцовщиком — Валделойр.

На том начальном этапе они одержали победу, добившись отставки возглавлявшего полицию доктора Франсиско Антонио де Кастро Сороменьо, который запретил раншо и афоше, батуке и самбу. «Хорошие были времена, а, кум? Как мы шли, молодые и отчаянные, в афоше „Дети Баии“, показывая кукиш полиции: да здравствует народ и его праздник! Помнишь, кум? Долгий это спор, и конца ему не видно. Майор Дамиан де Соуза, тогда еще мальчишка, стащил фуражку с головы солдата, покойный Мануэл де Прашедес играл роль Зумби. Наша драка с ними не утихала, кум, шла она на улице и на террейро, в книгах и в газетах, велась пером и булыжником, на празднике и в потасовке. Долгая борьба, схватка без конца. Да кончится ли она когда-нибудь, а, кум?»

«Когда-нибудь кончится, мой милый, хоть мы этого и не увидим. Мы умрем в драке, как теперь дракой утешаемся. Разве не потеха, кум: бежит по улице Педрито, за ним Огун, руки что змеи, смех, да и только. В драке и умрем. Мы были молоды и дерзки. Кукиш полиции, да здравствует народ Баии!»

### 21

Как-то вечером, через много недель после событий на кандомбле Прокопио, несколько человек возвращались на автомобиле с праздника в «Белом доме» на Старом Заводе, где террейро было восстановлено во всем его прежнем великолепии. За рулем сидел владелец автомобиля, профессор Фрага Нето, исполняющий обязанности заведующего кафедрой паразитологии, а с ним ехали фрей Тимотео — с длинной бородой и розовыми, как у голландских статуэток, щеками, в мирской одежде аббат походил на бродячего торговца, сантейро Мигел и Педро Аршанжо. Остановились у монастыря, простились с аббатом, потом отвезли Мигела, который жил в каморке при своем магазине на улице Лисеу.

В Германии профессор Фрага Нето стал полуночником и пристрастился к пиву:

— Как насчет того, чтобы промочить горло, местре Педро? Во рту пересохло, это кушанье с оливковым маслом было очень вкусное, но после него так хочется пить.

— Пивка неплохо бы.

Зашли в бар Переса на углу террейро, чуть подальше Собора, как раз напротив медицинского факультета. Сделав несколько глотков, профессор Фрага Нето заговорил:

— Сейчас мы с вами не профессор и педель кафедры паразитологии, а двое ученых, двое друзей. Давайте говорить откровенно и, если хотите, зовите меня «дружище», как вы называете всех на свете. Мне хочется, чтобы вы сегодня кое-что мне разъяснили.

«Друзья?» — подумал Аршанжо. Профессор и педель питали друг к другу явную симпатию. Фрага Нето, порывистый и щедрый душой, пылкий энтузиаст, человек кипучего, взрывного темперамента, ценил в Аршанжо зрелость суждений, опыт, уверенность в себе, упорство, скрытое за мягкостью манер, жизнелюбие. Может ли педель стать другом профессора? Аршанжо считал себя другом Силвы Виража. Более пятнадцати лет — срок немалый — ощущал он тепло отеческого расположения ученого, хотя разница в их возрасте была не так уж велика. Все эти годы ученый направлял его усилия, защищал, поддерживал, постоянно оказывал ненавязчивую помощь. Дружеские чувства питал Аршанжо и к Фраге Нето, который, как только появился на факультете, тут же процитировал на защите диссертации кусок из его «Африканских влияний на народные обычаи Баии» и с тех пор всегда искал его общества, охотно с ним беседовал. Не раз и не два заходил он и в «Лавку чудес», но там уже не было шумных богемных сборищ с танцами и песнями — теперь это было серьезное и процветающее полиграфическое предприятие, где вечерами собирались хозяева и почетные гости обсудить тот или иной вопрос. Да, конечно, он друг Силве Виража и Фраге Нето, но это особая дружба, не та, что связывает его с Лидио, Будианом, Валделойром, Ауссой, Манэ Лимой и Мигелом: эти ему ровня, а те — ступенькой выше. Местре Аршанжо не хотел подыматься по лестнице, хотя бы ему и протягивали дружескую руку. Это майор Дамиан де Соуза умеет сохранить равновесие, стоя одной ногой на нижней, другой — на верхней ступеньке. А Тадеу? Что-то долго нет от него вестей. Местре Педро пьет пиво. Профессор Фрага Нето разглядывает своего подчиненного: что таится в этом взгляде, за этими мягкими чертами бронзового лица? О чем думает этот человек, как он понимает жизнь?

Фрага Нето ходил в «Лавку чудес», чтобы, по его выражению, общаться с народом, «с трудящимися массами». Слушая, как Фрага Нето рассказывает о жизни в Европе, о научных исследованиях, о политических течениях, о рабочем движении, Педро Аршанжо порой вдруг ощущал себя стариком, человеком прошлого, который слышит пророческие слова на новом для него языке о мире, где не будет места даже тем ничтожным различиям, что отделяют его от Фраги Нето.

— Так вот, друг мой, — вновь заговорил профессор, прерывая ход мыслей Аршанжо. — Я не в силах уяснить одной вещи, и это не дает мне покоя. Об этом-то мне и хотелось вас спросить.

— Что же это за вещь? Спрашивайте, если смогу — отвечу.

— Я хотел бы знать, как это вы, ученый, да-да, ученый, не важно, что у вас нет диплома... Так вот, оставим околичности и будем называть все своими именами. Я хотел бы знать, как это вы верите в кандомбле?

Фрага Нето осушил свой стакан, снова налил.

— Ведь вы верите, не так ли? Если б вы не верили, как бы вы могли проделывать все, что там требуется: петь, танцевать, выполнять всякие штучки, давать целовать руку, все это очень мило, не спорю, наш аббат сегодня прямо-таки слюни пускал от удовольствия, но согласитесь, местре Педро, это же все от первобытного человека — предрассудки, варварство, идолопоклонство, ранний этап цивилизации. Ну как это возможно?

Педро Аршанжо немного помолчал, отодвинул пустой стакан, попросил испанца подать кашасы: «Моей, вы знаете какой».

— Я мог бы сказать, что люблю петь и танцевать. Фрею Тимотео нравится, мол, смотреть, а мне — делать самому. Этого было бы достаточно.

— Нет, вы сами понимаете, что меня интересует другое. Я хочу знать, как вы можете примирить ваше научное сознание с участием в кандомбле. Вот что мне нужно. Как вам известно, я — материалист и порой становлюсь в тупик перед противоречиями человеческой натуры. Вот перед этим вашим противоречием, например. В вас будто два человека: один пишет книги, другой — пляшет на террейро.

Испанец подал рюмку кашасы, Педро Аршанжо залпом выпил: этот настырный парень доискивается ответа на самую трудную загадку, раскрытия его сокровенной тайны.

— Педро Аршанжо Ожуоба, тот, что читает книги и любит поговорить, что сейчас толкует и рассуждает с профессором Фрагой Нето, и тот, что целует руку Пулкерии-иалориша, — это два разных человека, и вы, возможно, думаете, что один из них белый, а другой черный? Нет, профессор, тут вы ошиблись — один-единственный. Смесь того и другого, мулат, но один.

Голос его, исполненный непривычной торжественности, звучит сурово и размеренно, каждое слово идет из глубины, от сердца.

— Но как можно, местре Педро, сочетать непримиримое, быть одновременно и тем и другим?

— Я метис, что-то во мне от белого, что-то — от черного, я белый и черный одновременно. Я родился на кандомбле, вырос среди ориша и еще юношей получил высокую должность на террейро. Знаете, что такое Ожуоба? Я — глаза Шанго, дорогой профессор. У меня высокие обязанности, высокая ответственность.

Постучал по столу, призывая официанта:

— Пива сеньору профессору, рюмку кашасы — мне. Верю я или нет? Скажу вам то, чего никому не говорил, кроме себя самого, и если вы кому-нибудь об этом скажете, мне придется отказаться от своих слов.

— Не беспокойтесь.

— Долгие годы я верили в моих ориша, как фрей Тимотео — в своих святых, Христа и богоматерь. В те времена все познания я получал на улице. Потом стал искать другие источники, обрел новые ценности и веру мою потерял. Вы — материалист, профессор. Я не читал авторов, которых вы цитируете, но я в такой же мере материалист, как и вы. Может, даже еще больше, как знать.

— Еще больше? Почему же?

— Потому что я, как и вы, знаю: все сущее — материя, но я при всем том еще знаю, что порой меня охватывает страх, и я места себе не нахожу. Мои знания меня от него не ограждают.

— Ну и что же?

— Все, что составляло для меня основу, землю под ногами, оказалось вдруг нехитрой загадкой. Чудо сошествия святых — всего-навсего состояние транса, доступное для анализа и объяснения первокурснику медицинского факультета. Для меня, профессор, существует только материя. Но из-за этого я не отказываюсь от кандомбле, не слагаю с себя сан Ожуобы, держу свой обет. В отличие от вас, я не боюсь, что мой материализм от этого пострадает, что я уроню себя в мнении окружающих.

— Просто я последователен, а вы — нет! — вскипел Фрага Нето. — Раз вы больше не верите, какого черта ломать всю эту комедию? В чем тут смысл?

— А вот в чем. Во-первых, как я уже говорил, я люблю танцевать и петь, люблю праздники, особенно кандомбле, а главное — мы ведем борьбу, упорную и жестокую. Разве вы не видите, как яростно обрушиваются на то единственное, что у нас, негров и мулатов, свое, что от нас неотъемлемо, что определяет наше лицо? Совсем еще недавно, при комиссаре Педрито, свободный гражданин Баии, идя на кандомбле, подвергал себя опасности, рисковал свободой, а то и жизнью. Вам это известно, я рассказывал. А знаете вы, сколько людей погибло? И знаете, почему эта война с нами затихла? Не кончилась, нет, — затихла? Знаете, из-за чего комиссару Педрито пришлось убраться восвояси?

— Я слышал эту историю не раз, дикость какая-то, а вы там главный герой.

— Вы думаете, если бы я стал приводить свои резоны Педрито Толстяку, как я привожу их вам, это к чему-нибудь привело бы? Если бы я провозгласил мой материализм, бросил ходить на кандомбле, заявив, что все это — детские игрушки, порождение первобытного страха, невежества и нищеты, кому бы я этим помог? Я помог бы, сеньор профессор, комиссару Педрито и его банде головорезов, помог бы лишить народ его праздника. Вот почему я предпочитаю ходить на кандомбле, к тому же я люблю петь и танцевать под перестук атабаке.

— Но, поступая так, местре Педро, вы же не помогаете строить новое общество, не участвуете в преобразовании мира?

— Разве не участвую? Я уверен, что ориша — достояние народа, капоэйра, самба, афоше, атабаке, беримбау — это все принадлежит народу. А вы, профессор, с вашей узкой ортодоксальностью хотите уничтожить это народное достояние, ни дать ни взять — комиссар Педрито, простите на слове. Мне же материализм не помеха. Что до перестройки мира, так я в нее верю, профессор, и, думаю, кое-что для нее сделал.

Педро Аршанжо обвел взглядом площадь Террейро Иисуса.

— Вот — Террейро Иисуса, в Баии все перемешано, сеньор профессор. Тут вам и церковь Иисуса, и террейро Ошала, и террейро Иисуса. Я сам — плод смешения народов и рас, я — мулат, я — бразилец. Завтра будет так, как вы говорите, как вы требуете, непременно будет, мы на месте не стоим. Придет день, когда все перемешается окончательно. Все, что сегодня — магический обряд и выражение борьбы бедного люда, праздник в кругу негров и метисов, запрещенная музыка, недозволенные танцы, кандомбле, самба, капоэйра — все это сольется в единый праздник бразильского народа, это будет наша национальная музыка, наши танцы, наша смуглая кожа, наш смех. Вы понимаете меня?

— Не знаю, может, вы и правы, мне надо обдумать вашу позицию.

— Скажу вам больше, профессор. Из научной литературы я знаю, что сверхъестественное — фикция, плод эмоций, а не разума, порождение страха. И все же, когда мой крестник Тадеу сообщил мне, что хочет жениться на белой девушке, я невольно вспомнил гадание старшей жрицы на празднике в честь его выпуска. Это у меня в крови, профессор. Во мне жив еще древний человек, хочу я этого или нет, — слишком долго я им был. А теперь, профессор, скажите, как по-вашему, трудно или нет сочетать науку с жизнью, то, что узнаёшь из книг, с тем, чем живешь каждый день и час?

— Если пробуешь проводить идею в жизнь огнем и мечом, она начинает жечь и казнить тебя самого, не так ли? Вы это хотели сказать?

— Если бы я провозгласил свою истину во всеуслышание и заявил, что, мол, все это детские игрушки, я помог бы полиции и, как говорят, пошел бы в гору. Помните мое слово, дружище, настанет день, когда ориша будут танцевать на сцене театра. А в гору я не хочу, я иду вперед, мой милый!

### 22

— Ну, уж здесь он сам себя перещеголял, этот Нило Арголо, чертова скотина. Только вообразите: свой опус он предназначает не больше не меньше как парламенту, чтобы тот издал соответствующий закон. Даже не закон, а свод законов, на меньшее он не согласен! — Профессор Фрага Нето в негодовании размахивал брошюрой. — В Соединенных Штатах и то не додумались до такого бесчеловечного законопроекта. Этот монстр переплюнул самые поганые законы южных штатов, цитадели расизма. Прямо-таки шедевр, вы только почитайте!

Фрага Нето отличался пылкостью нрава, постоянно собирал вокруг себя микромитинги в коридоре факультета или под деревьями на террейро, загораясь энтузиазмом или вспыхивая негодованием по тому или иному поводу. За пять с лишним лет он снискал широкую популярность среди студентов, которые обращались к нему с любым вопросом, он стал для них чем-то вроде главного куратора.

— Этот Арголо — опасный маньяк, давно пора его одернуть!

Педро Аршанжо прочел брошюру, в которой профессор судебной медицины систематизировал и собрал воедино свои пресловутые идеи о расовой проблеме в Бразилии. Превосходство арийской расы, неполноценность всех остальных, особенно черной, которая пребывает в первобытном, полуживотном состоянии. Метисация — опасность номер один, язва, злая чума, грозящая породить в Бразилии, в тропическом климате, расовую группу недочеловеков, тупых и наглых дегенератов, отмеченных печатью преступности. Вся наша отсталость проистекает не от чего иного, как от смешения рас. Негров еще можно было бы использовать для грубой работы, они сильны, как тягловый скот. Мулаты же, ленивые и развращенные, и на это не пригодны. Они портят социальную картину Бразилии, разлагают дух народа, встают помехой на пути любого серьезного начинания в духе прогресса, «поступательного движения нации». Пересыпая цитатами напыщенное и витиеватое, в стиле XVI века изложение, профессор ставил диагноз, освещал ход болезни, степень ее запущенности, выписывал рецепт, вкладывал в руки законодателей скальпель, щипцы и план операции. Только свод законов, издание которого — патриотический долг законодателей, свод законов, устанавливающих абсолютную расовую сегрегацию, может еще удержать родину на краю бездны, куда увлекает ее «ведущее к деградации и дегенерации» смешение рас. Такой свод законов, регламентирующий статус негров и метисов, может иметь в своей основе два вида мероприятий.

Первое — изоляция негров и метисов в специально отведенных для этого географических районах; профессор Нило Арголо назвал эти районы: Амазония, Мато-Гроссо и Гойас. Прилагаемые к брошюре карты не оставляли никаких сомнений относительно того, что за места он отвел бы «цветным». Правда, выбор района не носил окончательного характера, задача состояла пока лишь в том, чтобы содержать «низшую расу», «загрязняющий этнический компонент» отдельно от населения страны, пока не будет подобрана постоянная резервация. Профессор не исключал возможности приобретения правительством каких-то земель в Африке, где можно было бы разместить черное и смешанное население Бразилии. Что-нибудь вроде Либерии, не повторяя, разумеется, ошибок Соединенных Штатов Америки. Из Бразилии негры и метисы должны быть высланы, по возможности все сразу и на веки веков.

Второй законопроект, проведение которого в жизнь не терпит никаких отлагательств, — запрещение браков между белыми и черными, причем под «черными» имеются в виду все, в ком есть хоть капля африканской крови. Только полный и категорический запрет может положить конец пагубному смешению рас.

В общем, прожекты и тезисы, написанные «незаслуженно забытым» пронафталиненным слогом, казались на первый взгляд заведомой чушью. Тем не менее нашлись газетчики и даже парламентарии, которые их приняли всерьез, и в 1934 году, по случаю созыва Учредительного собрания, кое-кто извлек на свет божий писания профессора Арголо, изданные под заголовком «Введение в изучение Кодекса национального спасения».

Давно уж Педро Аршанжо не давал воли гневу. После того как полковник Гомес отказал его крестнику Тадеу, ни одно событие не дало повода местре Аршанжо для таких сильных эмоций. В борьбе с произволом комиссара Педрито он болел душой, видя погромы, аресты, убийства, но оставался сдержанным и мягким в обращении — эти черты были спутниками его зрелости и предшественниками старости. Вежливый, обстоятельный, напористый и точный в действиях, когда приходилось действовать, мягкий и покладистый в быту, веселый сотрапезник, отзывчивый и добрый — таков был в ту пору Педро Аршанжо. Но брошюра Нило Арголо вывела его из себя, ему пришлось облегчить душу руганью: «Старый педераст, идиот, безмозглая скотина, сволочь!»

Все еще кипя негодованием, он направился к Забеле, которая к тому времени совсем обезножела, передвигалась в кресле на колесах и сильно одряхлела. Педро Аршанжо так никогда и не знал, сколько ей лет. Когда он познакомился с ней четверть века назад, она уже выглядела достаточно немощной и старой, видно было, что за плечами у нее долгая жизнь, прожитая бурно, без удержу, без оглядки... И еще лет десять Забела оставалась такой, какой он впервые ее увидел в «Лавке чудес» — любопытной, вечно суетящейся, неугомонной. Временами она казалась чуть ли не девчонкой — столь жизнелюбивой была экс-принцесса Реконкаво и экс-королева Парижа.

Ревматизм в конце концов утихомирил ее, положил конец ее живости. Боль грызла Забелу, только уколы и спасали. Больная поносила врачей, ругалась порой до исступления. Упорно не сдавалась, продолжая ковылять по улице из конца в конец для моциона, пока ноги совсем не отказали. Что поделаешь, пришлось сесть в кресло-каталку, присланное из Сан-Пауло профессором Силвой Виража, который узнал о ее беде из писем Педро Аршанжо. Но все равно желчной старухой графиня не стала. Воркотня ее носила печать кокетства, а не нытья — чем еще старухе покрасоваться? До последнего дня сохранила она ясность ума и присутствие духа. Жить хотела, но боялась старческого маразма — как бы не превратиться в «полоумную дурочку, над которой все потешаются». «Если я свихнусь, — говорила она Педро Аршанжо, — раздобудьте на факультете яд, что убивает сразу, и дайте мне так, чтоб я не догадалась». Сколько же ей лет? Девяносто, если не больше.

Приход любого гостя был для нее праздником, приход такого гостя, как Педро Аршанжо, — вдвойне, с ним она могла говорить часами, спрашивала, как там дела у Тадеу и Лу — «эти бесстыдники совсем ничего не пишут». Правда, что Гомесы с ними помирились? Пока жива была Эуфразия, обо всем можно было узнать. Но та отдала богу душу, и теперь самые сногсшибательные новости узнаешь от случая к случаю: вот тут как-то дальний родственник, житель Рио, был проездом в Баие, зашел навестить, награди его господи за доброе дело! Этот самый родственник, кузен Жувенсио де Араужо, страховой агент, видел в столице семейство Гомесов в полном сборе: Эмилия, полковник, Лу и Тадеу. Прогуливались по Копакабане в самом что ни на есть добром согласии. Непреклонный полковник сам представил Тадеу страховому агенту: «Мой зять, доктор Тадеу Каньото, инженер группы, занятой урбанизацией Рио-де-Жанейро». Полковник явно гордился зятем, шел с ним об руку. Аршанжо подтвердил известие о примирении. Узнал он о нем, правда, не от Тадеу и Лу, от них давно не было известий. Он повстречал Астерио, брата Лу, вернувшегося из Соединенных Штатов. Тот охотно рассказал все, что ему было известно о молодой чете, в том числе и про капитуляцию полковника. Тот, как узнал о беременности дочери, помчался в Рио. К сожалению, ребенка сохранить не удалось — преждевременные роды. А в остальном — полное благополучие, радужные надежды. «Тадеу — вы, конечно, в курсе событий — делает блестящую карьеру, оказался первоклассным градостроителем, куда до него полковнику Гомесу». Тут молодой человек подмигнул и расхохотался; симпатичный малый, живет в свое удовольствие, о работе и не думает.

А не кажется ли Педро, что Тадеу проявляет неблагодарность? — спросила Забела. Неблагодарность? Тем, что не пишет? У него работа, важные дела, времени не хватает. Да и сам он, Педро Аршанжо, писать не любитель. Забела глянула ему в глаза: «Ну и хитрец этот мулат — нипочем не узнаешь, что у него на душе».

Педро Аршанжо читал ей вслух, она вспоминала стихи, спрашивала о новостях, за компанию вытягивала рюмочку ликера. Старуха плевала на строжайший запрет врачей, что сделается от такой капли!

На сей раз он пришел к Забеле просить разрешения на обнародование в книге, которую он готовил к печати, полученных от нее за двадцать лет сведений о баиянских знатных семействах, что так кичились своими предками, в жилах которых якобы не текло ни капли негритянской крови. Показал ей брошюру профессора Нило Арголо: негров и метисов — в Амазонию, в селву, к москитам и болотной лихорадке, в сплетение рек и речушек, в топи Мато-Гроссо.

— И не оставить ни одного, чтоб рассказал, как все это было... — смеялась Забела, морщась, — ей больно было смеяться.

Педро Аршанжо тоже рассмеялся, старуха развеяла его дурное настроение.

— Нило Арголо — червяк, инфузория, un sale individu[[78]](#footnote-78), скотина скотиной. Пишите книгу, сын мой, выкладывайте всю подноготную, да поскорей, чтоб я перед смертью вволю посмеялась de cеs emmerdeurs[[79]](#footnote-79).

Педро Аршанжо вернулся к жестокому рабочему режиму, он спешил выполнить просьбу Забелы: «Хочу подержать эту книгу в руках и послать один экземпляр Нило д’Авила Арголо де Араужо avec une dédicace»[[80]](#footnote-80).

Не дождалась, умерла. Умерла в здравом рассудке, а накануне смерти еще злорадствовала и смеялась до колик — «un fou rire, mon cher»[[81]](#footnote-81), когда Аршанжо рассказал ей о своем последнем открытии: некий негр по имени Бомбоше оказался его, Педро Аршанжо, прадедом «и еще чьим, знаете? Профессора Нило Арголо де Араужо. О-ла-ла!».

На другое утро служанка нашла ее мертвой в кровати под балдахином в стиле рококо. Она умерла во сне, и это был единственный тихий поступок за всю ее шумную, яркую и праздничную жизнь, полную бурных страстей. Хмурым утром, серым и сырым, вокруг иссохшего тела собрались немногочисленные участники похорон, половина — из особняков Витории, другая — из проулков Пелоуриньо и Табуана. Гроб к фамильному склепу Араужо-и-Пиньо несли Педро Аршанжо и Лидио Корро вместе с Гонсалвесами, Авила, Арголо, Мартинсами и Араужо.

Вернувшись с похорон, Педро Аршанжо не отходил от письменного стола, спешил исполнить волю Забелы. Примерно через год после публикации законодательных предложений профессора Нило Арголо куму Лидио удалось отпечатать на самой дешевой бумаге и кое-как переплести сто сорок два экземпляра «Заметок о смешанных браках в баиянских семьях». Денег не хватало, ремонт типографского станка сожрал все ресурсы, пришлось обойтись отходами бумаги, выпрошенными у газетных издательств, но и за них нужно было платить.

В своей третьей книге Педро Аршанжо проследил истоки смешения рас и получил результаты, которые превзошли все его ожидания: без примеси негритянской крови не было в Баие ни одного семейства, если не говорить о дюжине иммигрантов, которые, разумеется, в счет не шли. Такой вещи, как чистота белой расы, в Баие не существовало, в любом роду была либо индейская, либо негритянская кровь, а то и обе вместе. Смешение рас, начавшись с кораблекрушения Карамуру[[82]](#footnote-82), никогда не прекращалось, а сейчас происходит повсеместно и все в более широких масштабах, являясь основой нации.

В главе, посвященной доказательству высоких интеллектуальных способностей метисов, приводился внушительный список политических деятелей, писателей, художников, инженеров, журналистов, даже баронов империи, дипломатов, епископов, — оказывается, мулаты — цвет бразильской интеллигенции.

Завершалась книга большим списком, который вызвал целую бурю и навлек гонения на автора. Педро Аршанжо раскопал генеалогию знатных баиянских семейств, на основании неопровержимых доказательств дополнил их родословные древеса, восстановив ветви, о которых умалчивалось, а именно — смешанные браки, внебрачные связи и внебрачных детей. И вот в стволах и ветвях родословных древ заняли свои места белые, негры, индейцы, колонисты, рабы, вольноотпущенники, воины и книжники, священники и колдуны — вся эта смесь, образовавшая нацию. Список открывали фамилии Авила, Араужо, Арголо, предки профессора судебной медицины, чистокровного арийца, ратующего за дискриминацию и выдворение негров и метисов, прирожденных преступников.

Кстати, ему и была посвящена книга: «Высокородному профессору и литератору, доктору Нило д’Авила Оубитико́ Арголо де Араужо в дополнение к его трудам по расовой проблеме в Бразилии посвящает нижеследующие скромные строки его троюродный брат Педро Аршанжо Оубитико Ожуоба». Аршанжо не ожидал, не мог даже представить себе всех последствий.

Он величал профессора судебной медицины родичем и братцем на протяжении всех ста восьмидесяти страниц книги. Мой родственник, мой брат, именитый представитель нашего рода. У них оказался общий прадед — Бомбоше Оубитико, чья кровь текла и в жилах профессора, и в жилах педеля. Доказательств — хоть отбавляй: даты, имена, копии свидетельств, любовные письма и прочая и прочая. Темнокожий красавец Оубитико участвовал в первых крупных кандомбле в Баие, пленил белую девицу по имени Айя Авила, «от них-то и пошли мулаточки с зелеными глазами, дорогой братец».

Что же до фамилии Араужо, то автор книги повторил вопрос Забелы: почему профессор все говорит о роде Арголо, умалчивая об Араужо? Как можно оставлять в тени Черного Араужо, блистательного полковника Фортунато де Араужо, героя войны за независимость, мулата из Реконкаво, — несомненно, самого благородного из сахарных фазендейро, отличавшегося умом, доблестью, образованностью?

В «Заметках...» местре Аршанжо выложил всю подноготную, и знатные семейства смогли наконец узнать, откуда ведут они свою родословную, смогли увидеть не только фасад, но и задворки, не только светлую пшеницу, но и черный уголь, удостовериться, кто с кем спал.

Наступил конец света.

### 23

Студенты устроили митинг в поддержку Педро Аршанжо, на Террейро Иисуса прозвучали пылкие речи против дискриминации и расизма. Объединившись с будущими юристами и инженерами, студенты-медики организовали символические похороны профессора Нило д’Авила Арголо де Араужо, Нило Оубитико. Добыли настоящий гроб, и процессия двинулась по улицам города, неся лозунги и транспаранты в защиту Педро Аршанжо, устраивая летучие митинги на каждом углу, всюду вызывая шум, смех и оживленные пересуды. На площади Кампо-Гранде полиция разогнала процессию, гроб был брошен и не достиг места назначения, а предполагалось его сжечь посреди Террейро Иисуса на символическом костре, созданном «звериной ненавистью самого бесноватого профессора Арголо», как выразился дипломант Пауло Таварес, с детства передвигавшийся в инвалидном кресле, жертва полиомиелита, но шумный оратор и первый заводила на факультете.

Педро Аршанжо встретили овацией, окружили шумной толпой, когда он ступил за порог медицинского факультета, покидая его навсегда: в тот день совет университета постановил освободить его от скромной должности педеля, в которой он верой и правдой прослужил чуть ли не тридцать лет, и запретить ему вход на территорию этого храма науки.

Когда по окончании совета на улицу вышел профессор Нило Арголо, он был встречен оглушительным свистом. Пока он шел по площади, вослед ему неслись крики: «Готтентот!», «Нило Оубитико!», «Людоед!». Ему ничего не оставалось, как обратиться за поддержкой в полицию. Освалдо Фонтес, Монтенегро и прочие лица, так или иначе причастные к конфликту идей, получили свою порцию неодобрения. Зато Фрага Нето был встречен восторженными возгласами и водружен на импровизированную трибуну, с которой еще раз выразил «решительный протест против несправедливого и позорного акта мести в отношении примерного работника, научные заслуги которого несомненны; я выразил этот протест в зале заседания совета, с гневом и возмущением повторяю его здесь!».

Стали известны некоторые подробности обсуждения вопроса на совете. Профессор Исайас Луна обратился к профессору Арголо с вопросом: «Вы хотите, господин профессор, чтобы вся Баия убедилась в правоте того студента, который как-то на лекции назвал вас Савонаролой? Ведь вы, по сути дела, учредили суд инквизиции на медицинском факультете Баиянского университета». Профессор Арголо, не помня себя от ярости, чуть было не накинулся на коллегу с кулаками. В конце обсуждения, перед голосованием, было зачитано письмо из Сан-Пауло от Силвы Виража, до которого дошли вести о предполагаемых мерах «по защите репутации факультета в связи с афронтом, нанесенным профессору Нило Арголо педелем Педро Аршанжо». Силва Виража писал: «В вашей власти несправедливо уволить педеля, воспользовавшись правом сильного. Однако никогда вам не удастся вычеркнуть из анналов медицинского факультета имя скромного и талантливого ученого, создавшего труд, который возродит славу нашего университета, втоптанную в грязь лженаучными, ничтожными пигмеями, проповедующими расовую ненависть».

Меж тем изгнанник, он же — триумфатор, спустился по улице Пелоуринью к «Лавке чудес». Там его поджидали Лидио Корро и два агента в штатском.

— Вы арестованы! — возгласил один из агентов.

— Арестован? За что, милые мои?

— Тут сказано: хулиганство, оскорбление личности, нарушение общественного порядка. Ну, шагай, шагай.

— Никак не мог предупредить, кум, они меня отсюда не выпускали.

И Педро Аршанжо под конвоем сыщиков отправился в Управление полиции, где его посадили в камеру. По дороге, на углу Пелоуриньо, навстречу им попался наряд полицейских.

Как только агенты увели Педро Аршанжо, Лидио Корро бросился на поиски адвоката Пассариньо, но не нашел его ни в конторе, ни во дворце правосудия, ни дома. Побежал к доктору Фраге Нето, рассказал о случившемся, снова вернулся в дом адвоката и на этот раз застал его за обедом. Доктор Пассариньо обещал пойти в полицию тотчас после обеда: «Что за нелепый арест, не беспокойтесь, я его вызволю в два счета». Обещание он сдержал, правда, не полностью. В полиции адвокат встретил профессора Фрагу Нето. Однако приказ насчет Аршанжо был строгим, «этого черномазого надо проучить как следует. Взгляните — целый список обвинений».

Слух пошел по городу, и вот, не сговариваясь, со всех сторон на площадь перед Управлением полиции потянулся народ. Мужчины, женщины, мулаты, белые, негры, старики, молодежь, Теренсия, Будиан, местре Мигел, Валделойр, Манэ Лима и толстая Фернанда, Аусса. Шел бедный люд из всех предместий, все гуще и гуще, настоящее паломничество. Шли в одиночку, парами, по трое, а то и семьями, иные даже с грудными младенцами — все направлялись на площадь.

Перед Управлением собралось сначала несколько десятков человек, потом — сотня, другая, еще и еще. Люди отправлялись в путь оттуда, где их застала весть: из лабиринта улочек и проулков, из мастерских, лавок, таверн и веселых домов — отовсюду стекался народ на площадь. Перед толпой то и дело появлялся майор Дамиан де Соуза в белом костюме — как и положено сыну Ошала, — в рубашке со стоячим воротничком и сигарой в зубах, говорил что-то гневно и горячо.

Стоя на ящике, он поднимал руку, требуя тишины, и разражался бесконечной пламенной речью. Спрыгивал с импровизированной трибуны, подходил к двери Управления, исчезал в коридоре, опять появлялся. В возбуждении снова вскакивал на ящик и снова говорил. Эту свою речь он начал, когда лишь чуть смеркалось, и продолжал ее, когда уже наступила ночь: «Какое преступление совершил Ожуоба, в чем обвиняют Педро Аршанжо, кого он убил, кого ограбил, в чем преступил закон?»

— Какое преступление он совершил? — вопрошал народ.

В Управлении адвокат Пассариньо и профессор Фрага Нето вели спор с комиссарами, с начальником полиции. «Без распоряжения губернатора ничего сделать нельзя, — твердил шеф полиции, — он отдал приказ об аресте, только он может его отменить. А где губернатор, никто не знает, после обеда вышел из дома, куда — не сказал».

Лидио Корро еще до ночи узнал о беде, бегом бросился в «Лавку чудес», но полицейских, учинивших после ареста Педро Аршанжо настоящий погром, он в лавке уже не застал.

Подняв голос против насилия, майор Дамиан де Соуза с высоты ящика сыпал гневные слова, начинал и кончал каждую из своих речей одним требованием: «Свободу человеку, который ни разу в жизни не солгал, никогда не использовал свою мудрость во зло кому бы то ни было, свободу человеку, который учит всех добру! Свободу!»

Давно уже ночь, а людской поток все течет и течет, запруживая площадь. Идут издалека заброшенными тропками, с фонарями и лампами. Неяркие огни блуждают по всей площади, занятой народом. Кто-то запел. Песню подхватили, она переходит из уст в уста, вздымается к небу, проникает сквозь тюремные стены. Сотни голосов, как один, греющая душу песня друзей. Аршанжо улыбается, он доволен, забавный был день. Он устал, день был нелегкий. Сотни голосов — как один, сладкая песнь любви. Убаюканный песнью, Педро Аршанжо засыпает.

## Фаусто Пена философствует о таланте и успехе, после чего прощается с читателем — да уже и пора

Всякому ясно, что талант и знания сами по себе еще не обеспечивают удачи, триумфа в изящной словесности, искусстве либо науке. Тяжка борьба молодого человека за известность, тернист его путь. Избитая фраза? Разумеется. У меня на сердце тоска, и я пекусь единственно о том, чтобы ясно изложить свою мысль, нимало не заботясь о пышности и изысканности слога.

За малую толику оваций, за свое имя на страницах газет, журналов, книг, за все эти жалкие крупицы успеха приходится расплачиваться сделками с совестью, лицемерием, недомолвками, умолчаниями — скажем прямо: подлостью. И платят, как тут не заплатишь. Среди коллег, социологов и поэтов, антропологов и литераторов, этнологов и критиков я не знаю ни одного, который в таком деле постоял бы за ценой. При этом самые отъявленные негодяи громче всех кричат, требуя честности и порядочности — от других, разумеется. Корчат из себя непогрешимых, провозглашают себя столпами добродетели, слова «совесть» и «чувство собственного достоинства» не сходят у них с уст, они — грозные и беспощадные судьи своих близких. Очаровательная наглость! И она себя оправдывает: находятся люди, которые принимают их всерьез.

В наш век промышленной революции, электроники, полетов к звездам и каменных джунглей, если ты не изворачиваешься, а распускаешь слюни, если тебе недостает беспардонности и нахальства, тебя сомнут. Затопчут насмерть. Не выкарабкаешься.

Меж тем я выслушал на днях горькое признание старого маститого литератора, заключавшее в себе сумасбродную мысль о том, что, мол, у нынешней молодежи масса блестящих возможностей, только выбирай, весь мир — наш, и подтверждением тому — «Молодая сила», движение молодежи.

Она действительно существует, эта сила, не мне это отрицать, я ощущаю себя частицей могучего течения. Где-то в глубинах моего «я» дремлет бунтарь, отверженный, радикал, мятежник, и, когда надо, я извлекаю его на свет божий (нынче это рискованно, опасно по причинам, которые излагать нет нужды, они, как говорится, лежат на поверхности). Молодые люди провозглашают свою революцию, им принадлежит мир, это все так, но молодость проходит, и надо как-то зарабатывать свой хлеб. Вы утверждаете, что тут возможностей хоть отбавляй, что триумф ждет каждого? Как бы не так! За место под солнцем, малюсенькое местечко, чего я только не делал, упрямо лез изо всех сил, гнул спину. Кувыркался, как мог платил, не торгуясь, и к чему пришел? Чего достиг? Радоваться нечему. Упоминания достойно лишь исследование о Педро Аршанжо, выполненное по заказу гениального Левенсона, моя визитная карточка. Остальное — безделица, жалкие крохи. Столбец под рубрикой «Поэзия молодых», несколько похвал моему поэтическому дару, между прочим, взаимных, ты — мне, я — тебе; может быть, получу несколько минут в вечерней телепередаче, вне основной программы, как приложение — «Молодая босса»[[83]](#footnote-83). Что еще? Три стихотворения в антологии «Молодые поэты Баии», составленной Илдазио Тавейрой и издаваемой государственным издательством в Рио. Я там представлен тремя стихотворениями, Ана Мерседес — пятью, кошмар!

Вот и все, что я завоевал усердным трудом в жестокой конкурентной борьбе. Довелось мне совратить двух-трех начинающих поэтесс, да и у тех не нашел ни искренности, ни целомудрия. Собственно, я влачу жалкое существование, меня не печатают. Из великого и прекрасного жизнь даровала мне только любовь к Ане Мерседес, монету чистого золота, но я извел ее на ревность.

В мой актив, однако, надо записать и договор, подписанный наконец сеньором Дмевалом Шавесом, владельцем книжного магазина и издательства, торговым и промышленным тузом. Он обязался издать тиражом две тысячи экземпляров мой труд о Педро Аршанжо и выплачивать мне авторский гонорар — десять процентов от продажной цены, представляя отчет и производя расчет ежеквартально. Это неплохо, если он будет пунктуален.

В исторический день подписания договора, которое состоялось в кабинете издателя, расположенном над его книжным магазином на улице Ажуда, мой меценат, окруженный телефонами и секретаршами, был со мной весьма любезен, так что я уверовал в его щедрость. Он при мне купил гравюру Эмануэла Араужо и, не торгуясь, выложил наличными ту сумму, которую запросил этот удачливый зазнайка, один из тех, кого зовут баловнями судьбы. Издатель пояснил мне, что коллекционирует картины, эстампы, гравюры, рисунки и намеревается украсить ими стены своего особняка, расположенного на Морро-до-Ипиранга, Холме Миллионеров, и только что перестроенного из двухэтажного в трехэтажный: у мецената восемь детей, и, если бог даст сил и бодрости духа, он намерен довести их число до пятнадцати. Подобное расточительство придало мне смелости, и я обратился к нему с двумя просьбами.

Прежде всего я попросил небольшой аванс под мои авторские десять процентов. В жизни не видел такой мгновенной метаморфозы: сияющее любезностью и воодушевлением, открытое в широкой улыбке лицо издателя скрылось под маской разочарования и огорчения, как только я произнес слово «аванс». Тут все дело в принципах, пояснил он мне. Мы подписали договор, где пункт за пунктом четко определены обязанности и права сторон. Как же мы можем нарушать его, действуя вопреки положениям, сформулированным в специальных параграфах? Если нарушить хотя бы один пункт, договор утратит свою сущность, свой смысл. Все дело в принципах. В каких именно, я так и не понял. Должно быть, очень твердых, ибо никакие мои резоны не поколебали издателя, отказ был категорическим. Все, что хотите, только не пренебрежение к принципам.

Когда инцидент был исчерпан, лицо издателя вновь засияло любезной улыбкой, он сердечно принял знаменитого художника-гравера Калазанса Нето и его супругу Ауту-Розу, показал мне принесенные ими гравюры, попросил совета. Ему нравились три из них, и он никак не мог сделать выбор. Видно, этот день он посвятил гравюрам. После долгих колебаний выбор был сделан, расчет произведен — эта братия получает деньги на месте, впрочем, это делают их жены, которые и назначают цену, их не проведешь, — и чета откланялась, а я предпринял вторую атаку, вы же знаете, я упрям.

Я ему признался как на духу, что моя заветная мечта — увидеть на витрине и на полках книжного магазина небольшую книжицу избранных стихотворений, на обложке которой стояло бы имя многострадального поэта, вашего покорного слуги. А стихи стоят того, чтоб их издать, торжественно отметить их выход в свет, устроить вечер встречи с читателями, желающими получить мой автограф. Это не я так думаю, это говорят ведущие молодые критики Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло. У меня целая подборка высказываний, из них три-четыре напечатаны под рубрикой «Литературная жизнь», остальные — нацарапаны от руки за столиком ресторана или у стойки бара в дни моей поездки в Рио с Аной Мерседес. Как я тоскую по тем дням, это был праздник, восторг! С такими положительными отзывами я мог бы обратиться к любому издателю на Юге, но поскольку он, Дмевал Шавес, взял на себя издание книги о Педро Аршанжо, то я решил в знак дружеского расположения доверить ему публикацию и этих «стихотворений суперсоциального звучания», как их охарактеризовал Энриканьо Перейра, неоспоримый авторитет в литературных кругах столицы. Книгу ждет верный успех как у критиков, так и у покупателей. Но сеньор Дмевал Шавес оказался скептиком. Он усомнился в успехе у покупателей. Не только верном, но и вероятном. Однако поблагодарил меня за оказанную ему честь, сказал, что тронут дружеским вниманием. Странное дело: все поэты почему-то испытывают к нему особую симпатию — как только наберется стихов на полсотни страниц, сразу же бегут к нему и дарят ему право первого издания.

Махнув рукой на гонорар, я предложил ему мои стихи бесплатно. Не взял. Какую-то лазейку все же оставил. Он готов вернуться к этому вопросу, если я, раз уж у меня такие связи в Рио, принесу ему заявку, вернее, обязательство Национального института книгопечатания купить пятьсот или как минимум триста экземпляров моего сборника. Тогда тираж мог бы составить восемьсот или шестьсот экземпляров соответственно.

Мысль недурна, надо будет попробовать, не зря же я заводил знакомства в Рио, тратил доллары на обеды, ужины, виски и коктейли. Как знать, может, я скоро вновь предстану перед читателями, но уже не как сухарь-социолог, а как мятежный певец нового времени, законодатель «Молодой поэзии». Не исключено, что Ана Мерседес проявит благосклонность к победоносному литератору, который публикует книгу за книгой, и ее горячее сердце снова полыхнет пламенем любви. Неважно, если мне придется делить мою возлюбленную с эстрадными певцами и композиторами, другими молодыми поэтами, в конце концов, пусть наставляет мне рога со всей вселенной, все равно она мне желанна, без ее тела муза моя хандрит.

А с местре Аршанжо я расстаюсь, оставляя его в тюрьме, дальше за ним не последую, это ни к чему. Что положительно дали последние пятнадцать лет его жизни, если не считать книгу по кулинарии? Забастовка, рабочие комитеты, нужда, нищета. Доктор Зезиньо Пинто убедил меня в необходимости блюсти моральную чистоту великих людей, не показывать их промахи, слабости, заскоки и прочие недостатки, хотя бы они на самом деле и существовали. Зачем вспоминать трудное время и печальные обстоятельства жизни баиянского корифея теперь, когда образ его наконец осиян славой? Но каков он, этот образ? По совести говоря, я и сам не знаю. В пышных торжествах по случаю столетнего юбилея Педро Аршанжо столько шума и треска, официальный фейерверк славословия так ослепителен, что становится почти невозможно различить подлинные черты его образа. Образа или истукана?

Не далее как вчера энергичный префект назвал именем Аршанжо новую улицу города, и вот некий довольно безграмотный депутат муниципального совета в своей речи произвел автора «Народного быта Баии» в апостолы предпринимательства. Префект, при всей своей власти, не смог поставить все на свои места, не сумел вернуть образу Аршанжо реальность его жизни, прожитой в труде и бедности. Вот что поражает: никто не говорит о трудах Аршанжо, о его борьбе. Авторы статей и докладов, рекламных объявлений и плакатов используют его имя лишь для того, чтобы восхвалять тех, кто не имеет к нему никакого отношения: политических деятелей, промышленных тузов, военачальников.

Я слышал даже, что на одной из церемоний, призванных увековечить память великого баиянца, — на открытии коллежа имени Педро Аршанжо в предместье Либердаде, где присутствовали представители муниципалитета, гарнизона и церкви, — официальный докладчик, доктор Саул Нованс, чиновник по вопросам культуры, будучи предупрежден о нежелательности самого упоминания таких подрывных тем, как равенство рас, их смешение, слияние и тому подобное, то есть всего, что составляло суть жизни и творчества юбиляра, не думая долго, вышел из положения самым неожиданным образом: он исключил из доклада местре Педро Аршанжо. Блестящее выступление доктора Нованса прозвучало гимном самым благородным патриотическим чувствам бразильцев и было обращено к другому Аршанжо, «старшему, который покинул Баию и взялся за оружие, чтобы на чужбине, в Парагвае, отстоять честь и величие родины». Оратор говорил о героизме, доблести, о слепом повиновении приказам командиров — высоких добродетелях, принесших Антонио Аршанжо лычки капрала и упоминание в военном бюллетене о его смерти на поле боя: Антонио Аршанжо остался достойным примером для сына и грядущих поколений. И тут искусный докладчик упомянул мимоходом Педро Аршанжо, отпрыска славного героя. Ловко выкрутился, шельмец, ничего не скажешь.

Так какой же мне смысл лезть на рожон? И для чего расписывать, как старый и немощный Педро Аршанжо плетется по Пелоуриньо, направляясь в свою жалкую конуру в публичном доме? Ведь в официальных дифирамбах вырисовывается монументальный образ: почти чистокровный белый, научный сотрудник медицинского факультета, смирный и безгласный, одетый в солдатский мундир — Педро Аршанжо, слава Бразилии!

Я прощаюсь с вами, дорогие читатели, оставляя Педро Аршанжо в тюрьме.

## О вопросе и ответе

### 1

— Начнем с начала, — сказал местре Лидио Корро, — откроем парикмахерскую.

Да сможет ли он побрить клиента, если дойдет до того? Рука уже не та, нет былой ловкости и сноровки. А вот в рисовании чудес она по-прежнему тверда и искусна. Видно, рисовать чудеса — его подлинное призвание; пусть он и предпочел ему более доходное типографское дело, но никогда не забывал о своем изначальном призвании и ремесле. За недостатком времени отказывался от большинства заказов, но не выдерживал искушения, когда чудо волновало его воображение своей необычностью или величием, например: «Чудо, сотворенное спасителем Бонфинским во избавление шестисот пассажиров английского трансатлантического лайнера, загоревшегося при выходе из бухты Баии». Их было шестьсот, все — протестанты, и среди них лишь один баиянец, который в страшный час обратил взор к Святому Холму: «Спаси нас и помилуй, господь наш!» Обещал заказать для церкви картину, заклать агнца и козленка в жертву Ошала, и тут же огромная волна накрыла судно, погасив невиданный пожар.

В день увольнения и ареста Педро Аршанжо («Негра посадили, сеньор!» — сообщил профессору Нило Арголо сыщик, выполняя указание начальника полиции), после визита полицейского наряда в «Лавку чудес» от типографии ничего не осталось. Подручный наборщика примчался в Управление полиции с вытаращенными от ужаса газами: полицейские ворвались в типографию, поломали машины, стеллажи, уничтожили бумагу, приобретенную в кредит для «Заметок...» — «нам надо по меньшей мере еще пятьсот экземпляров, все хотят приобрести и прочесть книгу». Шрифты и книги побросали в мешки. Приказано было реквизировать весь тираж «Заметок...», заодно унесли и библиотеку Педро Аршанжо, сохранились лишь те книги, что он держал в мансарде для ежевечернего чтения. Исчезли Овелак, Оливейра, Мартинс, Фрейзер, Эллис, Александр Дюма, Коуто ле Магальяэнс, Франц Боас, Пина Родригес, Ницше, Ломброзо, Кастро Алвес и многие, многие другие, не один десяток томов, философы, публицисты, романисты, поэты, «Капитал» в сокращенном переводе на испанский и «Книга о святом Киприане».

Книги растаскивались полицейскими всех рангов и одна за другой попадали в книжные лавки. Аршанжо удалось некоторые из них заполучить обратно, выкупив у Бонфанти: «Продаю вам за ту же цену, за какую купил, figlio mio[[84]](#footnote-84), не наживаю ни гроша». «Заметок...» было изъято сорок девять экземпляров, остальные местре Корро успел разослать по университетам, библиотекам, редакциям, а также профессорам и критикам — через книжные магазины или непосредственно, так что не все они «сгорели на костре инквизиции, разожженном в Управлении полиции по ходатайству Савонаролы Арголо де Араужо», как писал профессор Фрага Нето в своем письме Силве Виража. Несколько экземпляров было продано из-под полы, втридорога, агентами полиции, и каждый полицейский чин по примеру самого начальника полиции взял экземпляр для себя, дабы на досуге изучить знаменитый список цветных предков. «И не забудьте оставить один экземпляр для господина губернатора».

Оказавшись по уши в долгах и не видя никакой возможности восстановить типографию, местре Лидио продал машины и остатки шрифта по цене чуть ли не металлолома, чтобы добыть хоть сколько-нибудь денег, в которых была такая нужда. Когда же он умиротворил самых лютых кредиторов, в душе его не осталось горьких сожалений по поводу происшедшего, ведь зато кум Аршанжо сорвал павлиньи перья и маски с чванливых и ничтожных профессоров, с этого ученого дерьма, с этих самохвалов, скотов вислоухих, пугал огородных! Он их выставил голенькими на обозрение, вот им и пришлось спрятаться за спину комиссаров, сыщиков и полицейских громил. Но город вдоволь над ними посмеялся.

Два крепких мулата, веселые кумовья. Местре Лидио Корро рисует чудеса, местре Педро Аршанжо учит детей грамматике и арифметике, а четырех из них — французскому.

Правда, Лидио чувствует себя неважно, ему уже стукнуло шестьдесят девять. Как побольше походит, пухнут ноги, сердце не справляется. Доктор Давид Араужо рекомендовал покой, строгую диету, никаких дендэ, кокосов, перца и ни капли спиртного. Оставалось только запретить и женщин. Доктор, наверное, подумал, что Лидио уже погасил свечу и женщинами не интересуется. Как можно, доктор, запретить дендэ и кашасу человеку, который лишился всего своего скудного имущества, разбитого прикладами карабинов, истоптанного сапогами солдат, и начинает все с начала! Что до женщин, то они предпочитают его иным молодым людям. Если не верите, поспрашивайте в округе.

Педро Аршанжо на восемь лет моложе, на здоровье не жалуется. Плотно сбитый крепыш, любитель поесть и выпить, женщин предпочитает молодых и одной возлюбленной не ограничивается. Правда, уроки давать ему не больно по душе, терпение уже не то, да и жаль тратить драгоценное быстролетящее время на грамматику.

По-прежнему больше всего любит Педро Аршанжо говорить с людьми. От дома к дому, от лавки к лавке, от пирушки к пирушке. Любит сидеть в лавке ваятеля святых Мигела, куда стекаются страждущие и обиженные искать майора Дамиана де Соузу. Просиживает там до обеда, записывает что-то в черную книжечку, его принимают за секретаря майора.

Любит он слушать разные истории про ориша, про времена рабства из уст Пулкерии и Аниньи, которые слыхали их от дедов, убеленных сединами, любит присутствовать на репетициях афоше «Африканские весельчаки», руководить которым получил приглашение от матушки Аниньи, когда Бибиано Купим, старший жрец кандомбле Гантонс, поднял флаг прославленного представления и вновь вывел его на улицу; любит сидеть на скамье музыкантов в школе капоэйры местре Будиана или Валделойра, играть на беримбау и подпевать:

Как живешь-поживаешь,

Камунжере?

Здоров, не хвораешь,

Камунжере?

Рад тебя повидать,

Камунжере,

Чтоб еще раз узнать,

Как живешь-поживаешь,

Камунжере.

Любит он петь и на террейро, сидя рядом с «матерью святого» и раздавая благословения жрицам и иаво:

Кукуру́, кукуру́,

Тибитире́ ла води ла тибитире́.

Хорошо ли, худо ли, а поет человек — и жив. Так ведь, отец Ожуоба? Благословите, мне пора, кто идет последним, тому и двери запирать.

Местре Лидио ищет заказчиков, объявляет, что снова взялся за чудеса, другого такого мастера не было и не будет, а вот местре Аршанжо уменьшает число учеников и уроков, все свое время проводит на улице, с одним поговорит, с другим, посмеется, закидает вопросами, «да ну же, дружище, не держи язык за зубами, расскажи что-нибудь, загадай загадку». Слушает и рассказывает, рассказчик он отменный, столько знает разных историй, так умело закручивает нить — до самого конца развязку не угадаешь.

Так жадно и нетерпеливо он не жил даже в юности, когда по возвращении из Рио с головой окунулся в баиянскую жизнь. Времени стало меньше, дни мелькают быстрей, недели и месяцы скачут галопом. И так этого времени не хватает, а тут еще трать его на уроки. Когда Банфанти заказал книгу по кулинарии, Педро Аршанжо воспользовался этим предлогом и отказался от последних учеников. Ощутил себя совсем свободным, никакого расписания, никакого распорядка. Он сам себе хозяин, его время принадлежит улице, людям.

Педро Аршанжо наблюдает, как местре Лидио делает набросок чуда, подбирает краски для выразительной массовой сцены. Дона Виолета, толстая сорокалетняя женщина, лежит на рельсах перед бампером трамвая, нога сломана, платье разорвано, по бедру струится кровь, взор с мольбой устремлен на образ спасителя Бонфинского. Само трагическое происшествие — неудачное падение, несущий смерть трамвай, молящий взгляд — занимает немного места на картине. Остальная часть, примерно две трети, — нарядный салон трамвая, где пассажиры, вагоновожатый, кондуктор и полицейский обсуждают случившееся, тут же вертится щенок. Художник выписывает каждую фигуру: вот мужчина с огромными усами, вот старый негр держит за руку белого мальчика, вот женщина в желтом платье, вот ярко-рыжий щенок.

Вдруг местре Лидио поднимает глаза на Аршанжо:

— Ты слыхал, кум? Тадеу приехал, он здесь, а Баие.

— Приехал Тадеу? Когда?

— Когда — не знаю, видать, на днях. Но узнал-то я только сегодня утром в лавке Теренсии. Дамиан повстречал его на улице, он сказал, что едет в Европу. Остановился в доме родителей Лу...

— У своего тестя, мой милый. Разве он не зять полковнику?

— Сюда-то не зашел даже...

— Зайдет, никуда не денется. Ведь только приехал, тут всякие дела, визиты, родственники.

— Родственники? А мы?

— Да с какой стороны ты ему родственник? Может, потому, что он звал тебя дядей? Но так к тебе обращается любой ученик, дружище.

— И ты ему не родня?

— Я родня всем и никому. Если я и делал детей, при себе их не держал, милый мой. Не горячись, выберет время Тадеу, зайдет. Попрощаться.

Лидио вновь устремил взгляд на картину. Голос Аршанжо звучал спокойно, почти бесстрастно. Где же родительская любовь, самое глубокое чувство на свете?

— Черта помяни, и он тут как тут! — смеется Педро Аршанжо. Лидио Корро оборачивается.

В дверях лавки стоит Тадеу: строгий элегантный костюм, ухоженные усы, соломенная шляпа, стоячий воротничок, гетры, маникюр, трость с перламутровым набалдашником — ни дать ни взять барон.

— Я только сегодня узнал, что с вами случилось. Я и так собирался зайти проведать вас обоих, а уж тут тем более поспешил. Так это правда? И не смогли даже закончить тираж?

— Зато на славу повеселились, — пояснил Аршанжо. — Мы с кумом Лидио считаем, что игра стоила свеч.

Тадеу подошел, поцеловал руку крестному. Растроганный Лидио заключил его в объятия:

— Ты — прямо лорд!

— В моем положении надо одеваться как следует.

Педро Аршанжо добрым взглядом окинул стоящего перед ним важного господина. Тадеу уже исполнилось тридцать пять, а было всего четырнадцать, когда Доротея привела его на террейро и передала Аршанжо: «Только и толкует, что о грамоте да о счете, мне-то это ни к чему, но не могу я мешать судьбе, пусть мальчонка идет своей дорогой». «Вот и я не могу мешать судьбе, изменять его путь, остановить время, не пустить его наверх, вот так-то, кум Лидио, милый мой. Тадеу Каньото идет своим путем, дойдет до верхней ступеньки, раз уж он туда нацелился, а мы, дружище, ему в этом помогли. Гляди, Доротея, твой мальчик идет в гору, далеко пойдет».

— Скажите, я могу чем-нибудь помочь? У меня есть свои собственные сбережения, накопил, чтобы Лу в Европе могла попробовать новое средство... Вы ведь знаете, да? Я получил от правительства стипендию для прохождения курса градостроительства во Франции. Лу едет со мной. Вся поездка займет около года. По возвращении заступлю на место шефа, он уходит в отставку. Это, можно сказать, уже решенное дело.

— Откуда нам знать, ты же не писал, — попенял Лидио.

— А где взять время? Все дни в бегах, у меня в подчинении две группы инженеров, а по вечерам — визиты, приемы, мы с Лу то тут, то там, сущий ад. — По тону его, однако, нетрудно было понять, как он доволен этим адом. — Так вот, у меня есть деньги. Я хотел потратить их на лечение, чтобы Лу смогла доносить ребенка. У нее уже было три выкидыша.

— Прибереги свои денежки, Тадеу, подлечи Лу, нам ничего не нужно. Мы решили ликвидировать типографию, хлопот много, прибыли никакой, Лидио только гробил свое здоровье. Так нам лучше: кум опять чудеса рисует, гляди, какая красота. Я даю уроки, когда есть время, всю жизнь этим занимался, а теперь итальянец заказал мне книгу, пишу понемногу. Деньги нам не нужны, тебе нужнее, поездка в Европу — дело нешуточное.

Тадеу стоял, тыкая тростью в гнилые доски пола. Всем троим как-то сразу стало не о чем говорить. Наконец Тадеу сказал:

— Мне очень жаль было Забелу. Полковник Гомес рассказал, что она очень мучилась.

— Нет, это не так. Ее действительно мучили боли, и она была прикована к креслу, порой ворчала и бранилась, но была бодрой и стойкой до последнего часа.

— Ну, хорошо, если так. Однако мне пора. Вы не можете себе представить, сколько еще прощальных визитов! Лу велела извиниться перед вами, что не пришла. Мы с ней разделились, она — туда, я — сюда, иначе не управиться. Просила передать вам привет.

Когда Тадеу после объятий и пожеланий доброго пути отправился восвояси, Аршанжо пошел за ним, нагнал уже на улице:

— Скажи, пожалуйста, вы там не будете проездом в Финляндии?

— В Финляндии? Нет, не будем. Там мне нечего делать. Девять месяцев во Франции, курс градостроительства. Потом короткое знакомство с Англией, Италией, Германией, Испанией, Португалией a vol d’oiseau[[85]](#footnote-85), как сказала бы Забела. — Тадеу улыбнулся, помедлил, прежде чем продолжить путь. — Почему вы спросили именно о Финляндии?

— Так, ничего.

— Тогда до свидания.

— Прощай, Тадеу Каньото.

Стоя в дверях, Аршанжо и Лидио видели, как Тадеу шел вверх по улице, твердо ступая, помахивая тростью, этакий господин с перстнем на пальце, элегантный, важный и далекий, доктор Тадеу Каньото. На этот раз они распрощались с ним навсегда. Лидио в смущении вернулся к работе:

— Он стал совсем другим.

«А за что мы боремся, кум Лидио, дружище, милый мой? Почему мы, два старика, сидим тут с тобой без гроша в кармане? Почему меня арестовали, а твою типографию разгромили? Почему? Потому что мы говорили: все имеют право учиться, идти вперед. Помнишь, кум, профессора Освалдо Фонтеса, его статью в газете? Негритосы да мулатишки заполонили факультеты, лезут и лезут, надо их остановить, обуздать, прекратить это безобразие. Помнишь, какое письмо мы послали в редакцию? Из него сделали передовицу, и потом газету развешивали на стенах домов на террейро. Тадеу отсюда ушел, его место теперь не здесь, а на улице Витория, в семье Гомесов, он — доктор Тадеу Каньото».

В школе Будиана капоэйристы пели песню времен рабства:

Когда деньжата водились,

Я сидел за столом с сеньором,

А с сеньорой лежал в кровати,

Вот так-то, друг мой,

Дружище.

«Доктор Фрага Нето говорит, что нет белых и черных, есть богатые и бедные. Чем же ты недоволен, кум? Не хочешь ли ты, чтоб мулат, выучившись, оставался здесь, на Табуане, в нищем квартале? Разве для этого он учился? Доктор Тадеу Каньото, зять полковника, наследник угодий и доходных домов, государственный стипендиат, путешественник по Европе. Нет белых и черных, на улице Витория деньги обеляют, здесь нищета — чернит.

Всякому свое, милый мой. У мулатов с этой улицы разная судьба, у каждого своя дорога. Одни наденут ботинки, повяжут галстук, получат диплом. Другие останутся здесь, у молота и наковальни. Деление на белых и черных, дружище, кончается там, где все перемешано, вот как у нас с тобой, кум. У нас дело проще: кто идет последним, тому и двери запирать.

Прощай, Тадеу Каньото, шагай в гору. Коль случится тебе побывать в Финляндии, разыщи короля Скандинавии Ожу Кекконена, он твой брат, передай ему от меня привет. Скажи, что отец его, Педро Аршанжо Ожуоба, живет себе да поживает, ни в чем у него недостатка нет».

— Доктор Тадеу Каньото, дорогой кум, — теперь человек важный и богатый. Жизнь на месте не стоит, колесо вспять не повернется. Пошли прогуляемся, дружище. Где сегодня праздник?

### 2

Не прошло и недели, как Педро Аршанжо, вернувшись под вечер из лавки Бонфанти с гранками книги по кулинарии, увидел, что Лидио Корро, кум, друг, брат, близнец, — мертв. Он сидел, уронив голову на незавершенное чудо, по нарисованным рельсам текла настоящая кровь.

Маляр закрашивает буквы на фасаде, «Лавки чудес» более не существует. Вниз по улице медленно идет одинокий старик.

### 3

Забастовка, начатая вагоновожатыми, кондукторами, контролерами и другими служащими баиянской Транспортной компании, распространилась затем на ее дочерние организации: Электрическую и Телефонную компании. Местре Педро Аршанжо шагал в это время вверх и вниз по улицам Пелоуриньо, Кармо, Пассо, Табуан, по кварталу Байша-дос-Сапатейрос — разносил счета за электроэнергию. Должность эту он получил по рекомендации адвоката Пассариньо, юрисконсульта компании. Работа утомительная и низкооплачиваемая, но он предпочел ее репетиторству. Разносит счета, идет от дома к дому, от магазина к магазину, от лавки к лавке. Поболтает, услышит какую-нибудь историю, сам что-нибудь расскажет, обсудит новости, пропустит глоток кашасы. В помещении «Лавки чудес» какой-то турок открыл магазинчик, мелочную лавку.

Хотя служащие Электрической не сразу присоединились к забастовке, Педро Аршанжо не пропускал ни одного собрания профсоюза бастующих вагоновожатых и кондукторов, заражая всех вокруг деловитостью и задором, ни один молодой служащий не мог потягаться с этим стариком в проворстве и смекалке, ибо он все делал не по приказу, но по обязанности, не потому, что выполнял чье-то задание. Он делал то, что считал справедливым, к тому же это его развлекало.

Впервые за шесть лет после изгнания ступил он на порог медицинского факультета. Прежние студенты уже окончили курс, новых он не знал, и они его не знали. Кое-кто из преподавателей, однако, замедлял шаг. Некоторые здоровались с ним. Педро Аршанжо ждал Фрагу Нето. Тот появился в окружении студентов, с которыми оживленно о чем-то беседовал.

— Профессор...

— Аршанжо! Сколько лет... Я вам нужен? — Обернулся к студентам: — Вы знаете, кто это?

Молодые люди посмотрели на незнакомца: мулат, бедняк в старомодном, но чистом костюме, в начищенных до блеска ботинках. Привычка к опрятности не поддавалась натиску бедности и старости.

— Это знаменитый Педро Аршанжо. Тридцать лет проработал на факультете педелем, отличный знаток баиянских обычаев и фольклора, антрополог, автор очень серьезных книг. Был уволен за то, что написал книгу в ответ на расистскую брошюру профессора Нило Арголо. В своей книге Аршанжо доказал, что мы, баиянцы, — сплошь мулаты. Грандиозный был скандал...

— Мы слышали. Не потому ли этот монстр Арголо подал в отставку?

— Совершенно верно. Студенты не простили ему расистских бредней. Они стали называть его... Как это, Аршанжо?

— Оубитико.

— Почему?

— Это одно из имен профессора, о котором он никогда не упоминал. Оно досталось ему от прапрадеда, негра Бомбоше, по случайности оказавшегося и моим прапрадедом...

— Да-да, «братец профессор Арголо», — вспомнил Фрага Нето. — Простите, господа, я вас покину, мы с Аршанжо давно не виделись, нам надо поговорить.

Профессор и бывший педель зашли к Пересу, уселись за стойку бара, где сиживали и прежде.

— Что будете пить? — спросил Фрага Нето.

— Не откажусь от глотка тростниковой. Если вы, конечно, тоже...

— О нет-нет, не могу. Ничего спиртного, даже, к сожалению, пива. Печень, знаете ли... Выпью тоника.

Профессор украдкой разглядывал Аршанжо: сдал заметно. Постарел, утратил былую солидность. Насколько еще хватит у него сил, чтобы содержать в порядке одежду и наводить глянец на ботинки? Профессор не видел Аршанжо почти шесть лет, с похорон фрея Тимотео. Они вместе совершали бдение у тела аббата в монастыре. Потом Фрага Нето заходил в «Лавку чудес» узнать, не осталось ли еще экземпляра «Заметок...», но «Лавки» уже не было. Там обосновался турок. «Педро Аршанжо? У него нет постоянного адреса. В эти края иногда заглядывает, если хотите, оставьте записку...» Фрага Нето не стал его разыскивать. Теперь за стойкой бара отметил про себя: сильно сдал старик Аршанжо.

— Профессор, я пришел к вам насчет забастовки в городской Транспортной.

— Забастовки? Неужто всеобщей? Неужели весь транспорт остановился? И трамваи, и катера, и фуникулеры — все замерло? Вот здорово, черт побери!

— Конечно, здорово! Все по справедливости, профессор, разве на такой заработок проживешь? Если Электрическая и Телефонная поддержат, наша возьмет наверняка.

— Наша? Вы-то здесь при чем?

— Ах да, вы не знаете. Я служащий...

— Городской Транспортной?

— Электрической, но какая разница? Это же трест, вы сами рассказывали, профессор.

— Ну, разумеется, тресты и корпорации, — рассмеялся Фрага Нето.

— Так вот, я член комитета солидарности с бастующими и пришел к вам...

— Нужны деньги?

— Нет, сеньор. То есть и деньги тоже нужны, но этим занимается другой комитет, финансовый. Коли хотите помочь деньгами, я скажу кому-нибудь из финансового комитета, они к вам обратятся. Но я-то думал про другое, не зайдете ли вы к нам в комитет? У нас там круглосуточное дежурство, заседаем днем и ночью, многие приходят выразить солидарность и поддержку, пишут о нас в газетах, это очень важно. Заходили профессора факультета права, депутаты муниципалитета, журналисты, писатели, много добрых людей перебывало, студенты — те валом валят. Я и подумал, что вы, профессор, при ваших-то идеях...

— При моих идеях... Что ж, вы правильно сделали, вспомнив обо мне, я все тот же. Для трудящихся забастовка — правое дело, она — их оружие. Только пойти я не могу. Вы не слыхали? Я буду участвовать в конкурсе на должность заведующего кафедрой...

— А как же профессор Виража? Ведь он жив, я на днях читал о нем в газете.

— Профессор Силва Виража вышел в отставку, не счел нужным возвращаться на должность, замещенную другим, тем более что лекций он давно уже не читает. Я, как мог, убеждал его вернуться, ничего не вышло. У меня два конкурента, Аршанжо. Один из них, довольно сильный, — приват-доцент такой же кафедры в Ресифе. Второй — местный, пробивной, ловкач, у него со всех сторон — протекции. Драка будет что надо, местре Аршанжо. Я рассчитываю пройти, но сейчас против меня развернули настоящую кампанию, в которой мне ставится в вину все, что только можно, особенно эти самые идеи, о которых вы говорите. Если я пойду в ваш комитет, кафедры мне не видать, дорогой мой друг... Вы понимаете, в чем тут штука?

Аршанжо утвердительно кивнул, профессор продолжал:

— Я ведь не политик. У меня есть свои убеждения, но политической борьбы я не веду. Возможно, мне бы следовало это делать, наверняка следовало бы, но, милый мой Аршанжо, не у всякого хватит духу пожертвовать должностью и званием ради своих идей. Не судите меня строго.

— Да, конечно, должность педеля — это не то, что должность заведующего кафедрой. Всему своя цена. Так что не мне судить вас, профессор. Я скажу товарищам из финансового комитета, чтоб зашли к вам.

— Лучше всего вечером ко мне домой.

Аршанжо встал, Фрага Нето тоже поднялся и вытащил бумажник, чтобы расплатиться.

— Какая же у вас должность в Электрической?

— Разношу счета за электроэнергию.

Слегка смущенный, профессор спросил, понизив голос:

— Может, я могу вам помочь, Аршанжо? Не откажитесь принять от меня... — и потянул из бумажника крупную ассигнацию.

— Не обижайте меня, профессор. Присовокупите эти деньги к тем, что вы отдадите на забастовку. Желаю победы на конкурсе. Если б мне не было запрещено появляться на факультете, обязательно пришел бы вас поддержать.

Фрага Нето проводил его взглядом: неугомонный старик, прах его побери. В каком-то волнении нерешительно двинулся к автомобилю. «Чертов упрямец, пошел в разносчики счетов. А конкурс — это конкурс, кафедра — это кафедра. Молодой претендент на звание доцента, только что вернувшийся из Европы, может объявить себя марксистом, и это сойдет ему с рук. А профессор медицинского факультета, оспаривающий кафедру у двух других претендентов, один из которых эрудит, а у другого — рука в министерстве, не может пойти в стачечный комитет, если не хочет провалиться на конкурсе и перечеркнуть свою карьеру. Это все равно что бросить кафедру псу под хвост, любезный Аршанжо. Вы сами сказали, звание профессора — не то что звание педеля. Педель беден, но горд. Профессор богат, а где его гордость, порядочность? Неужели только педель может оставаться порядочным и гордым?» Фрага Нето ускоряет шаг, почти бежит.

— Аршанжо, Аршанжо! Погодите!

— Да, профессор...

— Этот ваш комитет... В котором часу, вы говорите, мне надо туда зайти?

— Да хоть сейчас... Вместе и пойдем, милый мой.

Профессор Фрага Нето не потерял кафедру, победил на конкурсе, с блеском побив и эрудита, и ловкача. А вот Педро Аршанжо потерял-таки должность, этот чертов старик не ограничился привлечением сочувствующих к работе комитета. Стал агитатором: убеждал, доказывал, был одним из тех, чьими усилиями забастовка охватила Электрическую компанию, а за ней и Телефонную. Бастовали дружно, победили, и администрация никого сразу не уволила. Чистка началась примерно через месяц. Одним из первых был уволен Педро Аршанжо.

Он шел по Пелоуриньо и смеялся. Безработный. Да-да, Забела, chomeur[[86]](#footnote-86).

### 4

Длинная и грустная вереница жалких должностей, что все быстрей сменяли друг друга и все хуже оплачивались. Найти работу в таком возрасте — само по себе дело не простое, а тут еще этот невозможный старик не соблюдает распорядка дня, бросает работу недоделанной, приходит поздно, уходит рано, совсем не приходит, заговорившись с кем-нибудь по дороге. При самом добром к нему расположении держать его невозможно.

Работал он внештатным корректором в редакции одной из утренних газет: сегодня один работник не явится, завтра другой, а у старика рука набита, в грамматике да в орфографии он силен. Утром, еще до выхода газет, за сарапателом и рюмкой кашасы рассказывал о последних событиях в стране и во всем мире кому-нибудь из друзей: Мигелу, майору Будиану или Манэ Лиме. В мире неладно, то в одном месте заваруха, то в другом. Фашисты убивают негров в Абиссинии, опрокинув трон царицы Савской, ах, Сабина дос Анжос, твоего короля бросили в концентрационный лагерь! Продолжаются еврейские погромы, теория превосходства арийской расы объявлена государственной доктриной, грохочут барабаны, мировая война не за горами. В Бразилии тоже хорошего мало: Новое государство, рта не раскрыть, тюрьмы набиты до отказа.

Прошло немного времени, и старик не только был уволен, но и попал в черный список газетных издательств. Есть основания полагать, что старый Педро Аршанжо нарочно исказил статью, в которой один из политических заправил, полковник Карвальо, обожествлял Гитлера. В тексте статьи, разосланной в газеты департаментом печати и пропаганды со строжайшим требованием особо выделить ее при публикации, не было живого места от ляпсусов и искажений. Еще можно поверить, говорил государственный цензор издателю газеты, который к тому же был его приятелем, вполне можно поверить, что «Гитлер — это гадость» вместо «Гитлер — это радость» получилось случайно, линотипист нажал не ту клавишу. Но уже трудней поверить в случайность, когда видишь, что вместо «избавитель человечества» напечатано «избиватель человечества». И совсем уж никак не объяснишь, откуда взялось слово chibungo[[87]](#footnote-87), дважды присовокупленное к имени фюрера. Слава богу, в Рио никто не знает этого слова, оно понятно только баиянцу. Но все равно из столицы пришел грозный приказ, и он, славный цензор, смог ограничиться арестом номера и закрытием газеты на восемь дней лишь на свой страх и риск, чтобы избежать чего-нибудь похуже, и, разумеется, цензорам издательства отдано распоряжение произвести дознание, выяснить обстоятельства дела и наказать виновных.

Цензоры развели руками — попробуй отыщи теперь, кто в тот вечер правил какую статью, так ничего и не выяснили. Все поголовно отпирались, никто ничего не знает, не видал и не слыхал. Старик, работавший на подмене от случая к случаю, не был даже опрошен. Владелец газеты, который хотя и злился по поводу временного закрытия газеты и связанных с ним убытков, но еще больше был зол на диктатуру, сам вычеркнул сумасшедшего старика из списка опрашиваемых, зато внес его имя в черный список: «Если он будет продолжать править гранки, он в конце концов засадит нас всех в тюрьму!» «Ай да старик!» — говорили линотиписты. Злополучный номер газеты продавался из-под полы по неслыханной цене.

«Если бы он просто не работал, это бы еще полбеды, — пояснял майору Дамиану де Соузе нотариус Казуза Пивиде, принявший Педро Аршанжо на должность переписчика копий в канцелярию Дворца правосудия. — Беда в том, что он другим не дает работать: как придет — все бросают дело и слушают, раскрыв рты, этот старикан набит всякими историями, одна другой занятней да заковыристей, сеу майор. Я и сам — работу побоку и слушаю».

Надзирателем в гимназии Педро Аршанжо проработал одни сутки: ему показалось, что воспитанники интерната — узники, оторванные от семьи и лишенные улицы, жертвы старой дисциплины, вечно голодные и тоскующие по свободе. В свое первое и последнее дежурство он организовал с мальчишками импровизированный литературно-музыкальный вечер: стихи и кавакиньо. Они пропели бы до утра, если бы директор гимназии, срочно вызванный из дома, не положил конец «этому немыслимому безобразию». Работая швейцаром в гостинице, Педро Аршанжо отлучался со своего поста по первому приглашению. Когда служил билетером в кинотеатре «Олимпия», пропускал без билета на утренние сеансы в воскресенье всех негритят. В должности учетчика на стройке болтал с рабочими, снижая производительность труда, не был он создан подгонялой, не получился из него ни бригадир, ни надсмотрщик. Да и стоит ли рабочим за такую мизерную плату надрываться ради хозяйских барышей? Старик никогда не соблюдал строго распорядка дня, даже в своих исследованиях подчинялся только внутренней дисциплине, не глядел на часы, не был рабом календаря.

Костюм потерт, рубашки расползаются, ботинки стоптаны. Один-единственный костюм, три рубашки, двое трусов, две пары носков — как тут сохранишь приличный вид? И все же грязи он не выносил, сам стирал остатки своего гардероба, а Кардеал, чистильщик с террейро, мимо которого Педро Аршанжо ходил уже лет двадцать, бесплатно наводил блеск на его ботинки:

— Идите сюда, отец, почистим...

Однако Педро Аршанжо не унывал, бродил повсюду. Вот он в лавке «Данте Алигьери» ругается с Бонфанти. «Где же мои денежки за кулинарную книгу, бандит ты калабрийский?» — «Ладно, пусть я бандит, но какой я тебе калабриец, io sono toscano, Dio merda!»[[88]](#footnote-88) За разговорами проходит утро, проходит день то в лавке Мигела, то в какой-нибудь мастерской на Пелоуриньо, то в киоске на Золотом Рынке или на Меркадо Модело, то у церкви святой Варвары. Всюду приглашают поесть, сотрапезник он веселый. Аршанжо — постоянный гость за столом Теренсии, которую теперь сменила на кухне ее племянница Наир, двадцатипятилетняя красотка, мать шестерых детей. Старший — внук Теренсии, Наир прижила его с двоюродным братом Дамианом, который не был настолько глуп, чтобы оставлять посторонним эту семейную жемчужину. Остальные пять — от разных отцов, какого угодно цвета кожи, от белого до черного: Наир не страдала расовыми предрассудками и времени зря не теряла.

— Виданное ли это дело!.. Сама не своя до мужиков... — жаловалась убеленная сединами Теренсия, устремив взор на собеседника. — Нет у нее твоей гордости, кум.

— Моей гордости, кума? О чем это ты?

Ответ Педро Аршанжо прочел в горестном взгляде: столько лет ждала она от него словечка, намека, просьбы. «Нет, кума, не гордость тому виной, а уважение. Разве мало ты говорила о Соузе Кривом? В голосе был гнев, а в сердце — надежда. Я ел твой хлеб, обучал мальчишку грамоте, уважал твое одинокое ложе, думал, что...» — «Ты такой умный, кум, ты же — глаза Шанго, как это ты не разглядел? Теперь уж поздно, старые мы». — «Так-таки старые, кума? А от кого у Наир предпоследний, вон тот карапуз? Ему и двух лет не исполнилось, а отец его, кума, чтоб ты знала, сидит перед тобой...»

Педро Аршанжо заглядывал в школы капоэйры, толковал с Будианом и Валделойром, бывал на репетициях афоше «Африканские весельчаки», на кандомбле, в ночных кабаках «Семь дверей» и «Розовая водица».

С одним поговорит, с другим, запишет что-то в книжечку, заставит своими историями посмеяться или поплакать и поспешит дальше — вот так прожил Педро Аршанжо последние годы своей жизни. Вечно в спешке, вечно с народом, вечно одинокий.

Одиноким он стал со смертью Лидио Корро. Оправился не сразу, ему понадобилась вся его энергия, вся любовь к жизни. Постепенно стал воскрешать память о куме, делая его излюбленным героем своих историй. Все, что Педро Аршанжо совершил, чего добился, было сделано при помощи и поддержке кума Лидио. Они были братьями, близнецами, сросшимися воедино. «Как-то раз, много лет тому назад, пошли мы с кумом Лидио на праздник Иансан, путь был немалый, мы шли в Гомейю, в те времена по приказу комиссара Педрито дубинка вовсю гуляла по спинам слуг святого. Кум Лидио...»

Мать Пулкерия, видя бедность и нужду Педро Аршанжо и помня, как много помогал он ей во всех делах террейро, предложила ему взять на себя часть ее забот, на этот раз за вознаграждение. Ей нужно было, чтобы кто-то собирал ежемесячные взносы с членов секты и квартирную плату за лачуги, построенные на землях участка, где жили родственники и домочадцы «дочерей святого». Нужен надежный человек, который вел бы все расчеты, самой ей некогда. Плата за это небольшая, но будет хотя бы мелочь на трамвай. За трамвай он не платит со времени забастовки. Еды ему хватает, все зовут, только выбирай. «Я буду выполнять твое поручение, мать Пулкерия, как Ожуоба и твой друг, но с одним условием: никакой платы мне не надо, не обижай меня, мать». Про себя он подумал: «Если б я еще верил в чудеса, если бы не открыл тайну, то, пожалуй, мог бы из этой самой веры принять деньги от святого. А так — нет, мать Пулкерия, я это сделаю как преданный друг. Можно заплатить брату по вере, но не другу, за дружбу платят не деньгами, тут счет иной, сама знаешь!» И вот до конца своих дней ежемесячно собирал взносы с членов секты, детей террейро Пулкерии, взимал арендную плату с постояльцев и жильцов, безупречно вел счета, и все же, когда у него в кармане заводился грош-другой, он клал их в куйю, копилку ориша, на поднос Шанго, на алтарь Эшу.

Как-то исчез чуть не на неделю, друзья всполошились. Искали, искали — нет старика, да где же он живет? Как съехал из мансарды с видом на море, где прожил тридцать лет, так не заводил постоянного жилья, менял кров и ночлег каждый месяц, жил словно птица божья. Наконец его нашла Эстер, содержательница публичного дома в Верхнем Масиеле, уважаемая матрона и бывшая иаво Ожуобы Аршанжо. Когда-то, совсем еще девчушкой, служила она официанткой в кафе и участвовала в кандомбле. Старая Маже Бассан уже едва ходила, и Ожуоба помогал ей вести ковчег иаво в надежную гавань. Когда наступил день обряда посвящения Эстер, Маже Бассан, не уверенная в твердости своей руки, вручила бритву Ожуобе.

Вонючая каморка, ни кровати, ни матраца, одно лишь ветхое одеяло, все в дырах, да ящик с книгами — такой жуткой нищеты Эстер еще не видывала, — Аршанжо лежит в жару, но говорит, что это пустяки, простудился немного, и все. Врач нашел у него воспаление легких, прописал таблетки и уколы, предложил немедленно отправить в больницу. «В больницу — ни за что!» — воспротивился Аршанжо, ноги его там не будет. Для бедняка больница — это верная смерть. Врач пожал плечами: «Ну, куда-нибудь, где условия более или менее человеческие, нельзя же оставаться в этой сырой конуре, тут и крысы не выживут».

В заведении Эстер была небольшая комната, отведенная буфетчику, который подавал гостям пиво, вермут и коньяк, следил за порядком, заступался за девушек. Эти важные и разнообразные функции выполнял некий Марио Муравей. Будучи образцовым отцом семейства, этот мулат ночевал дома, с женой и детьми, комнатушка пустовала. Публичный дом, конечно, не очень-то подходящее место для отца Ожуобы, но другого выхода у Эстер не было, упрямый старик и слышать не хотел о больнице.

В этой тесной каморке он и провел остаток своих дней, вполне довольный жизнью. Переходя с одной работы на другую, — собственно, работой это уже и не назовешь, — Педро Аршанжо достиг семидесяти лет, празднеств по этому поводу не было; на семьдесят первом году его жизни началась война, она-то и стала его главной заботой, ей он посвящал все свои дни, часы, минуты.

Где он ни бывал — в любой части города, в домах, на рынках и ярмарках, в лавках и мастерских, на террейро и на улице, — всюду спорил и горячился. Над всем, что он выносил в себе и воплотил в делах, нависла тень, угроза, страшная угроза, смертельная.

Он был и солдатом, и генералом, он гражданин своей страны, был тактиком и стратегом, завязывал и вел бои. Когда все уже пали духом и признали себя побежденными, он стал во главе войска мулатов, евреев, негров, арабов и китайцев, заступил путь фашистским ордам. Вперед, ребята, дави разгулявшуюся смерть, подлую заразу!

### 5

Педро Аршанжо, смолоду неутомимый ходок, прошел с процессией от Кампо-Гранде, пункта отправления, до Праса-да-Се, где манифестация по случаю четвертой годовщины Второй мировой войны завершилась грандиозным митингом. Чтобы не стереть ноги, подложил картонные стельки в ботинки с дырявыми подошвами, теперь он уже и не пытался скрыть пятна на пиджаке, дыры на брюках.

Антифашистам удалось собрать на площади тысячи демонстрантов. В одной газете называлась цифра двадцать пять тысяч, в другой — тридцать тысяч. Студенты, рабочие, служащие, представители всех сословий и профессий. При свете факелов из пакли, пропитанной мазутом из подпольной бразильской нефти — существование таковой официально не было признано, и многие из тех, кто это оспаривал, поплатились свободой, — огромная людская масса волновалась, шумела, хором выкрикивая лозунги, тысячи голосов подхватывали возгласы «Да здравствует!» и «Долой!».

Флаги союзных держав, плакаты и транспаранты, огромные портреты глав государств, ведущих борьбу против фашизма.

Во главе колонны руководители Корпорации медиков несли портрет Франклина Делано Рузвельта. Педро Аршанжо в одном из демонстрантов узнал профессора Фрагу Нето, тот шел, откинув назад голову и вызывающе выставив клин рыжей бородки. Он одним из первых презрел полицейский запрет и публично потребовал отправки бразильских войск на войну с фашизмом.

Следом несли портреты Черчилля, Сталина — под громкие приветственные крики, — де Голля, Варгаса[[89]](#footnote-89). Два лозунга главенствовали над колоннами. Первый содержал требование немедленного создания экспедиционного корпуса, так чтобы война, объявленная Бразилией странам оси, утратила свой чисто символический характер и получила материальное воплощение. Другой лозунг призывал правительство принять меры по разведке и эксплуатации бразильской нефти, открытие которой в Реконкаво не вызывало уже никаких сомнений. Впервые было выставлено также требование амнистии политическим заключенным. Что касается свобод, то народ завоевывал их действием, выходя на демонстрации и митинги. Аршанжо, нищий праздный старик, не пропускал ни одной демонстрации, до тонкостей разбирался в ораторах, мог определить политическую линию любого из них, хоть они и выступали единым фронтом за победу в этой войне.

В районе Сан-Педро, перед зданием Политехнической школы, процессия ненадолго остановилась, и из окна второго этажа кто-то произнес пламенную речь; оратор клеймил преступления тоталитарного фашистского режима, основанного на расовой ненависти, восхвалял демократию и социализм. Каждую фразу сопровождал взрыв аплодисментов. Старый Аршанжо с трудом взобрался на скамью и увидел оратора. Это был один из его любимцев, Фернандо де Сантана, студент Политехнической школы, признанный студенческий вожак, обладавший звучным голосом и даром красноречия. Худой и смуглый, вроде Тадеу. Много лет тому назад, когда началась Первая мировая война, студент Тадеу Каньото из этого самого окна произнес речь, призывая к участию Бразилии в войне против германского милитаризма. Его, Педро Аршанжо, та война не очень-то трогала, хотя он не жалел слов, выступая за Францию и Англию. Зато в речах Тадеу его по-настоящему трогали светлый ум юноши, хороший слог, четкость доводов. На днях Аршанжо прочел в газете заметку, в которой расточались похвалы «таланту видного баиянского градостроителя» и сообщалось о его назначении секретарем по общественным работам префектуры федеральной территории. Гомесы переехали в Рио-де-Жанейро, желая принять участие в воспитании детей, которые наконец стали появляться на свет. То ли помогло лечение Лу во Франции, то ли обет, данный ее матерью, доной Эмилией, спасителю Бонфинскому в Баие.

Теперь другое дело: старик, будто ребенок, жадно ловит каждое слово оратора, юного метиса, пылко обличающего расизм, — эта напористая молодежь видит уже очертания своего будущего. Педро Аршанжо слезает со скамьи, в этой войне он ветеран, ведет ее много лет, на передовой линии этого фронта прошла вся его жизнь.

На площади Кастро Алвеса — снова остановка, толпа не успевает вливаться в улицы Баррокинья, Монтанья, хвост колонны остался на улице Сан-Бенто. Оттуда, почти с середины подъема, старик, чьи ноги уже гудели от усталости, разглядел майора: тот что-то говорил, взобравшись на пьедестал памятника Кастро Алвесу и воздев руку с поднятым перстом. Педро Аршанжо слышал только аплодисменты, слова оратора до него не долетали. Да и не было в том нужды, он хорошо знал, какие слова и фразы тот произносит, знал красочные эпитеты, восклицания: «О народ! О народ Баии!» Ходатай за весь город, правосудие бедняков, надежда узников, заступник тех, кто в беде, учитель неграмотных, народный адвокат — вот он, его мальчик Дамиан, стоит на ступеньке пьедестала. В этот час он уже, должно быть, на взводе, пропустил не один стаканчик кашасы, но мысль его ясна, речь зажигательна, никто и никогда не видел его пьяным. Каждый из прочих ораторов представлял ту или иную организацию, фронт, профсоюз, класс, объединение, преследуемую нелегальную партию. Майор выступал от имени всего народа, почти не выделялся из толпы, стоя на невысоком пьедестале.

Процессия гигантской змеей изогнулась на улице Чили, с балкона дворца толпе помахал рукой представитель президента республики. Из окна здания префектуры к демонстрантам обратился профессор Луис Рожерио: «Мы победим!» Старик помнит его студентом, помнит, как он участвовал в шутейных символических похоронах профессора-расиста, как выступал на террейро, протестуя против увольнения Педро Аршанжо.

На Праса-да-Се, где была сооружена расцвеченная флагами трибуна, состоялся заключительный митинг. Старик протискивается сквозь густую толпу, просит разрешения пройти, тот, кто не узнает его, уступает дорогу. Вот он пробрался к трибуне. От имени Антифашистского фронта медиков выступает юноша-мулат с Островов Зеленого Мыса, высокий и красивый, говорит густым басом; это — доктор Дивалдо Миранда. Он окончил университет недавно, старик его не знает, но в этот сентябрьский день тысяча девятьсот сорок третьего года молодой оратор вспоминает о давно забытых делах, воскрешает тени, призраки прошлого. Упоминает брошюру, содержавшую законопроект профессора медицинского факультета, некоего Арголо де Араужо; проект предусматривал изоляцию негров и метисов в самых диких районах страны с последующим перемещением в Африку тех, кто выдержит тропическую жару и болотную лихорадку. Проект этот поддержан не был, вызвал смех и возмущение. Когда Гитлер пришел к власти и провозгласил начало тысячелетней эры расизма, профессор был еще жив, откликнулся на это событие бредовой статьей под заголовком «Посланец божий». Божий посланец, миссия которого — истребить негров и евреев, арабов и метисов, грязных мулатов, вознести в закон некогда предложенный профессором геноцид.

Любуясь на площади молодым оратором, таким красивым и темпераментным, старик вспомнил разговор более чем тридцатилетней давности. Педро Аршанжо только что опубликовал свою первую книгу, и профессор Арголо остановил его в коридоре факультета. «Это злокачественная опухоль, — заявил профессор, имея в виду метисацию, — ее нужно вырезать. Хирургическое вмешательство неизбежно и благотворно». Аршанжо, в то время такой же прямой и решительный, как этот оратор, рассмеялся и спросил: «Убить нас всех до одного, профессор?» В глазах заведующего кафедрой судебной медицины вспыхнул желтый огонь фанатизма. Он вынес свой безжалостный, бесчеловечный приговор: «Уничтожить всех, мир принадлежит арийцам, высшим существам, оставить лишь рабов для черной работы». Гением, вождем, божьим посланцем будет тот, кто претворит эту страшную идею в жизнь, кто поведет войну во имя высокой цели: очистить мир от евреев, арабов и желтых, вымести из Бразилии «африканскую мразь, что грязнит нашу нацию».

Все, чего профессор требовал, что рекомендовал, стало реальностью. Над всем, что проповедовал, за что боролся старый Аршанжо, нависла угроза. Опять борьба тех же идей, тех же принципов. Но уже не в дискуссии, а в бою с оружием в руках. Льется кровь, павших — легионы.

А что, если бы Гитлер победил? Гитлер или другой фанатик расизма? Смог бы он обречь нас всех на смерть и на рабство? Профессор утверждал, что смог бы, что нужен только вождь, который пожелал бы взять на себя эту задачу, и из туманных далей, из Германии, Гитлер ответил: «Есть!» Так вот, если бы он победил, смог бы он на самом деле покончить с народом: одним смерть, другим — рабство? Ответа на этот вопрос старик и ищет в речах ораторов.

Жокондо Диас, испытанный в битвах революционер, шлет привет от бразильских трудящихся солдатам свободного мира и бросает в толпу слово «амнистия», которое подхватывают тысячи голосов, и этот хор звучит беспрерывно, он смолкнет лишь в канун победы, когда распахнутся ворота тюрем. Нестор Дуарте, профессор права, писатель, хриплым голосом произносит пламенные слова, обрушивается на зажавшие свободу оковы диктатуры, требует демократии, «во имя демократии идут в бой борцы против нацизма». Профессор Цалие Юхт говорит от имени евреев, на его выразительном лице — печать ужасов гетто, в его голосе — отзвуки погромов. Эдгард Мата, превосходный оратор, широко известный и всеми почитаемый трибун, закрывает митинг прорицанием в гонгористском[[90]](#footnote-90) стиле: «Гитлер, апокалипсический зверь, ублюдок сатаны, будет повержен и захлебнется в дерьме!»

Толпа отвечает криками, аплодисментами, овацией, ликует и приходит в движение. Человеческое море густеет по краям и начинает вливаться в улицы. Старик пробирается к выходу, работая локтями, он так и не получил ответа на свой вопрос: сможет кто бы то ни было покончить с ними со всеми, Гитлер или кто другой, сегодня или завтра? Старика совсем затолкали, он пристраивается за дюжим моряком, выходит из толпы, тяжело дыша, идет по направлению к Террейро Иисуса, и тут внезапная боль сжимает ему грудь. Это уже не в первый раз. Он протягивает руку, пытаясь опереться о стену Епископского дворца, не достает, и упал бы, если бы его не поддержала какая-то вовремя подбежавшая девушка. Старик приходит в себя, боль отступает, теперь она — тонкое жало в глубине груди.

— Спасибо.

— Что с вами? Скажите, где болит, я студентка медицинского факультета. Хотите, доведу вас до больницы?

Больницы он боялся, бедняку больница — верный гроб.

— Нет, ничего, обычный приступ, не хватило воздуха. Пройдет, большое спасибо.

Выцветшими глазами смотрит Педро Аршанжо на поддерживающую его смуглянку. Какая знакомая красота, близкая, родная. Да это наверняка внучка Розы! Те же нежность, страстность, обаяние, волнующая красота — вся она тут.

— Вы внучка Розы, дочь Миминьи? — В усталом голосе радостные нотки.

— Откуда вы знаете?

Такая похожая — и совсем другая, сколько рас и народов смешало свою кровь, чтобы возникло такое совершенство? Длинные шелковистые волосы, нежная кожа, голубые глаза, непостижимая тайна упругого тела, стройного и пышного.

— Я дружил с вашей бабушкой, был на свадьбе вашей матери. Как вас зовут?

— Роза, как и бабушку. Роза Алкантара Лавинь.

— Изучаете медицину?

— Я на третьем курсе.

— Думал, никогда уж не увижу такую красавицу, как ваша бабушка. Роза Алкантара Лавинь... — Он заглянул в голубые глаза, внимательные и любопытные, унаследованные от Лавиней. А может, от Алкантара? Кожа смуглая, глаза голубые. — Роза де Ошала Алкантара Лавинь...

— Де Ошала? Чье это имя?

— Вашей бабушки.

— Роза де Ошала... Прелесть, я, пожалуй, так и буду называть себя...

Из группы студентов зовут:

— Роза! Роза! Идем, Роза!

— Иду, иду! — откликается Роза, внучка Розы, такая похожая и совсем другая.

Манифестанты расходятся, штурмуют трамваи, на столбы с потухшими фонарями опускается ночь. Старик устал, но на лице его радостная улыбка. Девушка каким-то чутьем смутно догадывается, что этот хромой и, наверное, больной старик в ветхом пиджаке, залатанных штанах, дырявых ботинках и с изношенным сердцем чем-то ей близок, а может, даже родственник, как знать. О бабкиной родне ей старались не говорить, след рода Ошала терялся в таинственной мгле, о нем умалчивали.

— Прощайте, дочь моя. Я будто снова повидал Розу.

Внезапно девушка, подчиняясь какой-то непонятной для нее самой силе, взяла худую темную руку старика и поцеловала. Потом побежала к своим друзьям, и шумная компания с песнями двинулась по темной улице.

Старик медленно побрел по Террейро Иисуса по направлению к Верхнему Масиелу, наступал час ужина в заведении Эстер. Да разве сможет кто-нибудь, какое бы войско он ни набрал, обречь на смерть и рабство народ, убить Розу и ее внучку, убить Красоту?

— Благословите, отец мой, — просит девушка, совсем еще молоденькая, вышедшая на поиски первого в этот вечер клиента.

Старик, ковыляя, тонет в сумерках. Трудный вопрос, где взять на него ответ?

### 6

В конце программы «Последние новости» — военные сводки, ну и молодцы эти русские. Малуф поднес рюмочку кашасы, обсудили демонстрацию и митинг, доблесть надменных англичан, рейд американцев по затерянным островкам у берегов Азии, подвиги советских войск. Атаулфо, зануда-пессимист, не верил, что победа неизбежна. «Как знать! У Гитлера кое-что припрятано на крайний случай, тайное оружие, которым весь мир можно разрушить».

— Разрушить весь мир? Значит, Гитлер может, выиграв войну, истребить или обратить в рабство всех, кто не белый, в ком не течет чистая арийская кровь? Задушить жизнь и свободу, прикончить или, хуже того, поработить всех нас без исключения?

Спор разгорелся вовсю: «Может, не может, почему это не может? Еще как может!» Кузнец поставил точку:

— Даже бог, который сотворил людей, не может убить всех разом, он убивает нас по одному, и чем больше он убивает, тем больше народу рождается, подрастает. Мы будем рождаться, расти и перемешиваться, и никакой сукин сын нам в этом не помешает!

Он так хватил по стойке буфета кулачищем — под стать кулаку шкипера Мануэла или Зе Широкая Душа, — что опрокинул свою рюмку с остатками кашасы. Турок Малуф, человек отзывчивый и понимающий, налил еще по одной.

Старый Аршанжо повторил полученный наконец ответ на свой вопрос:

— ...будем рождаться, расти и перемешиваться, и никто этому не воспрепятствует. Ты прав, дружище, так оно и есть, никому и никогда нас не уничтожить. Никому, мой милый.

Наступил вечер, затекшая рука Педро Аршанжо еще не отошла, боль затаилась где-то в груди. Бодро попрощался: до завтра, милые мои, хорошо жить на свете, когда есть друзья, глоток кашасы и такая вот вера, верней которой не бывает. Я пошел. Кто уходит последним, тому и двери запирать.

Педро Аршанжо пускается в путь по темной улочке, из последних сил идет вперед. Боль разрывает ему грудь. Он хватается за стену, падает. О Роза де Ошала!

## О славе Родины

Высокочтимый доктор Зезиньо Пинто сделал удачный выбор, рассчитал все до тонкостей: актовый зал баиянского Института истории и географии, уютный и в меру роскошный, заполнен до отказа. Окинув взглядом столь представительное, высокое собрание, декан медицинского факультета сказал его превосходительству губернатору: «Если бы сейчас на здание института упала бомба, Баия разом потеряла бы цвет своей интеллигенции, весь без остатка». И в самом деле, на празднование столетия со дня рождения Педро Аршанжо собралась вся аристократия, сливки баиянского общества. Всех привело сюда единодушное стремление выполнить отрадный гражданский долг: поднять еще выше славу родины.

Открывая торжественное заседание, президент Института в своем кратком, но весьма изысканном вступительном слове, прежде чем обратиться к губернатору с просьбой занять председательское кресло, позволил себе невинное удовольствие кинуть камешек в огород зазнавшихся аристократов: «Мы собрались здесь, чтобы торжественно отметить величественные столетние эфемериды того, кто познакомил нас с полным списком имен наших предков». Несмотря на свой почтенный возраст и занятость важными историческими изысканиями, президент Магальяэнс Нето любил острое словцо, писал эпиграммы в духе лучших традиций баиянского фольклора.

Когда члены президиума заняли свои места, губернатор предоставил слово устроителю праздника, владельцу газеты «Жорнал да Сидаде» Зезиньо Пинто.

— Организуя нынешние торжества, наша газета выполняет один из важнейших пунктов своей программы, который предусматривает прославление и популяризацию имен выдающихся сограждан, указавших путь грядущим поколениям. И вот, откликнувшись на призывный сигнал боевых труб «Жорнал да Сидаде», вся Баия, объятая вихрем стремительного движения по рельсам прогресса и индустриализации, отдает долг благодарности великому Педро Аршанжо, который умножил славу нашей родины, снискав признание всей мировой общественности.

Затем профессор Калазанс, сам удивляясь тому, что после многотрудного марафона он остался жив и не сидит в тюрьме, зачитал перевод письма самого Джеймса Д. Левенсона, одобрив идею организации торжеств, сообщал о триумфе сочинений баиянского корифея, которые в переводе стали достоянием всех культурных стран.

— Популяризация трудов Педро Аршанжо привела к тому, что важный и самобытный вклад Бразилии в решение расовой проблемы, никому дотоле не известное проявление самого высокого гуманизма, стал теперь предметом обширнейших исследований в самых различных авторитетных научно-исследовательских центрах.

Доктор Бенито Марис, выступивший от Литературного общества медиков, говорил о Педро Аршанжо в первую очередь как о мастере слова, борце за чистоту языка, «изящного и непринужденного», который он усвоил «в общении с корифеями медицины, преуспевшими как в науке, так и в изящной словесности». Декан медицинского факультета защищал уже многим знакомый тезис о том, что «Педро Аршанжо — детище медицинского факультета, ученик этой великой школы, там он трудился и творил, именно факультет создал ему атмосферу и условия для творчества».

От философского факультета не выступил никто: профессор Азеведо, еще не оправившийся от удара, нанесенного запрещением семинара по проблемам метисации и апартеида, отклонил приглашение, мотивируя свой отказ тем, что его книга, которая вот-вот выйдет, и есть его дань памяти Аршанжо. Калазансу же он объяснил:

— Еще, чего доброго, потребуют для проверки и цензуры текст моего выступления.

— Кто потребует? — спросила Эделвейс Виейра, секретарь Центра фольклорных исследований: она не разбиралась в нюансах выражений, неизбежных во времена, когда политика — дело темное, а вторжение в культурную жизнь — дело ясное. — Чье вторжение?

— Ради бога, дона Эделвейс, не надо больше вопросов, вам дали слово, идите выступать.

Взойдя на трибуну, Эделвейс Виейра, круглолицая светлая мулатка, в проникновенной речи поблагодарила «отца баиянской фольклористики» за то, что в своих книгах он спас от забвения и сохранил для потомства несметные богатства народных традиций. Голос ее звучал мягко, на губах играла застенчивая улыбка — само обаяние, а закончила она свое слово благодарности и любви обращением к покойному юбиляру: «Благословите, отец Аршанжо!» Исследовательница фольклора, возделывающая поле, на котором межи и тропки проложил автор «Народного быта Баии», после официальных ораторов с их выспренними и пустыми речами показалась вдруг старательной иаво, преклонившей колени на террейро перед жрецом. В этот момент в зале четко обрисовалась фигура Педро Аршанжо. Но всего лишь на минуту, ибо тут же на трибуну поднялся высокочтимый академик Батиста, главный оратор вечера, раз уж профессор Рамос из Рио-де-Жанейро не приехал (по тем же причинам, что и профессор Азеведо). «Кисейные барышни!» — отозвался о том и другом доктор Зезиньо Пинто. Ему, собаку съевшему в политике, подобные соображения казались ребячеством.

Пока что все доклады были не слишком затянутыми, каждый не более получаса, ораторы придерживались рекомендаций Калазанса: по полчаса каждый — это уже три часа, а больше публика не выдержит.

Но вот на трибуне появился всем известный Батиста, и участники торжества приуныли, они потянулись бы к выходу, если бы не уважение к «Жорнал да Сидаде» и доктору Зезиньо да не присутствие губернатора, а если уж говорить начистоту, то и чувство страха. Профессор Батиста — из тех, кто умеет держать нос по ветру, и поговаривали, что по его доносам не один человек был осужден за подрывную деятельность. При таких обстоятельствах надеяться было не на что: этот оратор волен был нарушать регламент и заниматься словоблудием сколько заблагорассудится.

Часть доклада была написана им давно, когда в Баию заезжал Левенсон. Это был спич, подготовленный к обеду в честь гостя, но эксцентричный лауреат Нобелевской премии от обеда отказался, его больше влекли народные обряды и прелести Аны Мерседес, чем общение с выдающимися людьми. К старому введению плодовитый Батиста добавил несколько глав о Педро Аршанжо и о некоторых общих насущных проблемах. В результате получилось «монументальное произведение, исполненное учености и патриотизма», как характеризовал доклад редактор «Жорнал да Сидаде». Монументальное и нескончаемое.

И уж конечно, не без полемики. Для начала Батиста возразил Джеймсу Д. Левенсону, показав тем самым, что не один этот гринго силен в науке и культуре: сам оратор хотя и признает заслуги американца, но может с ним и поспорить. Он с похвалой отозвался о титулах Джеймса Д. Левенсона, о его кафедре, о его высокой репутации, о его достойной уважения национальности. Осудил постоянный бунт, непочтение к признанным авторитетам, легкость, с которой он нарушает табу и порой именует почтенных корифеев «злостными шарлатанами». Потом поспорил и с Аршанжо. По его мнению, чествование юбиляра, так горячо поддерживаемое всеми присутствующими, не должно было выходить за рамки исследований Аршанжо в области фольклора, ибо они, «хотя и содержат многочисленные погрешности, представляют в перспективе определенный интерес и могут быть введены в научный обиход». Однако, пытаясь анализировать труды таких крупных ученых, как Нило Арголо и Освалдо Фонтес, Аршанжо допускает эксцентричные утверждения, лишенные каких бы то ни было оснований. Много говорить о Педро Аршанжо оратор не стал. Большая часть его выступления ушла на дифирамбы «истинной традиции, той единственной, которая должна всячески культивироваться, — традиции бразильской семьи в рамках христианства». Профессор Батиста недавно стал председателем Ассоциации по охране традиции, семьи и собственности и потому считал себя ответственным за национальную безопасность. Зорким полицейским оком повсюду высматривал он врагов отечества и режима. Даже некоторых членов федерального правительства подозревал в тайном сговоре с подрывными элементами, и, говорят, кое-кто по его доносу угодил... — ради бога, дона Эделвейс, не спрашивайте, кто именно и куда.

Всему на свете приходит конец, кончилась около половины двенадцатого и речь грозного Батисты, в зале — гробовая тишина, публика утомилась. У всех ощущение, что, появись в этот момент Педро Аршанжо, оратор послал бы за полицией.

С облегчением вздохнув, губернатор поднялся, чтобы закрыть собрание:

— Поскольку никто больше слова не просил...

— Прошу слова!

Майор Дамиан де Соуза. Он, как всегда, опоздал, глаза у него уже изрядно покраснели, ибо майор принял внутрь немалую долю от всей выпитой в Баие за день кашасы к тому моменту, когда вошел в зал в самом начале занудливой проповеди правоверного Батисты. С ним пришла бедно одетая мулатка на последнем месяце беременности, которая явно робела в таком блестящем обществе.

Майор без церемонии обратился к поэту и социологу Фаусто Пене:

— Послушайте, бард! Уступите место бедняжке, она ждет ребенка и не может стоять.

Поэт встал, из солидарности поднялась и глядевшая на него влюбленными газами худенькая девица, последняя протеже Фаусто Пены, недавно выступившая под рубрикой «Поэзия молодых».

— Садись, девочка, — сказал майор мулатке.

Уселся на второе освободившееся место, устремил взор на оратора и тут же заснул. Разбудили его хлопки по окончании речи, как раз вовремя, чтобы взять слово.

Ступив на трибуну, Дамиан де Соуза бросил грустный взгляд на стакан газированной воды — «Ну когда же оратору будут ставить хотя бы пиво?» — и обратился к властям и «созвездию талантов», собравшимся, чтобы почтить память Педро Аршанжо, учителя народных масс, в том числе самого майора, которого в свое время обучил грамоте, ученого, достигшего величия своим собственным упорством, гражданина, чье имя, вкупе с именами таких гениев, как Руй Барбоза и Кастро Алвес, символизирует «триединую славу Баии». После тупых и мрачных разглагольствований Батисты, сдобренных темными намеками и угрозами, речь майора, патетическая и красочная, в чисто баиянском вкусе, разрядила удушливую атмосферу и вызвала новый взрыв аплодисментов. Майор драматическим жестом вскинул руки:

— Все это очень хорошо, дамы и господа! Все эти торжества в честь местре Аршанжо, проведенные в декабре месяце и собравшие цвет баиянской интеллигенции, — все это правильно, чудесно, но...

— Если сейчас поднести к его рту зажженную спичку, воздух около рта вспыхнет... — шепнул президент Института губернатору, но по лицу его было видно, что он испытывает к оратору огромную симпатию: сиплый голос майора Дамиана де Соузы и крепкий водочный перегар, которым он дышит, в тысячу раз приятнее, чем лицемерная речь и зловещий взгляд трезвенника Батисты.

Простерев руки, майор перешел к заключительной части своего выступления, в голосе его послышалось рыдание:

— Столько собраний, речей, столько похвал. Педро Аршанжо, который их заслужил, он заслужил и большего, — но есть и обратная сторона медали! Члены семьи, потомки Педро Аршанжо, плоть от плоти его, прозябают в крайней нищете, погибают от голода и холода. Как раз здесь, добросердечные дамы и господа, в этом пышном праздничном зале страдает близкая родственница Аршанжо, мать семи детей, ожидающая восьмого, вдова, оплакивающая горячо любимого мужа, ей нужны врач, больница, лекарства, деньги, чтоб прокормить детей... Здесь, в этом зале, где воздавалось столько хвалы Педро Аршанжо, здесь... — Он указал на мулатку, сидевшую в зале: — Встаньте, дочь моя, поднимитесь, пусть все видят, в каком состоянии находится близкая родственница бессмертного Педро Аршанжо, нашей славы и гордости, славы Баии, Бразилии, слава родины!

Мулатка поднялась с кресла и стояла, потупившись, не зная, куда девать руки: огромный живот, стоптанные наискось каблуки, ветхое платье — образ крайней нужды. Чтобы разглядеть ее, многие вставали.

— Дамы и господа, я прошу у вас не хвалебных эпитетов, прошу пожертвовать обол этой бедной женщине, в чьих жилах течет кровь Аршанжо!

Сойдя с трибуны, Дамиан стал обходить зал со шляпой в руке. Начал с президиума и дошел до последнего ряда, не пропустив никого.

— Этим примерным актом христианского милосердия мы заканчиваем наше собрание, — объявил губернатор, а майор высыпал в подол смущенной мулатки содержимое шляпы, целый ворох ассигнаций разного достоинства. Покончив с этим, взял под руку Арно Мело:

— Послушай, друг любезный, не угостишь ли пивом, горло пересохло, сил нет, а я без гроша.

Они направились в бар «Мужской разговор». С ними — Ана Мерседес. Она наконец бросила якорь в бухте популяризации и рекламы и шла об руку с Арно Мело. Оказалась неоценимым сотрудником по налаживанию контактов, перед ее аргументами не мог устоять ни один клиент. На улице Арно обратился к майору:

— Разрешите, я ее поцелую, а то я битых три часа не ощущал вкуса ее губ и, выслушав столько вздора, стражду и пропадаю.

— На здоровье, милый мой, отведи душу, но побыстрее и не забудь про пиво. А потом, если хочешь, я укажу вам очень приличный дом, где бывал сам Аршанжо.

Зал понемногу пустел. Профессор Фрага Нето, усы и бородка которого поседели, но нрав оставался задиристым и боевым, подошел к несчастной близкой родственнице Педро Аршанжо.

— Я дружил с Аршанжо, дитя мое, но не знал, что у него была семья, дети. Чья вы дочь и кем ему приходитесь?

Еще не оправившись от смущения, крепко сжимая в руках простенькую сумку, куда она запихала деньги — первый раз в жизни видела столько денег сразу! — мулатка подняла глаза на подошедшего к ней любопытного старика:

— Сеньор, я не знаю. И с этим самым сеу Аршанжо я не знакома, не ведаю, кто он такой, вот здесь только о нем и услышала. А насчет остального не сомневайтесь, все верно: нужда, малые дети, ну, не семь, а четверо-то есть, вот что, да и муж мой не помер, а ушел и оставил меня без гроша... Что ж мне было делать? Я пошла к майору просить помощи, нашла его в баре «Триумф», а он говорит, нет, мол, у меня денег, но пойдем, я знаю, где тебе помогут. Вот и привел меня сюда...

Женщина улыбнулась и пошла к выходу, качая бедрами, хоть ей и мешал живот; покойный Аршанжо тоже ходил вразвалку, в походке у нее было сходство с ним.

Профессор Фрага Нето улыбнулся ей в ответ, покачал головой. От первоначальной идеи Зезиньо Пинто до речи Батисты об охране Традиции и Собственности — «ну и скотина, с ним поосторожней!» — все в юбилейных торжествах было лицемерием и фарсом, букетом нелепиц. Пожалуй, единственной правдой и оказалась выдумка майора с этой голодной беременной мулаткой, бедной и честной, мнимой, нет — подлинной родственницей Аршанжо, это его народ, его мир. В памяти всплыли строки: «Народный вымысел есть единственная настоящая правда, и никакая власть не сможет ни похерить ее, ни растлить».

## «Из страны волшебной и реальной...»

На карнавал 1969 года школа самбы «Дети Тороро́» представила композицию «Педро Аршанжо в четырех картинах», которая имела шумный успех и была удостоена различных премий. Под музыку композитора Валдира Лимы, победившего на конкурсе восьмерых своих собратьев, школа прошла по городу, распевая:

Писатель вдохновенный,

Такого не бывало —

Великий Педро Аршанжо;

Его слава звездой воссияла,

Жизнь его в четырех картинах

Мы покажем в час карнавала.

Наконец-то Ана Мерседес стала Розой де Ошала и не уступила ей в красоте и соблазнительности. Без пояса и лифчика, в кружевной батистовой юбке, бросая вокруг томные, многообещающие взгляды — «коль совладаешь со мной...», — Ана свела с ума весь город. Кто не мечтал о пышных бедрах, гибкой талии и прочих прелестях! Когда она танцевала, пьяные в масках падали к ее ногам.

В свите Аны Мерседес выступали лучшие танцоры, и каждый изображал какое-нибудь действующее лицо: вот Лидио Корро, Будиан, Валделойр, Мануэл де Прашедес, Аусса и Пако Муньос. На специально оборудованной повозке — аллегорическая группа, афоше «Дети Баии»: Посол, Танцор, Зумби и Домингос Жоржи Вельо, негры из Палмареса, солдаты империи — начало борьбы. Группа надсаживалась в песне:

Из страны волшебной и реальной

Нам принес мыслитель гениальный

Им добытый там, среди народа,

Мир поэзии и красоты.

Кирси, снег и лен, красавица из Скандинавии, одетая Утренней Звездой, возглавляла пасторил. Не один десяток женщин, составлявших добрую часть женской секции школы, куда принимают красавиц, звезд, принцесс, матрон из светского общества, возлежали в соблазнительных позах на гигантском ложе, занимавшем всю повозку. Впереди, на небольшом помосте, церемониймейстер держал плакат с объяснением аллегории, для которой собрали на одном гигантском ложе столько женщин: «Сладкое ремесло Педро Аршанжо». Женщина болтали и смеялись: содержанки, кумушки, девицы, замужние, проститутки; негритянки, белые, мулатки, Сабина дос Анжос, Розенда, Розалия, Ризолета, задумчивая Теренсия, Келе, Деде. Каждая в свой черед, прямо с ложа, полураздетая, выходила в круг плясать самбу:

Слава, слава

Бразильскому мулату,

Современному нашему

Слава, слава!

С барабанами, погремушками и бубенцами проходит кандомбле, идут жрицы, иаво и ориша. Прокопио корчится от ударов хлыста в зловещем хороводе полицейских агентов, Огун, огромный негр ростом под крышу, гонит по улице комиссара полиции Педрито Толстяка, намочившего со страху штаны. Непобедимый танец продолжается.

Мастера капоэйры обмениваются невероятными ударами, Манэ Лима и Толстуха танцуют матчиш и танго. В ритме канкана проходит старуха с раскрытым зонтом, в кружевной юбке, это графиня Изабел Тереза Мартинс де Араужо-и-Пиньо, для друзей — Забела, принцесса Реконкаво, дама парижского полусвета.

С рогами дьяволицы, в трепещущем пламени из красных бумажных лент Доротея объявляет конец шествия, исчезает в серном дыму.

Так воспоем его великие свершенья

Во имя человечества,

Высокий идеал.

Все, что мы вам сегодня показали,

Он пережил

И в книгах описал.

Капоэйристы, «дочери святого», иаво, пастушки, ориша, участники терно и афоше поют, танцуют и расходятся по сторонам, открывая путь самому местре Педро Аршанжо Ожуобе:

Слава, слава,

Слава, слава!

Педро Аршанжо Ожуоба проходит в танце, он не один, он разный, он многолик: старик, зрелый мужчина, юноша, подросток, гуляка, танцор, говорун, выпивоха, бунтарь, мятежник, забастовщик, демонстрант, гитарист, влюбленный, пылкий любовник, писатель, ученый, колдун.

Все они бразильцы, все баиянцы, все бедняки.

1. Местре — принятое в народе уважительное обращение к старшему и мастеру своего дела. [↑](#footnote-ref-1)
2. Афоше — карнавальная группа. [↑](#footnote-ref-2)
3. Пасторил — народное представление. [↑](#footnote-ref-3)
4. Кажу — плод бразильского дерева с тем же названием; абакаши — разновидность ананаса; питанга — плод дерева питангейра. [↑](#footnote-ref-4)
5. Здесь игра слов: анжос (anjos) — ангелы (*португ.*). [↑](#footnote-ref-5)
6. «Жизнь в тропических и развивающихся странах» (*англ.*). [↑](#footnote-ref-6)
7. Должным образом (*фр.*). [↑](#footnote-ref-7)
8. Герберт Маркузе (1898—1980) — американский социолог, философ, теоретик культуры леворадикальной ориентации. [↑](#footnote-ref-8)
9. Жозе Освалдо де Андраде и Раул Бопп — бразильские писатели‑модернисты. [↑](#footnote-ref-9)
10. Новена, трезена — молитвы, читаемые девять и тринадцать дней подряд, и праздник, которому предшествуют эти молитвы. [↑](#footnote-ref-10)
11. Антонио Гонсалвес Диас (1823—1864) — бразильский поэт, историк и этнограф. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ашеше — похоронная церемония африканского культа. [↑](#footnote-ref-12)
13. Иаво — жрицы на ритуальной церемонии. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ипанема, Леблон — районы Рио‑де‑Жанейро. [↑](#footnote-ref-14)
15. Особым образом приготовленное блюдо с сушеными грибами (*ит.*). [↑](#footnote-ref-15)
16. Посвященную памяти (*лат.*). [↑](#footnote-ref-16)
17. Кокада — сладкое блюдо из кокосового ореха. [↑](#footnote-ref-17)
18. Цветной (*англ.*). [↑](#footnote-ref-18)
19. Батуке — танец негров Баии. [↑](#footnote-ref-19)
20. Бандейрант — завоеватель внутренних районов Бразилии в XVI—XVII вв. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ганзы и пандейро — разновидности погремушек. [↑](#footnote-ref-21)
22. Лундун — танец негров Баии. [↑](#footnote-ref-22)
23. Граф Жозеф Артюр Гобино (1816—1882) — французский ученый и политический деятель. [↑](#footnote-ref-23)
24. Канудос — район штата Баия, где в конце XIX в. состоялись массовые крестьянские выступления против помещиков. Антонио Консельейро возглавил это движение. [↑](#footnote-ref-24)
25. С незапамятных времен (*лат.*). [↑](#footnote-ref-25)
26. Напряжение (*англ.*). [↑](#footnote-ref-26)
27. Никаких препятствий (*лат.*). [↑](#footnote-ref-27)
28. Антикварный магазин (*фр.*). [↑](#footnote-ref-28)
29. В узком кругу (*фр* .). [↑](#footnote-ref-29)
30. Казимиро Жозе де Абреу (1837—1860) — бразильский поэт‑романтик. [↑](#footnote-ref-30)
31. Киломбо, сензал — поселения беглых негров‑рабов. [↑](#footnote-ref-31)
32. Кафуз — метис от брака негритянки и мулата. [↑](#footnote-ref-32)
33. Боже, да ведь это Мулен! (*фр.*) [↑](#footnote-ref-33)
34. То еще предместье (*фр.*). [↑](#footnote-ref-34)
35. Дьявол, черт (*португ. Kanhoto*). [↑](#footnote-ref-35)
36. О, мой дорогой, что это за семья! (*фр.*) [↑](#footnote-ref-36)
37. Черт побери! Ну! Ну! (*фр.*) [↑](#footnote-ref-37)
38. Черная пантера (*англ.*). [↑](#footnote-ref-38)
39. Кармайкл — один из руководителей организации «Черная пантера». [↑](#footnote-ref-39)
40. Фернандо Пессоа (1888—1935) — известный португальский поэт XX в. [↑](#footnote-ref-40)
41. Шареу — вид рыбы. [↑](#footnote-ref-41)
42. Глас народа — глас божий (*лат.*). [↑](#footnote-ref-42)
43. Паранойя — душевное заболевание. [↑](#footnote-ref-43)
44. Шистозома — разновидность глиста, паразитирующего в крови. [↑](#footnote-ref-44)
45. Мале — так называли мусульман африканского происхождения. [↑](#footnote-ref-45)
46. Граф Гобино (*фр.*). [↑](#footnote-ref-46)
47. «Эссе о неравенстве человеческих рас» (*фр.*). [↑](#footnote-ref-47)
48. Утонченный (*фр.*). [↑](#footnote-ref-48)
49. Фрей — форма обращения к духовному лицу. [↑](#footnote-ref-49)
50. Франц Боас (1858—1942) — американский антрополог и этнограф. [↑](#footnote-ref-50)
51. «Путешествие по Бразилии» (*нем.*). [↑](#footnote-ref-51)
52. Официальный (*лат.*). [↑](#footnote-ref-52)
53. Бар — песчаная отмель в устье реки. [↑](#footnote-ref-53)
54. Для них главное — увидеть книгу за стеклом (*исп.*). [↑](#footnote-ref-54)
55. Забирайте книги, заплатите, когда сможете (*исп.*). [↑](#footnote-ref-55)
56. Прекрасно, примите мои поздравления (*исп.*). [↑](#footnote-ref-56)
57. Винтем — старая португальская и бразильская медная монета. [↑](#footnote-ref-57)
58. О какой книге вы говорите, мэтр? (*исп.*) [↑](#footnote-ref-58)
59. Вы шутите (*исп.*). [↑](#footnote-ref-59)
60. Куруру — круговой танец с песнями. [↑](#footnote-ref-60)
61. Дендэ — масло пальмы дендэ, употребляемое в пищу. [↑](#footnote-ref-61)
62. Кабра — метис от брака негра с мулаткой или мулата с негритянкой. [↑](#footnote-ref-62)
63. Мой дорогой (*фр.*). [↑](#footnote-ref-63)
64. Моя дорогая, моя бедняжечка, малыш (*фр.*). [↑](#footnote-ref-64)
65. Эта проститутка (*фр.*). [↑](#footnote-ref-65)
66. Всем прочим шлюхам (*фр.*). [↑](#footnote-ref-66)
67. Вся эта банда рогоносцев (*фр.*). [↑](#footnote-ref-67)
68. Кретины (*фр.*). [↑](#footnote-ref-68)
69. Какой ужас! (*фр.*) [↑](#footnote-ref-69)
70. Грязные свиньи! (*фр.*) [↑](#footnote-ref-70)
71. Чудо (*фр.*). [↑](#footnote-ref-71)
72. Черт побери (*фр.*). [↑](#footnote-ref-72)
73. Дорогие друзья (*фр.*). [↑](#footnote-ref-73)
74. Бабушка (*фр.*). [↑](#footnote-ref-74)
75. Входите (*фр.*). [↑](#footnote-ref-75)
76. Батикум — разновидность барабана. [↑](#footnote-ref-76)
77. Алабэ — руководитель оркестра на кандомбле. [↑](#footnote-ref-77)
78. Грязный тип (*фр.*). [↑](#footnote-ref-78)
79. Над этим дерьмом (*фр.*). [↑](#footnote-ref-79)
80. С посвящением (*фр.*). [↑](#footnote-ref-80)
81. Безумно смешно, дорогой мой (*фр.*). [↑](#footnote-ref-81)
82. Карамуру (морская рыба) — так, согласно легенде, прозвали индейцы португальца Диего Алвареса, который высадился в районе Баии, спасшись после кораблекрушения. [↑](#footnote-ref-82)
83. Босса — бразильский танцевальный и песенный ритм. [↑](#footnote-ref-83)
84. Сын мой (*ит.*). [↑](#footnote-ref-84)
85. С птичьего полета (*фр.*). [↑](#footnote-ref-85)
86. Безработный (*фр.*). [↑](#footnote-ref-86)
87. Нецензурное ругательство, обозначающее гомосексуалиста. [↑](#footnote-ref-87)
88. Я — тосканец, черт побери! (*ит* .) [↑](#footnote-ref-88)
89. Жетулиу Варгас — президент Бразилии в 1930—1945 и 1951—1954 гг. [↑](#footnote-ref-89)
90. Луис де Гонгора (1561—1627) — испанский поэт XVII в. Вычурный, витиеватый стиль Гонгоры вошел в историю литературы как гонгористский. [↑](#footnote-ref-90)